



ЮЖНОЕ СИЯНИЕ

ОДЕССКИЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ

4(32)'2019

Главный редактор
Станислав АЙДИНЯН

Выпускающий редактор
Сергей ГЛАВАЦКИЙ

Отдел поэзии
Людмила ШАРГА

Отдел прозы
Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Отдел литературоведения
Алёна ЯВОРСКАЯ

Общественный совет:
Евгений Голубовский (Одесса), Владимир Гутковский (Киев),
Олег Дрямин (Одесса), Олег Зайцев (Минск),
Александр Карпенко (Москва), Андрей Костинский (Харьков),
Татьяна Лингута (Одесса), Марина Матвеева (Симферополь),
Александр Петрушкин (Кыштым), Юрий Работин (Одесса),
Олеся Рудягина (Кишинёв), Анна Стреминская (Одесса).

Свидетельство о регистрации: серия ОД № 1563-434-Р от 16.11.2011 г.
Учредитель – Общественная организация «Южнорусский Союз Писателей»

Е-mail редакции: aurora_australis@lenta.ru
Интернет-версия журнала: ursp.org

© «Южное Сияние», 2019

В НОМЕРЕ

ПОЭЗИЯ

Одесса – Германия: Лев Либолев. Деревянный ангел. <i>Стихотворения</i>	4
Одесса: Тина Арсеньева. Молитвы. <i>Стихотворения</i>	9
Одесса: Татьяна Орбатова. Чётки из колосков. <i>Стихотворения</i>	14

ПРОЗА

Одесса: Анна Михалевская. Спор на краю прорвы. <i>Рассказ</i>	18
Одесса: Алексей Рубан. Клетка. <i>Рассказ</i>	24

ПОЭЗИЯ

Кыштым: Александр Петрушкин. Только атомом единым. <i>Стихотворения</i>	34
Москва: Андрей Коровин. Эскизы, этюды и кроки. <i>Стихотворения</i>	40
Сумы: Игорь Касьяненко. Напиток из мёда и перца. <i>Стихотворения</i>	44

ПРОЗА

Торонто: Сергей Митрофанов. Звонарь. <i>Повесть</i>	50
--	----

ПОЭЗИЯ

Душанбе: Бахтияр Амини. Сеанс терапии. <i>Поэзия</i>	71
---	----

ДРАМАТУРГИЯ

Майами: Наталья Гринберг. Диван в стиле викторианской готики. <i>Драма в двух актах</i>	75
--	----

ПОЭЗИЯ

Ростов-на-Дону: Борис Вольфсон. Когда бы вечный шум угас. <i>Стихотворения</i>	97
Саратов: Наталия Кравченко. В титрах огненных звёзд. <i>Стихотворения</i>	101
Ростов-на-Дону: Александр Соболев. Круг разорвать. <i>Стихотворения</i>	104

«СЕТЧАТКА»

к 125-летию со дня рождения Анастасии Цветаевой

Ната Ефремова. «Любовь для всех и каждого необходима». <i>Биобиблиографические заметки о жизни и творчестве А.П. Цветаевой</i>	108
Анастасия Цветаева. Мы встретились в старости. <i>Очерк</i>	112
Михаил Кунин. Иосиф Филиппович Кунин – судьба, письма, сны, стихи, воспоминания	113
Письмо Булата Окуджавы Е.Ф. Куниной	123
Белла Ахмадулина. Памяти Евгении Филипповны Куниной	123
Евгения Кунина. Избранные стихотворения	123
Татьяна Кандаурова. И мужество, и чудотворство... <i>Очерк</i>	128
Анастасия Цветаева. У новой подруги. <i>Очерк</i>	130
Галина Яворская. Почти век жизни. <i>Очерк</i>	131
Леонид Волков. О чудесах «Четырёхлистника». <i>Очерки</i>	134

«ОКОЕМ»

«45-й калибр»: диаметр и конкурс	145
Томск: Виктория Смагина. Стихотворения	145
Архангельск: Майк Зиновкин. Стихотворения	148
Москва: Яна Юшина. Стихотворения	150
Оффенбах-на-Майне: Анна Германова. Стихотворения.....	152
Москва: Никита Брагин. Стихотворения	154
Балашиха: Полина Орынянская. Стихотворения	156
Брянск: Светлана Носова. Стихотворения	159

«ГОРИЗОНТ»

Эдуард Филь: Показать цену и смысл жизни. О Международном Грушинском интернет-конкурсе. Вступительная статья	162
Санкт-Петербург: Ренарт Фасхутдинов. Стихотворения	163
Бостон: Мария Рубина. Стихотворения	165
Москва: Марина Намис. Стихотворения	167
Екатеринбург: Юлия Долгановских. Стихотворения	169
Нью-Йорк: Жакалин де Гё. Цыплёнок жареный. Рассказ	171

«ЛИТМУЗЕЙ»

Виталий Вульф. Судьба Натаальи Николаевны Гончаровой-Пушкиной. К 220-летию А.С. Пушкина	179
--	-----

«ФОНОГРАФ»

Львов – Харьков. Елена Касьян. Письма к Тейми. Стихотворный цикл	186
--	-----

«КНИЖНАЯ ПОЛКА» АЛЕКСАНДРА КАРПЕНКО

Клиповое сознание Александра Тимофеевского. Рецензия на книгу «Избранное»	197
Смотровая площадка поэта. Рецензия на книгу Марии Ватутиной «Смотровая площадка»	200
Яблоко-жизнь Людмилы Шарга. Рецензия на книгу «Мне выпал сад»	203
Ренессансная жизнь Ирины Чудновой. Рецензия на книгу «П ласточка мутирует к сове»	206
Неоакмеизм Дмитрия Бураго. Рецензия на книгу «Московский мост»	209
«Выньте себя до последнего эха...». Рецензия на книгу Маргариты Аль «Манифест Аль Пизи»	212
Юбилей ушедшего друга. Рецензия на книгу «Ромашковый привкус разлуки. Поэт Лев Болдов в воспоминаниях, посвящениях»	214

«ШКАФ»

Нью-Йорк: Борис Жеребчук. Мозаическая цельность. О книге Веры Зубаревой «Ангел на ветке»	217
Москва: Игорь Настенко. Женщины в созвездии. О книге Андрея Краевского «Созвездие женщин»	219

ЛЕВ ЛИБОЛЕВ

ДЕРЕВЯННЫЙ АНГЕЛ

АМФИБОЛИЯ

Сентябрьский и лишённый мимики
сезон скучающий, дождливый,
последним солнцем лужи вымакай,
как хлебной корочкой подливу.
Официанты криворукие
в глухой тени многоэтажек,
стручками высохшими грюкая,
несут свой крест, и крест их тяжек.
Акации да цератонии,
в себе хранящие караты,
глаза цыганские, бездонные,
рука, раскинувшая карты,
зачем смущаешь посетителей
осеннего кафешантана.
Что неподвижности пронзительней?
Скажи, а то платить не стану,
слова рассыпав, что горошины.
Позолотить ладошку, или?
Ах, как сегодня много брошенных
из тех, кого вчера любили.
И любящих не сыщешь более –
двусмысленная пантомима,
сентябрьских строчек амфиболия
сознания и смысла мимо.
И каждый день в каратах меряя,
безмолвствующая, сырая,
чадит осенняя империя,
дождём листву перебирая.

БЕЗ КАВЫЧЕК

Уже и дни пошли на вычет,
короче пишется строка,
и осень скоро закавычит
мои слова наверняка.
И что-то вырвав из контекста
для изречений и цитат,
погонит листья в темпе престо –
пускай летят, пускай летят.
В линейку, в клеточку косую,
из памяти за первый класс.
Читать их больше не рискую,
а ты взялась, а ты взялась,



моя находка и пропажа,
подарок сумрачных богов.
Меня не спрашивала даже –
а кто таков, а кто таков?
Осенний взгляд, осенний голос,
чеканно или нараспев,
ты о слова мои кололась,
понять повторы не успеv,
написанные одиночкой
вне стихотворческой семьи.
О вы, грошовые денёчки,
вы, драгоценные мои.
Я вам растратчик и добытчик,
и знаю, что всего ценней
слова. В кавычках. Без кавычек.
О ней. О ней. О ней. О ней.

МИМО КАССЫ

На кухне пахнет родиной, пока
ты маленький, а комнаты огромны,
пока сырая тяжесть потолка
тревожно бдит подвальные хоромы.
И кран сипит, и в донышко ведра
выстукивает рыжая водица
парадов тоекратное ура.
И чайник без причины кипятится,
отплёвываясь брызгами, ярясь
на бабушкины чашечки да блюдца.
На улице дожди, туманы, грязь,
а школьный список войн и революций
никак не лезет в головы мальчикам,
таким, как ты, мечтательным и глухим,
привычно повторяющим – Сезам
своим родным хибарам и халупам.
Там вкусно всё, все каши и борщи,
ворованные чай и шоколадки.
Там хлеб – такого больше не ищи,
а сыр почти пластмассовый и гладкий,
свистящий на зубах, что соловей.
Сезонно – мандарины и маслины.
Там бедность говорит – азохен вей,
вдыхая вечный фреш пенициллина.
Там руки мамы, кухонный бедлам,
отцовские наколки и рассказы.
Там родина с грехами пополам,
которой я случился мимо кассы.
Которой я теперь чужой совсем,
не знающий земли обетованной.
И то, что я сегодня не доем,
останется на кромке котлована,
там, где тогда стояли тополя,
где был подвал и кухонные сплетни.
И я смотрю, как сыплется земля,
туда, где я, мальчишка малолетний,
не знал, подвальной плесенью едом,
что стану вдруг иной страной едомым.
Что буду вспоминать мой двор и дом
и родину, не ставшую мне домом.



К СЕБЕ

Куда от себя? Никуда.
 Не спрятаться и не укрыться.
 Уходят в былое года,
 взрослеют царевны и принцы.
 Ни сказок, ни пафосной лжи,
 все браки давно по расчёту.
 Кому-то любовь предложи,
 так скажут – о чём ты?

И вскладчину пьём и гудим,
 считая копейки в карманах,
 когда-то дойдёшь нелюдим,
 до поздних ночей недреманных.
 С бутылкой один на один,
 со сборником сказок и песен.
 Фантазий своих господин,
 смешон и помпезен,

как нищий, проевший свою,
 когда-то бессмертную душу.
 Ты был тут уже? Дежавю.
 Молчащий, пустой и потухший,
 строчи эти сказки, блефуй,
 в пространство ругаясь и щерясь,
 подсядь на пустую лафу,
 безбожную ересь.

Но из дому не выходи –
 в историю вступишь, не надо.
 Довольно во впалой груди
 кругов персонального ада.
 Все пройдены до одного,
 и всё же, к себе возвратиться
 за этой земной синевою
 мечтает и птица.

Ступай же с грехом пополам,
 не плача, не воя, не горбясь,
 по старым лесам и полям
 в какую-то дальнюю область.
 Где на поселениях сплошь
 сидельцы в рисунках набитых.
 Где вечное вынь да положь,
 не сдвинуть с орбиты.

Где ягод полно и грибов,
 гробов, истлевающих в глине.
 И где на ладонях любовь
 отыщется в сетке из линий.
 Где суд – это просто тайга,
 где бурый медведь прокурором.
 Где пришлый опасней врага,
 приезжий на скором

опаснее в тысячу раз –
 досужий столичный писака.
 Он только на пакость горазд,
 болтающий разное и всяко.



И родина примет в ножни
чужого тебя, святотатца...
Ты сколько о ней ни пиши,
не сможешь остаться.

И снова уедешь, собрав
у старых былины и притчи,
лишённый каких-либо прав,
под яблочный запах коричный.
Из личного ада с трудом,
усталый и переболевший,
как будто бы из дому в дом,
как будто – к себе же.

ПЕРЕДЕЛ

Когда сентябрьский передел
меня застанет в мокром сквере
на пяточке, что поредел
от многих ног, идущих к вере,
но не нашедших ни её,
ни даже идолопоклонства,
Клевещущее воронье,
безумствуй, смейся, эпигонствуй.
Вытаптывай клочки травы
в моих нечитанных тетрадах,
стихи Марии Петровых
напой дождями, бога ради,
сентябрь, идущий вслед за мной,
опустошённый, мрачный, мглистый,
с необъяснимой тишиной
в пустых глазах кокаиниста.
Чего нанюхаться ещё,
твоих костров огня и яда?
Не ври, что это хорошо,
не ври, пожалуйста, не надо.
Не трогай пересохших губ
своим дыханием остывлым,
махай над раструбами труб
чадящим утренним кадилом.
Туман, а он всегда таков –
лишь вдох – и с острова на остров,
где домолчаться до стихов
и до любви легко и просто.
Сентябрь. И тянешься на юг,
за теми, с кем не смог проститься,
не замечая, как вокруг
линяют ангелы и птицы.

ПЕРЕСМЕШНИК

Осень входит в дверной проём
горстью листьев, корой трухлявой.
Мы снаружи с собой берём
в дом частицу осенней славы



пересмешника-сентября –
 медный мех для недолгой носки.
 Выживаем, благодаря
 рюмке качественной Смирновской.
 Там, в узорчатом хрустале,
 все надежды – сунеем, сдюжим.
 И на сердце слегка теплей,
 и просторней мечтам досужим,
 где от водки и до воды,
 от порога и до порога
 оставляет свои следы
 осень, вредина-недотрога.
 То к подошвам твоим прильнёт,
 то протиснется нагло в двери.
 Кучка листьев да пара нот
 для стихов и для суеверий.

ДЕРЕВЯННЫЙ АНГЕЛ

Жизнь – букетик слабый, вялый –
 лепесточки да листочки,
 но меня очаровала,
 и не сдвинет с мёртвой точки.
 Ваза, полная водицы
 на салфетке с кружевами,
 а для рифмы пригодится –
 я давно больна не вами,
 стебли-руки, листья-веки,
 губы – алые бутоны.
 Всё, что было в человеке,
 отцветает монотонно.
 Всё скукожилось в морщины,
 всё живое где-то выше,
 и от этой чертовщины
 я нисколько не завишу.
 И глаза не поднимаю,
 понемногу отцветая.
 Понимая, что немая
 жизни музыка святая.
 Все пчелиные хоралы,
 птичьи звонкие дуэты.
 Всё, что душу пробирало,
 ищет жизни выше где-то.
 Сверху, где на нитке длинной,
 ожидая, что увяну,
 пахнет горькой сердцевинной
 светлый ангел деревянный.

ТИНА АРСЕНЬЕВА

МОЛИТВЫ

ХУДОЖНИК

Порвав прельстительные сети,
Чтоб после впутаться стократ,
Твои, Господь, шальные дети,
На миг смиренные, – у врат.

Как рвётся в небо пламень гибкий!
Всё то, что прах в Твоей горсти,
Даруй нам, Господи, с улыбкой
И, даровав, тотчас прости:

Сквозь лозы в скрытности беседки
Тот вороватый лунный блик;
Блудливой тоненькой соседки
Запечатлённый светлый лик,

Истлевшие обрывки радуг
Меж тонких пальцев выпускниц;
Всё то, чего не сыщешь на дух;
Всё то, пред чем пластались ниц;

Обряд причастия – без веры;
И зов небесный – в тишине;
Причастность, как вино без меры,
И неумеренность в вине;

Весь мёд, отравленный хвалами;
Весь яд, – его испил Ты сам...
Из преисподней вышло пламя,
Но тяготее к небесам.

СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Отчего эти жёны – следом?
Отчего между братьев – лишний?
Отче, сыну отец неведом
Никакой, но один Всевышний.

Отче, любят – под общим небом,
А враждуют – под общим кровом.
К миру пусть моё тело хлебом
Прорастает – в раю ковровом.



Лишь златой расплескался волос
 Благовонной буйной купелью,
 Я услышал знакомый голос
 Над раскачанной колыбелью.

Отче, слышишь ли это имя?..
 Любодеев – повергну в пламень,
 Но уже никогда – над *ними*
 Ни один не просвищет камень!

С высоты Твоего чертога
 Преклонись милосердным слухом:
 Прощены, возлюбивши много,
 И блаженны – нищие духом...

ДИТЯ

О молитве благодарственной
 Много позже узнают.
 Шаг ступив, войду я в царственный,
 Мне дарованный, приют.

Всё, что попило томлением
 Ваши души и тела, –
 Всё приму я с изумлением
 В голубые зеркала:

И недвижимое, чумазое
 Голубиное крыло;
 И кошачье, желтоглазое,
 Шелковистое тепло;

И стенанье гули-горлинки,
 Вездесущей, словно дух,
 Где разнеженные дворики
 Заволакивает пух...

Стану в травы на колени я:
 Сыщем мамин гребешок.
 Бог простит ей умиления
 Легкомысленный стишок,

Он ей даст луну двурогую
 Со звездою голубой.
 Языком слова я трогаю,
 Повторяя: «Бог с тобой».

ВЕЧЕРНЯЯ

К обетованной утренней звезде
 Руки не протяну;
 Но дай, Господь, в земном моём труде
 Печальную одну:

Вон ту, что сбила в тёмные стада
 Безродные дома
 И лица погасила, но сама –
 Вспомянь! – *ни свет ни тьма*.



На благо ли, Творец, или во зло
Младенческие сны
Бывали так тревожно и светло
Отсутствием полны?

И грех ли, не сочтя в морях песок,
Изведать на излом,
Как певчий голос гулок и высок
Под храмовым крылом?

Не Та ли, что печальна и смугла,
Не смевшая рыдать,
С благою вестью вкупе приняла
Прощанья благодать?

Оставь же мне заката ветхий плащ
С лучом его косым.
Смотри: уходит, кроток и скорбящ,
Возлюбленный Твой Сын.

ЕВА

Ты высекал меня, словно каменю.
Сёк – беспощадно. Роптать – не умею.

В сердце разил, дабы плотью немела.
Жить – не дано. Умереть – не умела.

Благодарение, Господи, змею:
Знать – не хочу, позабыть – не умею.

СТАРУХА

Пересыпают в ладонях песок
Малые дети долгого дня.
Я Тебя слышу: на волосок
Дня не прибавив, кличешь меня.

Ни на песчинку ведь не передашь,
Не пересыплешь! Мытарь и страж,
Отче студёный, дышишь в висок.
Что с меня взыщешь? Тёплый часок.

Нет никого между нами. Постой
Рядом: сижу да слежу, без затей,
Неисчислимый песок золотой
В тёплых ладошках малых детей...

СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Несущий меч – есть Сущий Бог?
Нет, самозванец рукотворный!
Скорблю: колодец пересох
Терпимости моей нагорной.



Сегодня, Отче, мой черёд
Испить – под молнию косую!
А я ведь знаю наперёд:
Вся горечь мира канет всуе.

Вся истина стучит в груди,
А Ты – даруешь просветленье;
Зачем же, Боже, впереди
Грядёт не мир, но разделенье?

Ужель их мало от меча
Укрыло земаю, слившись с нею,
И под рукою палача
Для мира Истина яснее?

Ужель не Слово, но кресты
Навек: нагорно и нательно?..
Душа моя скорбит смертельно...
Но будет так, как хочешь Ты.

ПОЭТ – СЫНУ

Ты дал нам притчу на излёте
Дыханья – жизнь Свою:
Что Слово тяготее к плоти,
А плоть – к небытию.

Запечатлённый, никнешь снова –
Бессчётно! – на крестах.
Твоё безропотное Слово
С тех пор в чужих устах.

И не поймать его, – не птица!..
И благовест плывёт...
Но Слово ищет воплотиться –
Лишь этим и живёт.

СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ – САМОУБИЙЦАМ

Нет, не отринуты вы небесами!
Всё претерпев, и мороку, и глад,
Непримирённые души, – вы сами
Будете вечно лелеять свой ад.

Пить – так до дна, чтоб из рёберной клетки
Птицей рвануться – *всего* пожелать!..
О, для Отца вы – лишь блудные дети;
Я есмь ваш кладезь, а вы – Моя кладь.

Яйцеобразна та клетка: палата
Дома призренья. Смотрите в лицо:
Может, душа для того и крылата,
Чтобы стремиться покинуть яйцо.

Плачущих бег – не к Отцу, но, по млечной
Памяти, горько вскипевшей в сынах, –
К матери-Смерти, ревнивице вечной:
Та продержала бы век в пеленах!



И у смирения есть ипостаси, –
Вместишь – познай, а познав – воплоти!
Может, прилично душе восвоеси
Вовремя и не прощаясь уйти?..

Нет, неподсудны витаючи сирю!
Ангелы скажут Отцу, вострубя:
То суть поэты, все таинства мира
В душу вместившие, – кроме себя.

Я есмь спасенье, а если осина
Всеу помянет креста силуэт, –
О, и для тех, кому именем Сына
Дал отпущение дерзкий поэт!

ГОРОД

Благослови, Господь, травинку,
Растущу к небу плавно:
Тебе погибель не в новинку,
А нам так и подавно.

Ведь всяк, прося благословенья
В дорогу, лжёт невольно:
Благословенного мгновенья
На наш век предовольно.

Ведь ни одна Твоя травинка
Не вырастет превратно;
И вся-то наша дешевинка
Отплатится стократно:

Наш злак загубленный, и злата
Казённая палата;
И барственный – в отмену дара –
Барыш во фрунте бара;

Все раздраконенны диковины,
Болтливы колокольни
И разбазаренный, разменный
Наш день разминовенный.

СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Истинно свидетельство камней,
Ибо молчаливо, как молчание
Бога – в трепетании огней
Храма; словно мерное качание
Лун безгласных – наставленья жест.
Потому я понесу свой крест.

ТАТЬЯНА ОРБАТОВА

ЧЁТКИ ИЗ КОЛОСКОВ

НЕ ОТМЕНЯЕТ СВЯЗИ НЕБО

*

На верхней ноте уходить,
искать обратную дорогу,
найти папирус или сыть,
унять тревогу.
Сказать: «так было, будет, есть»,
акаций цвет очеловечить,
седые горы, птичью весть,
холодный вечер.
К зиме по слову убывать,
найти приют, глаголам вторя.
И костью говорящей стать
земле и морю...

*

Ходят по древним землям дети богов –
лица суровы, чётки их пальцы греют.
Выбыл один дитяты и был таков,
выбыл из общих игр, он был добрее.
Братьям оставил чётки, в себя ушёл,
стал ходоком к своим венценосным генам.
Небо в лавровых тучах, венец тяжёл,
ген обнулится к ночи зерном ячменным.
Раннее утро с проседью облаков,
в поле далёком маревый жнец колдует:
вот вам, дитяты, чётки из колосков,
вот вам бычок соломенный, обалдун...

*

Не отменяет связи небо,
роня звёзды в долгий сон.
А где-то свечи, крест и требы,
и лик страданьем иссушён.
А где-то строчки криво-косо,
кустом терновым по листу.
Не отменяет знак вопроса
полётов птичьих красоту.
Резвятся буквы, мотыльками
летят на ручки детворе.
Не отменяет мёртвый камень
нетленность яблок в букваре...



*

Парусник вдалеке, ласковый бриз...
 Выплыло слово некстати –
 «запечье».
 Стало тёплой волной, но
 ни вверх и ни вниз
 слово-памятка,
 тихое, человечье.

Стопки исписанных листьев,
 жар простыни,
 ночь диктует, как прежде,
 сверчковые песни.
 Каждый слышит своё.
 Слышу я: не усни,
 спят умбрийские сосны,
 не жди от них вести...

Что мне сосны умбрийские?
 Дом мой увит
 быльё знойной степи,
 болью памяти,
 или берёзовой грёзой.
 Не молчи и не спи, –
 ночь моя говорит –
 там восход на крови,
 горше доли одной,
 горче сока
 одной сокрушённой берёзы...

ТУЧИ НАДЕВАЛИ КАМИЛАВКИ

*

Радуга июньских красок,
 птицы солнечной рассвет.
 В небе чуть заметный след
 алой ленточки атласной.
 Алый, алый лепесток...
 Шутит ветер – по спирали
 не со зла и без морали
 гонит ленту на флагшток.
 И горит огнём атлас,
 или роза над Голгофой,
 или кровью пишет строфы
 будущий Экклезиаст.

*

Тучи надевали камилавки,
 шли по небу строго и без слов,
 а на острие большой булавки
 вили гнезда тысячи ветров,
 Ах, запольхают в небе свечи! –
 крестится свечница на восток.
 Старый сад, семья и летний вечер,
 гоголь-моголь – сахарный желток.



Бабушка к столу зовёт внучонка,
у него весёлая игра –
с ангелом господнюю соломку
стелет в гнёзда завтрашним ветрам.

*

Если дождь этот – слово и чудная весть, –
изрекается Небом не слова ради,
значит, аве земля!
Льют дожди в её честь,
и она всё невестится – в девичьем взгляде.
И воркует она, но в её глубине
рык таится вселенский – пылающих змиев...
Дождь стучит по вискам, по открытой спине,
или память стучит лёгкой рифмой стихии –
из заплаканных слов строит маленький плот,
а из горл онемевших – кораблик бумажный.
Спит в земле побеждённый собой Ланселот,
отражаясь победными грёзами в каждом...

ОСЕННЕЕ. ГОРОД

*

Гуляла осень с мыслью обо всём –
от первой рыбы до зимы последней.
Плыл город золотистым карасём,
слетались души-бабочки к обедне.
И был он – звук – от сохнувшей листвы,
как будто знал он меру увядания.
И берег был, и юные волхвы
лепили пасочки без ожидания.
Густела кровь у лишкой мошкары,
тик-так – земная музыка по строчкам,
и нищий говорил: будьте добры,
подайте вашим сыновьям и дочкам...

*

Рыба-молот не ждёт чудес –
нестерпимо жить, говорит.
Рыба-чёрт на старых качелях
имитирует голоса.
Парк осенний теряет вес,
потрясается – хамовит
ветер пришлый, зовёт метели,
оставляет им адреса.
Голубиная книга дня...
Снова выпало дно глубинное,
листьев рыжая чешуя
наползает лавиною.
Но мурлыкает рыба-кот:
ходит *маинка* днём небесным,
млеко поит миры и тестом
конопатит восход...



*

Слова с утра ложатся в строчки.
Сентябрь, ночью шторм на море.
Его свободный пенный росчерк
на время утишает хвори,
на время окрыляет.
Вечность
близка к нулю, но глубже смерти –
посмертный вдох, почти что речь, но
похожа на письмо в конверте –
слова выдыхаешь – букв не имут,
пока не видишь – плеск фантазий...
Над морем город мой раскинут
для вечных игр европ и азий.

НО ЗАЧЕМ ГОВОРИТЬ?..

...Но зачем говорить, если птицы в стихах,
если ангел весны блистает?
Только в сердце печаль, как погибель – тиха –
звука нет, но не утишает.

Грезят словом рассветы, несть им числа,
грезят числа о вечном – в сумме,
но растратит свой пыл над цветком пчела,
и никто ей не скажет: все...

И никто не срифмует её с числом,
не истреplet глаголом душу.
Что ей песни печальные – о былом, –
если рвётся душа наружу.

Лишь цветок повернётся за солнцем вслед,
не заметив пчелиной смерти.
Что цветку чьи-то смерти, пока есть свет
и землистый кусочек тверди.

АННА МИХАЛЕВСКАЯ

СПОР НА КРАЮ ПРОРВЫ

рассказ

ЛЮБАША

Подслеповатое мартовское солнце застряло в голых ветках и беспомощно там повисло.

Любаша толкнула дверь магазина, вышла на порог; изогнув пышное бедро и прищурив глаза, сделала глубокую затяжку.

Зажатый со всех сторон высотками, магазин ютился между неухоженной клумбой и большой лужей. Первые буквы вывески «Продтовары» давно отпали, а остальные какой-то шутник ночью переставил. Получилось – «отравы». Любаша, конечно, сразу сказала хозяину. Но тот молча забрал выручку и выгрузил коробки с новой партией товара. Может, не расслышал. А, может, ему было всё равно. Переспрашивать она не стала. Хмурый, с тяжёлым взглядом и спрятанным в бороду лицом, хозяин был не из тех, с кем хотелось заводить разговоры, даже короткие.

– Давай накатим, Любаня, а? – охранник Саньч вскинул на неё жалостливый взгляд и грузно опустился на скамейку. Рядом гроыхнуло изъеденное ржавчиной ведро. – Беда с той прорвой! – он махнул мозолистой рукой на лужу.

Любаша присела рядом, затушила сигарету о деревянную перекладину и щелчком отправила в лужу. Та жадно булькнула и заглотила окурок. По тёмной глади разбежались круги.

Лужа наполнялась сама собой раз-два в месяц, независимо от исправности труб и погоды. Мутная вода всё время откуда-то прибывала – так что лужу невозможно было ни вычерпать, ни засыпать. Но Саньч не сдавался – бегал с ведром то к люку, то к ближайшему тополю. «Психический!» – кривила губы Любаша вслед охраннику, поправляя парус лакированного чуба. А сама еле сдерживалась, чтобы не прыгнуть с разбегу в эту самую лужу. Что-то в чернильной мути было такое – почти как в соседе Петре: крепком пожилом мужчине с копной кудрявых седых волос – тянуло так, что сил нет, а подойти страшно.

Когда под магазином случался разлив и выход из берегов, к «отравам» стягивались камикадзе. Прозвище им дал Саньч. Любаша и слова такого не знала. Было оно слишком нелепым – как отплясывающие лезгинку грустные грузинские комики, которые представлялись Любаше каждый раз, когда Саньч в сердцах бросал ведро и обречённо сообщал:

– Ядрён батон, опять камикадзе!..

На крыши домов напоздали сумерки, и оба понимали: скоро пойдут, горемычные. Обычно дело обстояло так: дверь магазина открывалась, и на пороге появлялся человек, которого сразу становилось жаль. Хозяйский проигрыватель ещё времён сеток-авосек и плащей макинтош сам собой включался и заводил: «Чёрный ворон, что ты вьёшься...». Камикадзе ещё мог не стать камикадзе, если покупал колбасу, паплет или заплесневевший от возраста сыр. Но такое случалось редко. Чаще они просили воду – вон ту, нет, не «Куяльник», не «Пепси», да-да, ту с белой этикеткой. И хоть кол на голове теши, требовали именно её! Даже когда Любаша с Саньчем в один голос кричали, что вода просрочена, их не слышали. Камикадзе было плевать, что на этикетке ни одной надписи – ни названия, ни состава, ни срока годности. Они приходили сюда именно за этой проклятой бутылкой! Потом садились на скамейку, пили воду и смотрели на лужу. А к утру... к утру исчезали. Саньч твердил, что те просто уходят, ядрён батон. Но ведь они не возвращались. И всегда «забывали» какие-то вещи. Важные вещи – кошельки, пакеты с едой, сумки с документами, телефоны...

– Кажись, наш клиент! – Любаша достала из одного кармана передника пару стопок, из другого – шкалик. Деловито отмерила янтарную жидкость. Протянула стопку Саньчу. – За любовь! – залпом выпила свою, утёрла рот рукавом. – Ну всё, пошли встречать!

Саньч крикнул, причмокнул губами. Подслеповато щурясь, он смотрел на худого паренька с вихрастым чубом – тот засунул руки в карманы лёгкой куртки, видимо, пытаясь согреться.

– Не могу больше, Любаня, уволюсь! Шкет же совсем, куда ему...



– Я тебе дам «уволюсь!» – Любаша замахнулась на Саньча шкаликом.
Охранник трепетно глянул на шкалик и зло – на Любашу. Вдохнул и побрёл к магазину.
– Бережи лекарство, мать! Пригодится ещё!

КАМИКАДЗЕ

– А можно... – парень ткнул пальцем в стекло холодильника.
– Сметану? – подсказала Любаша.
– Не-а, – протянул парень, – а колбаса у вас...
– Вся свежая и вкусная! – отрезала Любаша, теряя терпение.
Громко шурша газетой, Саньч перевернул страницу с кроссвордом.
– Нет, не надо, – парень перевёл взгляд на стеллаж с напитками.
Любаша обречённо вздохнула.
Парень вдруг хлопнул себя по карманам.
– Движ-париж, сигареты забыл! «Винстон» дайте!
Звякнул колокольчик, и в магазин влетела девушка, окинула прилавки оценивающим взглядом. Волосы собраны в строгий пучок на затылке, губы поджаты. Небось, учительница.
– Извините, я быстро! – она широко развела локти, пытаясь что-то найти в безразмерной сумочке, из которой торчал букет мимозы.
Парню ничего не оставалось, как посторониться.
– Воду! Вот эту! – девушка, не глядя, ткнула пальцем в бутылку с белой этикеткой.
Зная, что бесполезно, Любаша на всякий случай схватилась за «Моршинскую».
– Не заставляйте меня повторять дважды. Я просила другую воду! – ледяным тоном сказала «учительница», не переставая рыться в сумке.
«Садись, два!» – отозвалась эхом далёкая школьная память. Любаша покорно протянула бутылку, и девушка забросила её в сумку. Наконец отыскала кошелек, который оказался в кармане, пятисотка легла на прилавок. Просить помельче Любаша не стала – огрызаться на нотации училки настроения не было, вечер и так ожидался непростой.
Не успела она отсчитать сдачу – под нетерпеливую дробь крепких ногтей покупательницы – как снова звякнул колокольчик, и в магазин вошёл... Пётр!
Никогда она его здесь не видела, подумала Любаша, суетливо поправляя передник. Шкалик стукнул о прилавок, и она почувствовала, как предательски краснеет под слоем пудры и румян.
Петр улыбнулся, как умел только он один – понимающе и грустно – и раскатистым баритоном сказал:
– Молодой человек, верните даме бутылку!
«Воришка!» – спохватилась Любаша.
Не выказывая смущения, парнишка засунул воду подмышку.
– Не верну, – упрямо мотнул головой. – Это моя бутылка.
– Да он ещё и спорит! – негодовала покупательница, позабывшая, что куда-то спешила.
– Любовь, ну-ка дай ещё одну! – Пётр запустил руку в карман неизменного плаща, который носил и зимой, и летом, и положил на прилавок купюру.
«Он помнит моё имя!» – ликовало все внутри. Не соображая, что делает, Любаша отдала ему бутылку с белой этикеткой... И, досадуя, выругалась про себя. Могла бы хоть попытаться подменить! Это же Пётр! Сегодня он сядет глазеть на лужу, а завтра его не станет...
– Будут первые последними и последние первыми! – непонятно сказал Пётр и передал воду девушке.
Та смутилась – злиться не было повода, а радоваться училка, наверное, не умела.
– Спасибо, – наконец выдавила она.
– Сам выложишь, что стащил, или к полициям вести? Тут недалече, – Саньч крепко держал за плечо парнишку, впрочем, тот не спешил убежать.
– Не брал я ничего! – парень вывернул карманы, из них посыпались скорлупки от семечек, монеты, связки ключей. – Думаете, шпана подзаборная, да? – Глаза обиженно сверкнули, он подобрал мелочь, поискал по карманам, добавил пару купюр и с вызовом бросил Любаше: – И мне бутылку!
В голове Любаша началась шторм. Что ж это будет, а? Неменяющей рукой она взяла деньги, сняла со стеллажа воду. Парень нетерпеливо выхватил бутылку, протянул её Петру.
– Не откажусь! – тот откупорил и сразу с охоткой отпил. – Эх, тяжёлая смена выдалась...
«Как же они втроем-то на скамейке поместятся?» – терзали Любашу ненужные заботы. Она старалась не поднимать головы, чтобы не смотреть в глаза. Эти прощальные взгляды потом не давали покоя. Вспоминаешь, видишь во сне, а ничего уже не сделать. Саньч, тот вообще уткнулся в кроссворд, отгородился газетой.



Покупатели уходить не спешили. Они изучали прилавки, морщили лбы, брали буханки хлеба, клали на место. Покупать больше не будут – Любаша знала по опыту. Чувствуют, что-то происходит, не могут понять что. И не расскажешь.

Наконец вышли. Сквозь стеклянную витрину было видно: сели на скамейку, неловко посмотрели друг на друга и усталились на лужу.

– Любания, они ж бутылками поменялись! – подскочил с табуретки Саныч.

– Ну и шо? – передернула плечами Любаша.

– Кто ж его знает, шо или не шо! – растерянно протянул Саныч и снова опустился на табуретку.

«Что ты когти распускаешь над моего головой? Ишь добычу себе чаешь, чёрный ворон, я не твой!» – надрывно тянул проигрыватель.

Сложив руки на груди, Любаша подошла к витрине. Двор проглотила темень, лишь масляным пятном лежала на небе луна, бросая скупой свет на три силуэта. И будто негодуя на эту ночь и темноту, истошно лаял бездомный пёс Рыжик.

ТРОЕ

Парень отпил из бутылки, поставил её возле скамейки рядом с пустым ведром. Достал из кармана джинсов мятую сигарету, чиркнул зажигалкой, метнул любопытный взгляд в сторону девушки.

Подскочив со скамейки, та схватила сумку. Выпала мимоза – яркое пятно на сером асфальте.

– Я спешу, меня ждут... – и, противореча себе, девушка оглянулась, будто не смея уйти без разрешения.

Парень спокойно курил, а Петр задумчиво бросал в воду невесть откуда взявшиеся в руке камешки.

– Думаешь, уйдёт? – спросил парень.

Пётр не ответил, подобрал мимозу.

– Было дело, одна женщина решила так покончить с одиночеством. Это не маргаритки случайно? Вечно путаюсь в названиях, – он протянул девушке букет. – Кстати, как вас зовут?

Смутившись, она торопливо спрятала букет в сумку, вернулась к скамье.

– Надя, – девушка уже справилась с волнением, голос прозвучал жёстко.

– Привет, Надюха! А я Димон! – парень расплылся в улыбке и подмигнул ей.

– Пётр, – сказал мужчина, хоть его имени никто и не спрашивал.

Димон обернулся к Петру, но быстро потерял интерес и снова обратился к девушке:

– А ты чего такая серьёзная?

– Вам с рождения рассказывать или последних пары лет хватит? – Надя провела рукой по волосам, поправляя несуществующие изъязы причёски.

– Да ты не рассказывай. Ты улыбнись.

– Нет повода, – отрезала Надя.

– А я чем не повод? – искренне удивился Димон. – Вот сейчас возьму и на свиданку приглашу! Только сначала придумаю, где бабки взять...

– Что же вы на воду в моей сумке позарились? Надо было сразу кошелёк тащить, – подсказала Надя.

– Не, я нормальный пацан! Кошелёк бы вытащил у него! – он кивнул на Петра.

– И сколько вам не хватает для полного счастья? – обыскав мятый плащ, Пётр вынул из внутреннего кармана внушительную пачку.

– Штука баксов! – прищурился Димон.

Мужчина отсчитал хрустящие новизной бумажки, протянул парню.

– Движ-париж! Реальные бабки?! – Димон просиял, но быстро потух. – Не, чувак, на, – он вернул деньги. – Не нужны они мне.

Резко поднялся и направился к луже. Вода заволновалась, лизнула стёртые носки кроссовок.

– Вот и дурак, – тихо сказала Надя. – Кто теперь меня на свидание поведёт?

Димон сделал шаг назад, развернулся, с горечью произнёс:

– Вот он и поведёт! – указал на Петра. – На кой я тебе сдался...

Надя поёжилась, подошла к луже, застыла рядом с Димоном. Пётр скривился и, будто нехотя, последовал общему примеру. Ступил на размякшую от влаги землю.

– Он умер месяц назад, – парень не отрывал взгляд от тёмной бурлящей воды, – брательник мой. Снаркоманился до ящика. Я и воровать начал для него. Стёпка меня поколачивал – чтоб на дозу носил, учил закладки делать. А потом на больницу, лекарства... Но теперь не помню, как колотил. Помню, как на великах с горы... Как по катакомбам... Как за меня стоял перед дворовыми... Глаза его помню. У меня тёмные, а у него светлые. Всю жизнь завидовал...

Лужа надула пузырь, и тот с громким хлопком лопнул. Надя вздрогнула.

– А я папу похоронила. Полгода как. Кажется, просто вышел в другую комнату. На кладбище – это ж не он был. И стук земли по крышке гроба... Нелепый обычай... Мы часто ссорились. Но мне не хватает



этой войны, мне не хватает его... А вокруг белки по соснам скачут. Уборщица орёт на собак, могилы они разрывают, работу ей портят. Понимаете, всем всё равно! А я не живу, я только назад оглядываюсь, – девушка наконец отвернулась от воды и тут же вскрикнула, – Пётр, стойте!

Мужчина с отрешённым видом шагнул в лужу, провалившись по колено в трясину. Надя едва успела схватить его за плащ, резко потянула на себя.

– Дима, да помогите же мне!

Парень встрепенулся, сбрасывая оцепенение, и с немалыми усилиями они выволокли Петра на сухую дорожку, усадили на скамейку.

– Яма глубокая, – бормотал Петр, – я и не думал.

– Почему они до сих пор её не осушили? – вяло возмутилась Надя. – Завтра же напишу жалобу на эти отва...това... отравы!

– А ты уверена, что завтра будет? – ухмыльнулся Димон.

– Что вы так на меня смотрите? – Надя переводила взгляд с Димона на Петра и не понимала, не хотела понимать выражения их лиц.

– Я тут давненько околачиваюсь, – Димон запустил руку в волосы, помолчал. – По всему выходит – клятое место, народ здесь пропадает, не спрашивайте как. Но все они хлещут это, хрен знает что за пойло, а потом сигают в лужу. С концами.

– Но можно же не сигать! – сказала Надя тоном всезнайки.

– А вы попробуйте отойти от скамейки. Или в магазин зайти, – подал голос Пётр.

Димон остался на месте – стоял, засунув руки в карманы, а Надя попробовала. Она обошла лужу по кругу, шагнула в сторону. Легко ступая, она слухала лай пса, визг тормозов на трассе за домами, низкие ритмы танцевальной музыки из открытых окон. Лёгкий ветер приятно освежал, и казалось несусветной глупостью вот так поверить дурацкой шутке...

– Надюха, ты брось это!

Мужчины её силком тащили из лужи, как она с Димоном недавно Петра.

– Слушайте, а что мы пьём – может, галлюциноген какой-то? – язык еле ворочался, Надя медленно приходила в себя. Нагнулась, подобрала бутылку. – И надписей нет. Зачем я её вообще купила? – она уставилась на парня. – А ты... ты же знал про эту воду с белой наклейкой! И всё равно украл...

Димон отвёл взгляд.

– Ну, я типа подумал, вдруг тебя пронесёт. Смотрю, красивая мамзель такая. Глаза несчастные... А мне одна дорога. Кореша брательника пасут. Рано или поздно посадят на иглу. Не хочу, как он. И я типа снова подумал – лучше сам. Ночь посижу у лужи, и готово... Если б этот старый хрен всё не испортил! – он раздражённо махнул рукой на Петра.

– Он не знал, Дима! – Надя помолчала, заглянула парню в глаза, – Не надо меня жалеть. Не люблю. Но вообще – спасибо...

– О чём базар! Я так и не помог... – помрачнел Димон.

– Но ведь хотел, – слабо улыбнулась Надя. – А вы почему здесь, Пётр?

– Потерял друга. Учителя. Давно. Очень давно. Но предательство не просто забыть. Особенно, если предал ты. Он нечеловечески страдал, когда умирал, а меня не было рядом, не помог, не попросил прощения, – лицо Петра вытянулось, заострились скулы, запали глаза, глубокие морщины прорезали щеки. – Верю, что он простил меня. Но я себя не простил...

– Та же фигня, Петя, – Димон похлопал мужчину по плечу.

Тучи обложили луну со всех сторон, и она казалась крошечным окном, единственным светом в глубоком и сыром подzemелье, на дне которого сидели три узника. Погасли окна высоток, стихли звуки улицы, замолчал надорвавшийся глоток пёс. Ночь подползала к ним всё ближе, дышала в лицо туманом, мягкой и сильной лапой отделяя троих, лужу и скамейку от прочего мира. Ткань пространства рвалась, из прорех сочилась тёмные воды, которые унесли на своих спинах не одну лодку. И эти лодки никогда не возвращались...

– Она растёт! – Надя прыгнула на скамейку, спасаясь от вконец обнаглевшей лужи, которая с бульканьем и присвистом подползала уже к двери магазина.

Пётр и Димон топтались на скамейке, беспечно оглядываясь.

– Надо допить воду! – спохватился Димон. – Другие этого не делают! Просто выливали остатки в лужу!

Он присел и подхватил забытые внизу бутылки. Как раз вовремя – волна опрокинула ведро и то упало в темноту, словно дохлый кит. Кривясь и морщась, трое едва одолели пойло: польнно-горькое, с удушливым сладковатым запахом.

– А ты почему замуж не вышла? – Димон отбросил пустую бутылку.

– Так и ты не женился!

– Тебя поздно встретил, не успею уже.

– Все мужчины так говорят.

– А я не все! – сощурился Димон и, балансируя на гуляющих под ногами перекладинах, ухватил Петра за руку, – Петя, обвенчаешь нас? Ты ж можешь! Пусть всё по понятиям будет! Мамзель просит. Ну?

Пётр огляделся. Темнота съела всё вокруг. Не видно было ни очертаний домов, ни отблеска витрины магазинчика, даже луна упала с неба и куда-то закатилась. И только глаза побледневшей и смущённой Нади сияли в темени, как огни маяка.

И он решился. Говорил тихо, слово за слово вспоминая текст, который не раз слышал в храмах на всех языках мира. Постепенно перестал сбиваться, голос звучал всё уверенней. В давящей пустоте он едва различал обращённые друг к другу лица и думал, что это нелепое венчание на краю жизни и скамейки – самое лучшее, что с ним случилось за последнюю сотню лет дежурства.

А когда Надя выпустила из рук жёлтые цветы, когда маслянистая муть лизнула ступни и поднялась по ногам, когда спазм сжал горло, он жалел только об одном – что не встретил этих ребят раньше, когда ещё можно было что-то исправить...

– Петя, мать твою! Не уходи, я ж люблю тебя! – через космическую черноту прорвался крик Любаши. О, Господи, подумал Пётр, как мне тебя не хватает сейчас...

ЛЮБАША

Ночь тянулась долго, как нелюбимый сериал. Гудел и подрагивал в углу холодильник, не выпуская из рук газеты, клевал носом Саньч; серый котяра, свесив лапы с полок бытовой химии, лениво открывал то один, то другой глаз. Любаша сидела за прилавком, подперев щеку, и таращилась в окно витрины.

Хозяин запретил оставаться на ночь в магазине. Сверкнул глазами, как припечатал: нет и всё! Испытывать на себе его гнев не хотелось. И видеть во сне глаза камикадзе тоже не хотелось. А хотелось... Тут Любаша себя останавливала, потому что с Петром всё равно ничего бы не вышло.

Отчаянно стараясь не заснуть, она зевала так, что щёлкала челюсть. За окном ничего не происходило. Почти ничего. Трое сидели на скамейке, уставившись на лужу. Они не говорили, не смотрели друг на друга, только потягивали из бутылок воду. Время от времени лица несчастных менялись, будто те жизнь кому-то свою рассказывали – прям, как они с Сонькой на кухне. Только они гадят так, что соседи в батарею стучат, а эти молча, не словами.

Пять шагов от кота к Саньчу и обратно. Туда-сюда, сюда-туда. Только не спать!..

Она так ждала, сама не зная чего, что, конечно, всё пропустила. Пётр – её Петя! Петенька! – схватился за сердце и начал заваливаться на бок. Вмиг за окном сбежалась чернота, заливая и магазин, и скамейку, и людей, и даже саму лужу чернильной кляксой. Последнее, что Любаша увидела, было уплывшее прочь ржавое ведро.

Не став звать Саньча, она распахнула дверь и шагнула за порог – в бездну.

И всё невысказанное, всё припрятанное на дне стопок в правом кармане фартука, все её желания и надежды вырвались криком:

– Петя, мать твою! Не уходи, я ж люблю тебя!

И пузырь черноты лопнул, стёк большими и малыми лужами, впитался в землю.

Небо вспыхнуло алым – занимался рассвет.

А Любаша непослушными пальцами набирала «Скорую».

АЗРАИЛ

Он пришёл к ней не затем, чтобы остаться. Напротив – он должен был лишь проводить, дальше их дороги расходились.

Скрипучая калитка, заросшая розами тропинка – их шинны цеплялись за плащ, и он начал нервничать ещё тогда, на подходе, почувствовав неладное. За шербатым забором чокались гранёными стаканами соседи, от души и не в такт горлания: «Вижу, смерть моя приходит – чёрный ворон, весь я твой...».

Распахнув лёгкую дверь веранды, он ощутил прикосновение льняной занавески к руке и замер, утонув в густом ягодном аромате. На плите кипела кастрюля, и, стоя к нему вполоборота, юная девушка сосредоточенно помешивала варево.

– Вера?

Не удержавшись, он выдал себя.

Девушка резко оглянулась. Ожидая увидеть привычные испуг, ненависть, обречённость, он с удивлением прочёл на её лице радость.

Это какая-то ошибка. Там, наверху, просчитались. Точно просчитались! Он решил задержаться и дожидаться подтверждения. Жил в саду, ухаживал за деревьями, полол сорняки, подстригал розы. Выучил наизусть «Ворона» и частенько подпевал.

Оказалось, всё-таки Вера. И всё-таки сейчас. Ночь он думал, а к утру передал своим, что останет-



ся здесь – вместе с ней. Пусть разжалуют, исключат, опечатают дом и лишат премии. Ему всё равно.

Он стал охранять Веру: днём ходил за ней, ночью стерёг у кровати. Случайно задев её руку, обожётся и с тревогой ощутил, как вскипают в нём новые желания... Он не считал времени, которое они провели в объятиях друг друга, но за каждый миг пришлось платить. Вера ушла тихо – он не слышал ни шагов провожатых, ни её последнего вдоха.

Родных у Веры не было, он похоронил тело в саду, посадил розу и каждый день поливал. Но роза не принялась, лишь стала набухать влагой лужа.

Хотел вернуться домой, его не пустили. Зато прислали грузовик, забитый ящиками с бутылками. В накладной значилось: «Для тех, кто спорит со смертью». Первую партию он разбил, грузовик спустил с обрыва в море. Прислали новый... В конце концов воду пришлось продавать.

Со временем к нему приставили Петра – во спасение или для наказания, он не стал разбираться. Поначалу избегал, потом они странно сдружились. Похоже, у Петра были свои счёты со смертью.

Частные домики люди снесли, вырыли котлованы, построили высотки. Лужу не тронули, место оставили под небольшой парк. Он обустроил рядом магазинчик, а сам переселился в многоэтажку и забил квартиру старыми вещами – кастрюлями из дома Веры, её платьями, туфлями, книгами, он содрал даже обои из спальни и захватил проигрыватель. Запутавшись в ногах у времени, вещи рвались и портились, и тогда он шёл на улицы и собирал всё, что было похоже на её кастрюли, платья, туфли и книги. Очень скоро в квартире осталось место лишь для крошечного стола и стула. Кровать была не нужна – он так и не научился спать.

Он ждал, очень долго ждал. И верил, что кто-нибудь когда-нибудь сделает то, что не удалось ему: выиграет этот треклятый спор.

ХОЗЯИН

– Что думаешь дальше делать? – Пётр махнул в сторону магазинчика, возле которого суетились грузчики.

Азраил пожал плечами.

– Не знаю, может, домой вернусь. Устал я здесь.

Рабочие взялись за вывеску, срывая «отравь» букву за буквой.

– Как они? – Азраил бросил хмурый взгляд, в его голосе сквозило нетерпение и ещё – страх.

– Парень Надю не узнаёт, а та будто что-то чувствует. Пока проходят мимо. Но я помогу им. Венчал как-никак, теперь ответственность.

Азраил кивнул. Помолчали.

– А ты что? – наконец спросил он.

– Чуть не угодил в твою лужу. Думал, не подействует. И я же умею по воде ходить, учили... Если б не ребята и не этот глупый обмен бутылками. Чужая вода, как чужая жизнь, мы друг друга видеть начали, понимаешь?... Месяц провалялся в больнице после сердечного приступа. Смешно! Говорят, сердце у вас изношенное. Надо в санаторий. Но пока Люба выхаживает.

– До сих пор переживаешь?

– Переживаю. Он знал, что отрекусь, и простил. Всех нас простил... Так хочется его живым увидеть, я скучаю. Сколько себя ни убеждай, что им там лучше, а приходишь к тому, что нам здесь хуже.

– Понимаю.

– Как с Верой решил?

На щеках Азраила заиграли желваки.

– Отнес её вещи на Староконку¹, раздал старьёвщикам. И вообще всё раздал.

Пётр похлопал Азраила по плечу:

– Молодец, старик, уважаю!

– Мне пора.

– Стой, всё забываю спросить – почему ты вывеску не поменял? Ладно, мальчишки пошутили, но можно ж было исправить!

– Не мальчишки, – первый раз за беседу Азраил неумело улыбнулся в чёрную бороду.

– Только не говори, что ты сам...

Азраил ещё раз улыбнулся, сел за руль, закрыл дверь грузовика. За колёсами позёмкой стелилась пыль.

Пётр запрокинул голову к небу. Чего только не случилось на его долгом веку... Он бросил последний взгляд на магазин, скамейку. Лужи не было. Корка сухой земли потрескалась. А на краю ямы пробивался колочий росток розы.

¹ Bloшинный рынок в Одессе.

АЛЕКСЕЙ РУБАН

КЛЕТКА рассказ

С бо.льш

Падение Брюкнера, скольжение сквозь тьму жёлоба, приведшего его в клетку, началось воскресным вечером последнего месяца весны. Он возвращался домой от Марты, шёл по улице Цветов, вдыхая тягуче-сладкий воздух. Загустевший, почти как сироп, тот становился таким всего на несколько дней и только в это время года, когда сменялись сезоны. У метеорологов было какое-то объяснение этому феномену, о чём туристы могли прочесть в брошюрах, продававшихся в любом киоске. Без сомнения, учителя в школе тоже подробно раскрывали суть явления, но их рассказы давно уже стёрлись из памяти Брюкнера. Марта предлагала ему остаться у неё на ночь. Возможно, ей хотелось ещё раз обсудить детали предстоящего перформанса, её могли будоражить мысли о сексе, внезапно случившемся у проснувшихся в самый глухой час суток. Брюкнер взвесил все за и против и отказался. Утром он собирался отправиться на работу на велосипеде, двадцать минут по свежему ветру, что не шло ни в какое сравнение с толчеей в метро. Марта кивнула и поцеловала его на прощание. Никаких сцен, они не состояли в браке и не отягощали себя лишними обязательствами, предпочитая удовлетворять в первую очередь собственные желания.

На подходе к Площади, там, где, несмотря на сгущающиеся сумерки, продавщицы цветов всё ещё несли службу у своих лотков, Брюкнер заметил на стене граффити. Из-за жирных чёрных прутьев смотрело морщинистое лицо, страдальческая гримаса, квинтэссенция одиночества. «По ту сторону тоже есть права», – бежала надпись под рисунком. Брюкнер был согласен с тем, что заключённые заслуживали человеческого отношения, и всё же не мог понять, какие обстоятельства толкали их на преступления. Государство давало всем равные возможности, помогало сиротам, безработным, иммигрантам. Любой мог получить образование, найти достойную работу, жить и пользоваться всеми благами жизни. Воровать, грабить, тем более убивать, и всё ради того, чтобы приобрести то, чего можно было достичь без всякого риска, – какой в этом был смысл?

На площади Единения, как и всю предыдущую неделю, было особеннолюдно. Жители города готовились к карнавалу. Брюкнер обошёл несколько групп туристов, размахивавших брошюрами из киосков, парочку панков, цветные гребни на головах, кольца в их нозах соединяла цепочка где-то в метр длиной. Его окружали обычные граждане, наслаждавшиеся вечером выходного дня, фрики самых разных мастей, демонстрировавшие чудеса модификаций тела, кто-то держал в руках плакаты с лозунгами протеста или в поддержку чего бы то ни было. Звучала музыка, люди одного пола выказывали друг другу свои чувства, не вызывая ничего осуждения. Это была та самая толерантность, за которую боролось их государство, и Брюкнер не мог не чувствовать радость, наблюдая её проявления. Внезапно его внимание привлёк сидевший прямо на плитах площади старик. Высокого роста, худой, даже измождённый, с запавшими глазами на высохшем лице, одетый в какое-то тряпье, он сидел на месте, покачивая бритой головой, не обращая внимания на суету вокруг. У скрещённых ног старика примостилась деревянная чаша со сколотым краем и маленькая клетка. В клетке ослабилась облезлая обезьянка, такая же тощая, как и её хозяин. Иногда она начинала подпрыгивать на месте, хвататься за прутья, всё это совершенно беззвучно. Время от времени прохожие бросали в чашу монеты и тут же удалялись, словно нищий внушал им неосознанный страх. Металлические диски со стуком падали на деревянное дно, не вызывая никакой реакции старика. Что-то заставило Брюкнера остановиться. Один посреди движущегося потока, он не мог оторвать глаз от сидящей на земле фигуры, и нищий вдруг поднял глаза, замер, на мгновение встретившись взглядом со смотрящим. Затем покачивание возобновилось. Брюкнер, словно очнувшись, встряхнулся и, ускорив шаг, двинулся к дому. По дороге он не мог отделаться от мыслей о странном старике, об овладевшем им непонятном чувстве. В своей квартире Брюкнер разделся и отправился под душ. Тугие струи освежили его, отогнав воспоминания. Он почистил зубы и, с телефоном в руках, забрался под простыню. Минут десять он просматривал ленту новостей, поставил несколько поднятых пальцев под фотографиями друзей, затем выключил свет и мгновенно погрузился в глубокий сон без сновидений.



Восемь часов спустя, медленно всплыв на поверхность омута, ещё не до конца осознавая реальность, Брюкнер, как и каждое утро, потянулся к столику у кровати за телефоном. До звонка будильника оставалось больше получаса, и это значило, что все утренние ритуалы можно было совершать не спеша. Ещё одним достижением демократии стала рекомендация правительства начинать рабочий день в понедельник на час позже, чем обычно, чтобы люди могли легче адаптироваться к быту после выходных. Брюкнер мысленно поблагодарил гуманистов из парламента и вошёл в сеть. За ночь в новостной ленте не появилось почти ничего нового, лишь одно видео, опубликованное неким Олли У. Когда-то они учились на одном курсе в Университете, потом Олли уехал стажироваться куда-то на Восток и, по слухам, там и остался. Несколько лет спустя Брюкнер обнаружил его страницу в сети и добавил в список друзей. У. принял приглашение, они обменялись традиционным «привет», на чём их общение и закончилось. Скорее от нежелания вставать раньше положенного, нежели из интереса, Брюкнер открыл видеофайл. Это была запись передачи какого-то новостного канала. Диктор говорил на непонятном языке, однако внизу экрана бежала строка субтитров. Далёкий от политики Брюкнер собирался уже закрыть окно плеера, но в последний момент что-то удержало его палец у самого экрана.

«Акции протеста против результатов президентских выборов, – читал Брюкнер субтитры, – начавшиеся в столице, вчера были подхвачены в ряде других населённых пунктов. Так, жители коммуны В., около трёх сотен человек, массово покинули свои дома и разбили палаточный городок прямо посреди крупнейшей трассы страны, полностью парализовав движение. Они заявляют о подтасовке голосов избирателей и выражают недоверие переизбранному на второй срок президенту. Вот что говорит один из участников акции».

На экране появился всклокоченный мужчина лет сорока. Нервно подёргивая воротник поношенной куртки, на фоне сгрудившихся вдоль бетонной полосы палаток, он бросал слова, состоявшие, казалось, из одних согласных.

«Мы больше не собираемся это терпеть, – после короткой паузы снова побежали титры. – Они разграбили всю страну, разрушили сельское хозяйство. Нам платят копейки за то, что мы выращиваем, а потом они экспортируют зерно и овощи на Запад, ставят цены в пять-семь раз дороже и прибыль кладут в карман. Ни один нормальный человек не станет за них голосовать, все эти выборы – наглая ложь. Мы заявляем, что не уйдём отсюда, пока результаты голосования не признают недействительными. Пускай они не угрожают уничтожить наши дома и имущество – при такой нищете нам нечего терять. Снимайте, снимайте это всё, и если трассу разблокируют, а президент останется у власти, значит, они подняли солдат и расстреляли всех нас, своих мирных граждан».

Камера качнулась в сторону, поплыла вперёд. Брюкнер видел мрачных людей, сидевших на корточках возле самодельных палаток, женщин, две из них держали на руках грудных младенцев. Внезапно ему показалось, что он узнал одного из стариков, перед ним был измождённый нищий с площади. Брюкнер вздрогнул, тряхнул головой, и видение пропало, просто сторбленный мужчина, сидя на корточках, раскисался у куска брезента. Видео закончилось, и Брюкнер торопливо провёл пальцем по экрану, убирая ленту.

Несколько минут он неподвижно лежал, а потом резко вскочил с кровати, словно стяхивая наваждение. Зачем он смотрел все эти ужасы? Почему в цивилизованном мире, где давно победила демократия, всё ещё происходили подобные вещи? Ему пришло в голову, что их правительство обязано вмешаться в ситуацию, послать туда миротворческие войска и восстановить справедливость. В конце концов, они могли отправить петицию главе государства. Брюкнер не сомневался, что документ наберёт нужное количество подписей за пару дней, а затем, без всякого сомнения, последует реакция.

С этой мыслью он отправился на кухню. Покончив с тостами и хлопьями, сидя над дымящейся чашкой кофе, Брюкнер внезапно подумал о том, что почти ничего не знал о жизни на Востоке. Когда-то, ещё будучи студентом, он посмотрел один фильм, отвратительный, хотя любопытно и не дало ему прервать просмотр до финальных титров. Главный герой жил в одной из восточных стран. Когда тоталитаризм там потерпел крах, наступил переходный период, жуткое время с криминальными перестрелками прямо на улицах и почти открытой торговлей наркотиками. Когда всё более-менее успокоилось, и страна встала на путь технологического прогресса, возникла новая проблема, связанная с информационной безопасностью. Работа героя фильма заключалась в том, что он должен был фиксировать адреса найденных им сайтов, порнографических, связанных с торговлей наркотиками и насилием, и сообщать о них своему руководству. Целый день сидя за компьютером, окружённый со всех сторон перегородками, ограждённый от других сотрудников, словно в клетке, под влиянием просмотренного он стал сходить с ума. Обнаружив сайт, перечислив на указанный счёт определённую сумму, сидя перед экраном, можно было руководить происходящим в реальном времени убийством, он превратился в одержимого. Сайт постоянно менял свой адрес, находить его становилось всё труднее и труднее. Теряя остатки вменяемости, мужчина избил свою девушку, со скандалом был уволен с работы, за неуплату в его квартире отключили электричество. Он продал все более-менее ценные вещи и ночевал на улице, всё оставшееся время проводя в кибер-кафе. Одним днём некто неожиданно прислал ему адрес места, где он мог найти то, что так искал. Мужчина

явился в указанный дом и оказался запертым в комнате, которую уже видел, руководя убийством на расстоянии. Навстречу ему вышел двое, в масках и с холодным оружием в руках, и тогда он закричал...

Фильм, малобюджетный, предельно реалистичный, вызвал тогда у Брюкнера тошноту. Он досмотрел его до конца, не мог не досмотреть, хотя и промотал две-три самых кровавых сцены. Увиденное несколько дней не выходило у него из головы, и сейчас снова вспомнилось в связи с видео, трепетавшими на ветру палатками. Быть может, люди из той части Континента всё же отличались от них, что бы ни говорили учёные, были более склонны к насилию и разрушению, а потому так до сих пор и не сумели построить справедливое общество. Может, природа не заложила в них стремление создавать крепкие связи с другими, и они не могли понять значение солидарности и единения. Компьютерщик из фильма закончил свою жизнь закономерно, большую часть её проведя в клетке из перегородок. Брюкнер вдруг подумал о том, что в своём офисе он находился в схожих условиях, разве что его личное пространство было значительно шире. Впрочем, сравнение выглядело неуместным. Коды, которые создавал Брюкнер, равно как и его коллеги, являлись продуктом индивидуального творчества и защищались авторским правом. Никто даже по случайности не имел право видеть их до тех пор, пока все готовые части программы не сливались в единое целое. Уже готовясь выходить из квартиры, Брюкнер вдруг вспомнил одного из своих университетских преподавателей, культуролога, по имени, если он не ошибался, Штайнманн. Тот, напротив, утверждал, что жителям Востока было в большей степени, чем им, свойственно стремление к духовному познанию мира. Последнее влекло за собой неразрешимые вопросы, приводя к кризису, порой заканчивавшемуся даже самоубийством. В одном из романов, которые они разбирали на лекциях, персонаж испытывал непреодолимую тошноту всякий раз, когда окружающие, реагируя на его искания, пытались объяснить ему необходимость жить обыденной жизнью. Лишь психиатрическая больница спасла героя от смерти из-за постоянных приступов тошноты. Тогда Брюкнер слушал без особого интереса, конспектируя только основные моменты ради оценки. Ему неожиданно пришло в голову, что вряд ли когда-либо в его жизни было подобное утро, наполненное таким количеством воспоминаний и непривычных размышлений. Брюкнер пожал плечами и покинул своё жилище.

Работа ног на педалях, знакомый ритм движения захватили Брюкнера, и к офису он подъехал полным сил и желанием действовать. Велосипед он прикрепил тросом к одному из столбиков, предназначенных для сотрудников компании, вошёл внутрь и сразу же отправился в душевую. В их офисе было всё для того, чтобы работавшие там чувствовали себя максимально комфортно – кафе, комната отдыха с настольными играми и даже небольшой спортзал с тренажёрами и столом для пинг-понга. Поднявшись на второй этаж, Брюкнер столкнулся с Рихардом З., который работал в соседней с ним секции. З., стоя у дверей комнаты для курения, одной рукой ожесточённо тёр глаза, другой пытаясь выудить из кармана пачку сигарет.

– Хотел бы я, – Рихард вяло пожал протянутую руку, – быть таким же активным с утра. Наверное, спишь всю ночь?

– Ну да, потому что ложусь вовремя, – улыбнулся Брюкнер. – Опять тренировался?

– Не так много, как хотелось бы, до двух где-то, – З. широко зевнул. – Думал, лишний час, высплюсь нормально, а еле голову от подушки оторвал. Ладно, пойду взбодрюсь, – Рихард потряс пачкой и исчез за дверью.

– Ничего, станешь получать призовые, тогда и отдохнёшь, – всё ещё улыбаясь, прокомментировал Брюкнер в пустоту. З. был фанатом компьютерных игр, мечтавшим сделать карьеру киберспортсмена. Играл он по шесть-восемь часов в сутки, по сути, тратя на это всё свободное от работы время. В двадцать пять он по-прежнему жил с родителями, носил несуразные очки с толстыми стёклами и ужасно сутулился. Брюкнер сомневался, что в возрасте Рихарда можно было составить конкуренцию молодяку. Те, казалось, рождались с мышью в руке, но, в конце концов, каждый имел право на собственный взгляд на жизнь.

Стол Брюкнера находился в большом зале, разделённом на четыре отсека. Согласно политике компании, работавшие над проектом были защищены от любых воздействий извне, в то же время находясь в одном помещении. Последнее стимулировало корпоративный дух и сознание личной ответственности. Брюкнер положил рюкзак на маленькую тумбочку, вытащил из него телефон, дождался загрузки компьютера и погрузился в процесс. Компания готовилась к презентации революционного устройства для сторонников здорового образа жизни. Прибор в виде браслета не просто анализировал количество сделанных шагов, частоту пульса и артериального давления, в случае надобности сигнализируя об опасности. Революционность заключалась в том, что электронный мозг, базируясь на постоянно получаемых биохимических данных, ежедневно рассчитывал, какую пищу и в какое время человеку следовало принимать, чтобы вернуть себе прежнюю форму, улучшить спортивные результаты, избежать проблем со здоровьем. Мобильное приложение-спутник позволяло владельцу заказывать необходимые продукты с доставкой, не совершая никаких действий. В определённое время курьеры привозили еду и напитки в ту или иную точку города, деньги автоматически списывались с банковского счёта. Несмотря на протесты медиков, диетологов и профессиональных спортсменов, программа, пройдя долгий период тестов, получила одобрение правительства. Основная часть работы уже была завершена, и сейчас команда Брюкнера занималась выявлением возможных ошибок.



Телефон на тумбочке содрогнулся лупом из свежего танцевального хита. Оторвавшись от монитора, Брюкнер бросил взгляд на экран. «Площадь 630?» – писала Марта. «Да», – отщёлкал он, взглянул на индикатор времени и нехотя выдрал себя из объятий кресла. Следовало пообедать, восполнить силы, чтобы успеть закончить работу к шести. В половине седьмого они с Мартой должны были встретиться на Площади с Паулем Н. Пауль занимался идеологической стороной карнавала, события, ежегодно привлекавшего в город десятки тысяч туристов. В этот раз темой стали экологические проблемы и защита животных. Брюкнер и Марта собирались появиться в образе запертых в клетку гориллы и сторожа зоопарка. После долгих объятий и поцелуев горилла выходила наружу, сторож же оставался взаперти, сквозь прутья глядя вслед уходящей возлюбленной. Мысль о том, что все живые существа в мире чувствуют одинаково, трудно было выразить лучше. Костюмами и клеткой занимался Флаке И., приятель Марты, работавший в киноиндустрии. Сидя за столиком в кафе на первом этаже, пережёвывая салат, Брюкнер, сам не зная почему, снова вернулся мыслями к нищему на Площади, клетке с обезьянкой, словно бы пародии на их предстоящий перформанс. Воспоминания не покидали его до тех пор, пока он не уселся в кресло в своём отсеке, а через минуту щелчки кнопок снова задали сознанию необходимое направление работы.

Покинув офис, Брюкнер заехал домой, оставил там велосипед и отправился на Площадь. Идя по её пантам, оглябая туристов, панков, фриков и обычных граждан, он вспоминал, как год назад впервые встретил здесь Марту. Высокая, почти болезненно худая, в коротком чёрном платье и такого же цвета гетрах по колено, она сжимала в руке связку воздушных шариков. «Старая корова», – краснела по оранжевому надписи на одном из них, – «Ещё на год ближе к могиле», «Потряси жиром в свой праздник», – там было много заслуживающих внимания фраз. Не раздумывая, Брюкнер изменил направление движения.

– Креативно, сама придумала, или друзья порадовали?

– Идея моя, исполнение их, – растягивая гласные, ответила Марта, окинув собеседника взглядом.

– Неплохо. Так что, тебя можно поздравить?

– Ну, если тебе сильно хочется... Слушай, я тороплюсь, сегодня собираемся в «Девятке», знаешь такую? – Брюкнер утвердительно кивнул. – Будет нечего делать, подходи, мероприятие открытое.

Как Брюкнер узнал позже, это была обычная манера общения Марты со всеми, включая незнакомых людей. Однажды она объяснила ему, что в их бизнесе форс-мажоры случались так часто, что, в целях экономии времени, сотрудники компании предпочитали говорить исключительно по делу, отсекая в речи всё, напрямую не относящееся к сути вопроса, постепенно перенося это и на разговоры вне работы. На тот вечер у Брюкнера действительно не было планов, с предыдущей подружкой он расстался за месяц до того, поэтому ничто не мешало ему явиться в «Девятый круг», клуб, где предпочитала собираться креативно мыслящая молодёжь. Он стал свидетелем фаер-шоу, коллективного раскрашивания пластикового макета коровы, хаотичных хороводов вокруг составленного из пустых бутылок дерева, в итоге со звоном рухнувшего, и всё же смог пробраться к Марте, обменявшись с ней парой десятков фраз. Так началось их знакомство, быстро переросшее в отношения. У них был качественный секс, велосипедные прогулки и схожие взгляды на жизнь. Они оба много работали, Брюкнер в офисе, Марта в рекламном агентстве, и свои встречи воспринимали, как возможность сменить декорации. Временами Брюкнеру казалось, что девушка могла хотеть чего-то большего, но он, цenia свою жизнь, никогда не затрагивал эту тему.

У памятника в самом центре площади, там, где они договорились встретиться, Брюкнер увидел двух молодых людей. Перед ними стояла колонка, оба держали в руках гитары, один пел в устроившийся на стойке микрофон. Слова не всегда можно было разобрать, они были странными, что-то об упадке континента, прогнивших ценностях, необходимости разрушить всё и начать заново. Брюкнер уважал право каждого на самовыражение, но откровенно не понимал такое творчество. Что не устраивало этих парней в обществе, неужели они действительно хотели, чтобы вокруг началось то, что творилось сейчас на Востоке? Голос Марты отвлек его от вопросов. Она махала ему рукой, облокотившись о пьедестал, в белом топе и красно-чёрной юбке в клетку, старшеклассница, сбежавшая с уроков. Брюкнер почувствовал резкий укол либидо. Они припали друг к другу в тени гранитного рыцаря, легендарного основателя города, столетиями угрожавшего мечом невидимым врагам.

– Пойдём быстрее, пока там есть ещё с кем говорить, – смеясь, Марта, наконец, оторвалась от него и потащила за руку в сторону платформы.

– Что, всё так плохо? – Пауль Н., нынешний арт-директор мероприятия, был известен всем своей любовью к курению трав, не запрещённых законом, но в таких количествах, что периодически он перекладался на общение с высшими сферами, забывая о земных делах.

– Пока ещё нет, но тут никогда не определишь, когда начнётся.

Они подошли к платформе, облепленной орудовавшими своими инструментами рабочими. В день карнавала на ней будут стоять мэры и городские депутаты, приветствовать участников празднества и определять наиболее удачные образы. От платформы отделилась приземистая фигура Пауля. Он двигался как-то неровно, то растягивая шаг, то прыгая. Приблизившись к Брюкнеру и Марте, Н. глубоко поклонился, заставив свои руки взлететь за спиной до уровня головы, и, выпрямившись, залился счастливым смехом.



– Все рассуждают о смысле жизни, а я вот уже нашёл его, – потряхивая плохо промытыми прядями волос, Н. довольно подпрыгивал на месте. – Смысл в том, – тут он понизил голос до заговорщицкого шёпота, – чтобы идти строго по плитам, не наступая на стыки. Да будет вам известно, друзья, что площадь Единения, на которой мы с вами сейчас находимся, вымощена каменными плитами правильной квадратной формы. Сколько-то там тысяч, точно не помню. Естественно, они как-то должны стыковаться между собой. Так вот, на месте этих стыков находятся слабые места, из них в наш мир может просочиться космический хаос. Наступая на них, вы поглощаете его частичку, потом ещё одну, ещё, а потом инфаркт во цвете лет или ещё какая-нибудь биполярщина, – снова счастливый смех. – Короче говоря, ходим исключительно по плиточкам и приближаем эру абсолютного счастья.

– Пауль, это гениально, теперь только так ходить и буду, – одухотворённо произнёс Брюкнер. – Но вот, если позволишь, пока эра ещё не наступила, пару прагматических моментов по поводу нашего появления на карнавале.

Марта поднесла ладонь к лицу, пряча улыбку. Опыт общения с изменившим сознание арт-директором убеждал, что разговаривать в подобных состояниях с ним следовало исключительно серьёзно.

– Да-да, – Н. подобрался, застыв прямо посреди каменной плиты. – Какие-то проблемы?

– Проблем нет, костюмы готовы, клетка тоже, осталось определиться...

– Ааа, эта ваша межвидовая любовь, – Н. снова расцвёл широченной улыбкой, – классная идея! Но у нас тут с конкуренцией всё плотно обстоит, чтобы вы знали. Вот, например, человек-озоновая дыра или три панды курят бамбук. Ну, вы понимаете, – арт-директор пошатнулся, готовясь снова зайтись хохотом.

– Пауль, аккуратно, а то на стык наступишь. Про конкуренцию мы знаем, нас интересует очерёдность. Можно сделать так, чтобы мы появлялись ближе к концу, не завершать, конечно, но в последней десятке?

– Не бойтесь, что народ к тому моменту пресытится и перестанет всё воспринимать? – профессионал внезапно проявился в Н., заставив его посуроветь лицом.

– У нас идея такая. Горилла уходит на свободу, но всё равно тоскует, поэтому начинает бегать по толпе, искать любимого. А потом, когда всё закончится, все выстроятся возле платформы, она найдёт клетку, собьёт замок, хэпши-энд, короче.

Они ещё некоторое время обсуждали карнавал, эру счастья и стыки между плитами, проследили, чтобы Н. внёс их перформанс в нужное место в списке и, наконец, удалились, оставив арт-директора в одиночку противостоять хаосу.

– Может, пойдём ко мне, поужинаем? – Марта прижалась к его плечу. – Говорил ты, а у меня ощущение, что я третий день подряд на силовых тренировках отрабатываю.

Брюкнер подумал, что секс был бы неплохой компенсацией за потраченные усилия, молча кивнул, она прикрыла глаза, потянулась губами, и в этот момент он увидел его.

Старик сидел всё в той же позе, что и предыдущим вечером, чаша темнела сколотым краем, обезьянка застыла у прутьев. Брюкнер остановился. Марта непонимающе посмотрела на него, перевела взгляд и резко шагнула вперёд.

– Разве вы не понимаете, что делаете с ней?! – голос её дрожал от возмущения. – В этот самое место, где люди будут выступать в защиту прав животных! Неужели кто-то ещё даёт вам деньги за то, что вы засунули живое существо в клетку?

Несколько мгновений ничего не происходило, затем, как в кошмарном дежавю, старик поднял голову. Пергаментные губы разлепились, и Брюкнер впервые услышал его голос, заезженные дребезжащие слова очень давно живущего человека.

– Вы тоже там, просто не понимаете.

– Что... – Марта дёрнулась, но Брюкнер крепко ухватил её за плечо, заставив замолчать.

– Чего мы не понимаем? – услышал он себя откуда-то со стороны.

– Того, что все мы клетке. Когда сидим дома, ходим на работу, затеем праздники. Мы говорим, что тело – тюрьма, в которой заперта душа, но никто не хочет приближать день, когда она рухнет. Никто не хочет даже видеть свою душу, потому что, глядя на неё, можно сойти с ума. А может, её вообще нет. Когда ты начинаешь об этом думать, всё рушится, и ты куда-то бежишь, спасать себя, других, искать богов, курить травы. Бежишь, не зная, что так и не вышел из клетки. Так какая разница, где ей сидеть?

Марта что-то говорила. Брюкнер слышал её слова, как сквозь вату, полоски тумана, просачивающиеся под дверью кельи отшельника. Он смутно осознавал, что его тащили за руку, куда-то тянули столп тела. Сознание вернулось к нему внезапно. В потоке вечернего воздуха, он стоял на Площади, а Марта трясла его за воротник футболки.

– Что происходит, ты слышишь меня? Ты можешь хоть что-то сказать?

– Прости, – Брюкнер не без труда шевелил языком. – Вырубился на ходу, устал сегодня сильно.

– Я так испугалась. И этот урод с клеткой, обязательно нужно сообщить о нём в полицию.

– Да, да, слушай, я пойду домой, встретимся у тебя завтра, если хочешь, нужно выспаться, и всё пройдёт.

– Я провожу тебя.



– Не нужно, честно, всё в порядке, подышу воздухом, и полегчает.

Марта сделала ещё несколько попыток довести Брюкнера до квартиры, потом они скомкано попросились. Вернувшись домой, он кое-как принял душ и, не ужиная, отправился в кровать. Сон не шёл. Мозг, отказываясь анализировать произошедшее, требовал информации. Брюкнер поставил на столик ноутбук, зашёл в сеть и запустил «Медузалем-Мизантрополис», разрекламированный блокбастер, который ещё не успел посмотреть.

Пророки, футурологи и любители антиутопий оказались в итоге правы. Ядерная война втрое уменьшила население планеты и полностью перекроила геополитическую карту. Мизантрополис представляет собой технократическое государство-город. С довоенных времён в нём сохранились некоторые продвинутые технологии, но пользоваться ими имеют право только члены правительства и службы, ответственные за поддержание порядка. Общественная, духовная и личная жизнь людей находится под жесточайшим контролем. Стерилизация стала нормой, запасы ресурсов истощаются, нет никакой связи с другими подобными поселениями, если те, конечно, существуют. За пределами города начинаются радиоактивные пустоши, населённые мутантами. Слухи об уцелевших довоенных книгах большинством воспринимаются как миф, тем не менее, за их хранение полагается смерть. Ещё одной местной легендой является таинственный Медузалем, город, лежащий где-то за пустошами. Там чистые вода и воздух, на солнце выходят без защитных костюмов, никто не запрещает женщинам рожать. Кое-кто утверждает, что иногда туда с секретной станции в Мизантрополисе отправляется поезд, но чтобы попасть на него, нужно сделать что-то очень важное для города и правительства. Главный герой, Алекс Кросс, не слишком верит в эти рассказы. Девятнадцатилетний, он, не разгибаясь, работает на конвейере, думая лишь об отдыхе и еде. Однажды лежащая при смерти бабушка Алекса передаёт внуку несколько тайно хранимых книг, попросив нести память о былых временах. Любопытство заставляет Кросса открыть один из томов. Он узнаёт, что Медузалем существует на самом деле, разве что в книге он называется Иерусалим. Одержимый идеей попасть в райскую обитель, однажды Кросс случайно узнаёт, что несколько работающих вместе с ним на конвейере мужчин готовят заговор с целью свержения существующего порядка. После нескольких бессонных ночей парень всё же сдаёт всех заговорщиков. В качестве награды его ждёт поездка в Медузалем. Кросса сажают на бронированный поезд без окон, где, в полутьме, он знакомится с несколькими, такими же, как и он, счастливцами. Каждый из них делится своей историей предательства, а порой и убийства, благодаря которой вырвался из Мизантрополиса. В тот момент, когда поезд приближался к конечной станции, Брюкнер заснул, так и не выключив ноутбук.

Ему снилось, что в крошечной космической ночи он стоял на плитах Площади. Бесконечно далёкие звёзды пятнали черноту, не давая света, и откуда-то из глубин Брюкнера поднималось осознание того, что площадь на самом деле была клеткой, вечной, неизбывной, существовавшей от начала времён просто потому, что она существовала. Он попытался закричать, но лишь свист вырвался из его горевших огнём хаоса лёгких. Тьма давила, сгущаясь, грозя раздавить своими стенами человеческую песчинку, и Брюкнер взмахнул руками, в тщетной попытке сдержать надвигающийся ужас. Раздался грохот. Брюкнера вздёрило на кровати, насквозь промокшего, с взъерошенными волосами, искажённым лицом. Он медленно приходил в себя. В заполнявшем комнату утреннем свете он увидел лежащий на полу ноутбук, вспомнил всё и бессильно опустил на подушку.

Часы показывали 5.40. О том, чтобы снова заснуть, не могло быть и речи, как невозможно было и лежать, пытаясь осознать абсурд, неизвестно откуда просочившийся в его жизнь. Привычные физические упражнения, отжимания, приседания давались с трудом. Брюкнер принял душ, без аппетита проглотил два тоста с йогуртом, сварил кофе. Устроившись с дымящейся чашкой за столом в комнате, он, не до конца понимая, что делал, набрал в поисковике несколько слов. На экране появилась фотография площади Единения, сделанная с воздуха, и Брюкнер оцепенел. Перед ним была огромная клетка, ровные ряды квадратных серых плит, перечёркнутые прутьями стьков. «Я не схожу с ума, – сказал он вслух, – просто было много работы, конец проекта, нервы. Нужно попросить отпуск, взять Марту, поехать куда-нибудь подальше от города, где песок и море. Лежать на солнце и ни о чём не думать. Надо только разобраться с проектом, и мы сразу уедем». Звук собственного голоса слегка успокоил Брюкнера. Некоторое время он бездумно перемещался по ссылкам, убивая оставшееся до выхода из дома время, а потом, когда видео словно бы само прыгнуло на экран, щёлкнул кнопкой мыши, с чёрным предчувствием того, на что себя обрекал.

«События на Востоке, последовавшие вслед за президентскими выборами, – говорила диктор со строгим лицом, – представляют угрожающий оборот. Вчера вечером переизбранный на второй срок глава страны заявил, что за протестом жителей коммуны В., перекрывших трассу государственного значения, скрывается тщательно спланированная провокация. По словам президента, – на экране появился мужчина в военной форме, с узким безжизненным лицом, где-то на открытом пространстве, в окружении репортёров с микрофонами, – акция организована местной оппозицией при поддержке враждебных группировок Запада. «Люди, которых вы видите, на самом деле не являются жителями нашей страны, это провокаторы, заброшенных извне, целью которых является дестабилизация политической ситуации в

государстве и последующий приход к власти прозападного кандидата. Я заявляю, что если до завтрашнего дня блокада трассы не будет снята, правительство применит силовые методы», – заявил глава государства». Диктор исчез, и Брюкнер увидел уже знакомую полосу шоссе, трепещущие на ветру палатки, что-то скандирующих мужчин и женщин в окружении людей в камуфляже. Брюкнер чертыхнулся и захлопнул крышку ноутбука. Он потянулся к чашке и тут же отставил её. Кофе остыл, и холодная поверхность при прикосновении вызвала гадливость.

Весь день Брюкнер работал с отвращением, не в силах сосредоточиться на бегущих перед глазами строчках, пропуская очевидные опшибки. Он оставил без ответа несколько сообщений от Марты, написав, в конце концов: «Позвоню вечером». Хотелось закрыться в квартире, забраться в угол кровати и там, свернувшись, прижав к животу подушку, спать. Спать так долго, как только можно, погрузиться в черноту, но без этих жутких пародий на звёзды, а проснувшись, обнаружить, что мир вокруг снова обрёл знакомую форму, и всё было только вызванным переутомлением сбоем системы. Брюкнер не пошёл в кафе, мысль о том, чтобы разговаривать с людьми, пусть даже перебросятся двумя словами, вызвала тошноту. Ему всё же не удалось избежать общения. В туалете, где он, стоя у зеркала, швырял в лицо горсти холодной воды, к нему подошёл Рихард З.

– Хреново выглядишь, не знал бы тебя, решил бы, что перебрал вчера.

– Спал плохо, – промямлил Брюкнер сквозь горсти ладоней, – голова трещит.

– Это у тебя выгорание, сильно долго на одном и том же зависаешь, у меня тоже такое бывает, – З. постучал Брюкнера по плечу пачкой сигарет. – Могу дать совет. Нужно просто на что-нибудь принудительно переключиться. Ненадолго, на день, может, два, мозги ещё не такие замусоренные, быстро восстанавливаются. Играть не рекомендую, не пойдёт тебе. А вот выпить можешь. Хочешь с кем-то, хочешь – один, поплевать тоже можно, даже нужно, наверное. Лучше, конечно, перед выходными. Просыпайся утром, смотришь на своё состояние. Если не отпустило, и организм не сильно против – можно добавить, ну, у каждого своя физиология. Короче, потом будешь дня полтора отлёживаться, в понедельник на работе ещё может изжога помучить, но мозги гарантировано прочистит, обновиться. Что ты думаешь, я тоже, бывает, устаю играть. Вот тогда и накидываюсь, причём, не отрываясь от компа, и сразу всё веселее становится.

Брюкнер с трудом дождался конца тирады, промычал нечто, похожее на благодарность, и чуть ли не бегом вернулся на своё место. До дома он добрался за рекордно короткое время. Около часа он кругами ходил по комнате, пока не заставил себя позвонить Марте. Она взяла трубку на середине второго гудка.

– Слушай, – сразу же начал он, стремясь побыстрее свернуть разговор, – извини, что так поздно звоню, я, похоже, отравился. Аппетита никакого, тошнит, врач в офисе сказал, надо отдыхать, желудок не нагружать...

– Я весь день переживала, – Марта говорила быстро, растянутые гласные звуки куда-то исчезли, – вчера вечером – это было что-то дикое. Но где ты мог отравиться? В кафе? Это же нереально. Может, в магазине...

– Я не знаю, – он еле вымучивал из себя слова, – потом разберусь, сейчас нужно спать больше, на работу завтра не пойти не могу, подведу всех. Извини ещё раз, говорить тяжело, приду в себя – наберу, – он отнял телефон от уха, не слушая звучащее в трубке, и через несколько секунд оборвал связь. Брюкнер лёг на кровать, в ту самую позу, которую представлял днём, истерзал подушку, встал, немного подумал и, напрягшись, словно пловец перед прыжком в воду, нажал кнопку вызова.

С Кристофом К. Брюкнера познакомила Марта, два или три раза они вместе ходили в боулинг. По словам Марты, Кристоф был психологом высокого уровня, имел солидную клиентуру и кабинет в центре города. «Я не сумасшедший, – повторял Брюкнер, слушая гудки, – мне просто нужен кто-то, кто всё объяснит. Я не...».

– Слушаю, – раздался голос в трубке, и Брюкнер от неожиданности едва не выпустил из рук телефон.

– Кристоф, привет, это Брюкнер, друг Марты.

– Ааа, Брюкнер, приветствую. Как дела, наверное, решили опять шарами помериться, а нет достойных соперников?

– Не совсем, нет, надо как-нибудь выбраться, но попозже. Я к тебе за профессиональной помощью.

– Слушаю тебя, – мгновенно поменял тон Кристоф.

– Только прошу тебя, не говори Марте, что я звонил. Со мной ничего серьёзного, скорее всего, устал просто на работе, заканчиваем проект, сам понимаешь. Короче говоря...

С чувством иррациональности происходящего, Брюкнер рассказал всё, что с ним случилось, начиная с первой встречи со стариком. Когда он закончил, в трубке ненадолго повисла тишина.

– Дружище, – в голосе К. не было ни капли официальности, и Брюкнер чуть-чуть расслабился. – Я вообще не консультирую по телефону, это полная чушь. Если хочешь, можешь на днях заглянуть ко мне в кабинет, пообщаемся, расскажешь подробнее. Само собой, о деньгах речи нет. Но скажу тебе сразу, с головой у тебя всё в порядке, по крайней мере, никаких подтверждений обратного я не вижу. Галлюцинаций у тебя нет, ты видишь всё то, что видят и остальные, вопрос в интерпретации. Мне кажется, твоя проблема глубже. Сейчас это принято называть кризисом веры. Люди не то чтобы забыли



о боге, они скорее отодвинули его подальше, посчитали, что достаточно ходить по воскресеньям к службе и отмечать праздники, и благодать Творца пребудет с ними. И дьявол пользуется этим, просачивается в любую лазейку и начинает искушать нас. Брюкнер, поверь мне, ты здоров, может быть, здоровее большинства, раз смог распознать угрозу. Ещё раз повторю, двери в мой кабинет всегда открыты для тебя, но лучше будет, если ты пойдёшь в церковь. Не подумай, что я тебя агитирую вступить в какую-то секту, но всё же, согласишься, я, уважаемый человек, психолог, много лет назад примкнул к нашей парафии, и разве это как-то повлияло на мою репутацию, разве я похож на фанатика? Брюкнер, я живу в гармонии с собой и с миром и искренне желаю тебе того же. Если хочешь...

Брюкнер слушал, машинально кивал головой, соглашался, о чём-то договаривался, но мысли его были далеко. Когда разговор, наконец, завершился, он бросил телефон на кровать и вновь закружил по комнате. Его нельзя было назвать излишне религиозным, пожалуй, как и большинство, упомянутое К., он довольствовался соблюдением известных всем ритуалов, никогда не задумываясь об их значении, не пытаясь вникать в суть веры. Сейчас, балансируя на грани между понятным и зияющей бездной, Брюкнер не думал о том, был ли Кристоф сектантом или же он искренне пытался помочь ближнему. Что-то изменилось в нём за последние два дня, безвозвратно ушло, уступив место... Чему? Он не знал, хотя был уверен, что ни один священник не смог бы сейчас ему помочь. «Это просто ещё одна клетка», – прошептал он, уstraиваясь у ноутбука.

Поезд приближается к пункту назначения. Скорость движения снижается, и если бы не отсутствие окон, пассажиры увидели бы величественный и пугающий город. Здесь всё серое, и небо, и огромные каменные здания. В центре возвышается невероятных размеров строение в виде жуткого монстра со змеями вместо волос. Поезд останавливается, и внутрь входят люди в странной чёрной форме с закрытыми масками лицами. Они выталкивают дубинками ничего не понимающих пассажиров из вагона и загоняют их в грузовые машины. После долгой дороги несчастных выпускают наружу и под конвоем ведут куда-то по необъятному двору. В конце его то самое циклопическое строение в виде монстра, по всей видимости, какой-то храм. Пленников заводят в подвал и помещают в одиночные камеры. Несколько дней Кросс проводит в полной темноте, питаясь похлёбкой, которую два раза в день ему передают через отверстие в двери. Когда Алекс уже находится на грани помешательства, за ним неожиданно приходят всё те же неизвестные в масках и ведут за собой. Он оказывается в помещении больше напоминающем каземат или пыточную камеру. Перед ним за столом сидит человек с непримечательной внешностью. Он спрашивает Кросса, как тому удалось получить пропуск на поезд. Услышав ответ, человек открывает Алексу правду. Уже много лет городом правит отвратительное отродье, что-то вроде Медузы Горгоны, обладающее неограниченной властью. Существует культ Медузы, неотъемлемой частью которого являются человеческие жертвоприношения. Выясняется, что жрецы культа имеют связь по радио с несколькими городами, подобно Мизантрополису страдающими от перенаселения. Из них регулярно отправляют в Медузалем человеческие излишки, от которых избавляются под различными предлогами, взамен же получают технику и продовольствие. Некоторых из прибывших таким образом в город оставляют в живых, если они являются ценными специалистами, остальные идут на корм правительнице. В последней сцене двое в масках тащат Кросса по тёмному коридору, в конце которого открывается дверь. Снаружи доносится шипение.

Брюкнер не глядя выключил ноутбук и пластом уткнулся на кровать. Вопреки всему, сон взял его быстро и не отпускал всю ночь. Медузы, гориллы, люди в хаки и пылающие церкви смешались в нём, и не было никого, кто мог бы помочь попавшему в эту клетку.

Утро наступило внезапно и мгновенно навалилось на него всей тяжестью. Брюкнеру понадобился час, чтобы убедиться в своей неспособности заниматься физическими упражнениями, принимать пищу или более тридцати секунд сосредоточиться на сетевых новостях. Он обречённо набрал номер начальника отдела и сообщил, что отравился и не мог появиться на работе. «Приходи в себя, – отреагировал голос в трубке, – и ты понимаешь, как можно быстрее. Мы на финальной стадии, не мне тебе объяснять». Брюкнер заверил, что на следующий день уже будет в строю, сам не веря в то, что говорил. Будущее сузилось для него до размеров нескольких плит на Площади. Он втиснул себя в футболку и джинсы, натянул кроссовки и быстрым шагом вышел из дома, даже не взглянув в сторону велосипеда. Воздух, по-прежнему налитый метеорологической сладостью, был неподвижен, сквозь него навстречу Брюкнеру шли на работу ничего не знавшие о клетках люди, фрики, панки, уличные музыканты, обычные граждане, возможно, даже те, кто сидел в соседней с ним секции. Они могли увидеть его, куда-то спешащего, не разбивавшего дороги, без сомнения, отравленного, но совсем иным ядом. Ему было плевать. Всё, чего боялся Брюкнер, это не обнаружить старика на его месте, метаться по Площади, расспрашивать прохожих, обращать на себя внимание полицейских, задавать им тем же вопросы под идиотскими предлогами и не получать ответ. Но нищий был там, со своей щербатой чашей, и обезьянка на дне клетки слабо подрагивала телом во сне.

– Что значит, что мы все в клетке, – скороговоркой, глотая звуки, понёсся Брюкнер, – что вы имели в виду?

Старик молча посмотрел на него. Брюкнер взглянул в глаза давно живущего на свете человека и медленно опустил на прохладную поверхность плиты.



– Ты никогда не пробовал повторять одно и то же слово, не останавливаясь? Знаешь, что случается тогда?

Какое-то смутное воспоминание из детства появилось на краю сознания Брюкнера. Он попытался схватить его, но оно выскользнуло, и Брюкнер покачал головой.

– Ты повторяешь его двадцать, тридцать, сорок раз, и оно теряет смысл. Остаются звуки, не имеющие никакого значения, ненужная одежда. Единственное слово, которое не подчиняется этому правилу, это...

– Клетка, – прошептал Брюкнер. – Но что это значит?

– Никто не знает. Некоторые могут о чём-то догадываться, после многих лет размышлений, или когда случаются озарения, но все они видят только частичку истины, одну из граней. Те, кто говорят, что владеют истиной, не видят ничего.

«Кристоф К.», – подумал Брюкнер.

– Клетка – это дьявол? Это означает, что бога нет или он слабее?

– Мир, каким ты его видишь, имеет формы, и ты пытаешься втиснуть в них всё, чего не можешь понять, облечь неопишное в знакомые слова. Клетка – это клетка, об остальном не знает никто.

– Вы говорили про тело и душу, я помню. Может, клетка это на самом деле тело, мы умираем, душа освобождается, и начинается настоящая жизнь...

– Клетка везде. Она – тело. Когда в нём накапливается жидкость, совсем немного, ты ищешь женщину или место, где можно помочиться, и забываешь о душе. Но она и в ней тоже. Ты находишь женщину, кланёшься ей в любви, а через время, глядя на неё, представляешь другую, – дрожь узнавания пробежала по спине Брюкнера. – Она в уме. Сегодня вещь кажется тебе важной, но проходят дни, и ты не можешь вспомнить её очертания.

Взгляд Брюкнера остекленел. Он проучился в университете пять лет, и из всех, преподававших ему, с трудом мог вспомнить лишь имя профессора, рассказывавшего о тошноте.

– Кто вы? – умоляюще простонал Брюкнер.

Старик молчал. Голова его опустилась, тело начало знакомо покачиваться. Брюкнер поднялся и побрёл прочь. Мир снаружи и мир внутри заволок туман, временами от него отрывались полоски, просачивавшиеся под дверь кельи отшельника. Когда пелена редела, Брюкнер ненадолго обретал способность воспринимать окружающее. Он видел себя заходящим в магазин, выходящим наружу с картонным пакетом в руках, припадающим к этому пакету. Омерзительная жидкость обжигала горло, он краснел, хватал ртом воздух и отшвыривал пакет прочь. «Но ведь есть же умные, всем известные люди, – пробивалось вдруг сквозь туман, – они говорят нам, что всё правильно, над нами бог, и жизнь хороша. Они ошибаются, лгут, или я всё же сошёл с ума?» – мысль, вопрос, столь чужеродный ещё совсем недавно, повисал и растворялся в млечном мареве. Всё померкло, а потом Брюкнер снова вынырнул из ниоткуда, с телефоном, прижатым к уху.

– Я звоню тебе с утра, – кричала Марта, – каждые пятнадцать минут, что происходит, я волнуюсь, ты на работе?

– Я отравился, – Брюкнер машинально выудил из сознания утреннюю ложь, – лежу дома, всё в порядке, завтра возвращаюсь на работу.

– Нет, не в порядке, мне звонил К., ты разговаривал с ним вчера. Он сказал, у тебя какие-то проблемы. Брюкнер, что с тобой? Это всё из-за того старика?

– Я не понимаю, о чём ты, я же сказал, что просто отравился, – вспышка озарения настигла Брюкнера даже сквозь туман, и он отпрянул, закрыв глаза рукой.

– Это тот нищий, я чувствую, он что-то сделал с тобой. Брюкнер, что он сделал, скажи мне!

– Я не знаю, никто не знает, просто дай мне со всем разобраться, Я ТЕБЕ ПЕРЕЗВОНЮ! – Брюкнер швырнул телефон на асфальт и тронулся с места. Дома, с чёрной дырой в памяти, он, не раздеваясь, рухнул на кровать. Всю ночь Брюкнер раз за разом повторял слово «клетка», так и не потерявшее своё значение до самого рассвета.

Пришло утро, и он снова был на Площади, и все его страхи материализовались в этот день. Старик исчез. Брюкнер метался туда-сюда, расспрашивал прохожих, обращал на себя внимание полицейских, задавал им вопросы под idiotскими предложениями и не получал ответ. Он вернулся домой в сумерках, разбитый, со слезами на глазах, долго сидел в темноте и тишине, а потом включил ноутбук. Сетевая клоака пестрела сообщениями с Востока.

«Сегодня утром истёк срок ультиматума, выдвинутого президентом жителям коммуны В., перекрывающим трассу государственного значения. Как сообщают местные СМИ, протестующие, в ответ на требование снять блокаду, оказали вооружённое сопротивление. Правительственные войска вынуждены были применить силу. В результате столкновения трасса была разблокирована, сообщают о жертвах с обеих сторон. Подробности...».

Брюкнер закрыл глаза. Он представил людей в хаки, трепетавшие на ветру палатки, заострившиеся отчаянием лица сгрудившихся у них, слышал треск выстрелов и крики. Мужчина с всклокоченными



волосами распластался на бетонной полосе в луже крови, поношенная куртка распахнулась, открывая развороченную пулями грудь, где-то заходил плачем ребёнок. Несла ли смерть освобождение, или это был очередной виток спирали, приводящий в ещё одну клетку? Брюкнер наклонился над клавиатурой и лихорадочно заработал пальцами. «Штайнманн, профессор Штайнманн», – безостановочно повторял он, прочёсывая ссылки. Да, это была его личная страница, слепок жизни человека, когда-то рассказывавшего аудитории про тошноту бытия, ныне грозившего похоронить под собой Брюкнера. Ничего лишнего, одна фотография в университетской аудитории, отзывы о прошедших студенческих конференциях, семинарах, ссылки на труды людей с ничего не говорящими именами. Взгляд Брюкнера упал на несколько строк в самом начале, принадлежавших, по видимости, самому профессору. «Философия призвана показывать нам пути, по которым можно двигаться, с целью понять мир и себя. Замечу, можно, но никак не должно, ведь у человека всегда есть выбор. Тем не менее, во все времена философия, с её специфическим инструментарием и высокими требованиями к личности, оставалась уделом очень немногих. И сейчас, в наше время грандиозной ломки сознания, как никогда остро становится вопрос: на кого же ориентируется подавляющее большинство в выборе жизненных приоритетов, кто является нашим эталоном?». Брюкнер навёл курсор на указанный на странице адрес, перешёл по ссылке и совершил вызов. Он ждал, сжимая вспотевшие ладони в кулаки, и когда отчаяние уже забулькало у него в горле, экран осветился. На Брюкнера смотрела пожилая женщина, с усталым, когда-то, вероятно, красивым лицом.

– Добрый вечер, – тихо произнесла она.

– Здравствуйте, этот адрес указан на странице профессора Штайнманна, я его бывший студент, хотел узнать, как у него дела, ну и задать пару вопросов, если можно, – нёс околесницу Брюкнер, с трудом контролируя поток слов.

– Молодой человек, это, к сожалению, невозможно, мой муж скончался полгода назад. Нужно, наверное, удалить его страницу или хотя бы опубликовать сообщение о смерти, но у меня никак не хватает сил. Всё кажется, что так я оборву последнюю связь. Спасибо вам за звонок, ему всегда было очень приятно внимание студентов, он мог полночи консультировать, что-то рассказывать. Если я могу чем-то помочь...

Брюкнер соболезновал, говорил необходимые слова, хотя, возможно, это ему и казалось. Когда связь закончилась, он, не меняясь в лице, одним движением смёл на пол всё, что было на столе, и долго топтал холодное тело ноутбука. Потом снова настали тьма и тишина. Дважды их прерывали звонки в дверь и голоса снаружи, сначала мужской, что-то говоривший о работе, затем женский. Оба раза Брюкнер какое-то время терпел, а потом произносил несколько гнусных слов, после которых всё прекращалось. В абсолютном вакууме реальность выплетала, облазила, обнажая мерцающие в черноте прутья.

Как и все предыдущие годы, карнавал проходил с размахом. Туристы, фрики, панки, уличные музыканты, офисные работники и простые граждане загрохотали площадку Единения, предвкушая зрелище. Их надежды не были обмануты. По огороженной полосе, ведущей к платформе, где собралось городское руководство, двигались люди в причудливых костюмах. Здесь было место всему, перформансам и инсталляциям, ожившим озоновым дырам, курящим бамбук пандам, чёрным лебедям, спаривавшимся с розовыми фламинго. Толпа загудела ещё сильнее, когда по плитам площадки покатали огромных размеров клетку. Снабжённую четырьмя колёсами, её неспешно перемещали двое одетых в чёрное людей. Молодой мужчина в шортах и футболке внутри, молча смотрел вдаль сквозь прутья, поглаживая массивный замок. Потом он извлёк из кармана шорт ключ, размахнулся и с силой послал его далеко в недра толпы. Мужчина неспешно стянул с себя футболку, затем шорты и, белея наготой, просунул вещи сквозь прутья, выбросив их наружу. Шум над площадью усилился. Девушки улыбались, матери прикрывали детям глаза, звучали искусствоведческие термины, перемешивавшиеся с бранью. Мужчина просунул сквозь прутья руки и протянул их к приближавшейся платформе ладонями вверх. Толпу качнуло. Обнажённое тело сделало несколько шагов назад, а потом с размаху впечаталось в прутья. Воздух вырвался из тысяч грудных клеток, а мужчина снова и снова бился о стены своей тюрьмы, без единого звука, истекая кровью, на глазах теряя привычную форму. Люди в чёрном, бросившие клетку, в ужасе заматались, размазались по стоящим в первом ряду. Кто-то, опомнившись, дергал за прутья, пытался сорвать замок, засовывал внутрь руки. Перепачканный кровью мужчина лежал на полу и улыбался, глядя на перечёркнутый стальными полосами мир.

АЛЕКСАНДР ПЕТРУШКИН

ТОЛЬКО АТОМОМ ЕДИНЫМ

[съедобный стыд проглотит нас, пчела]
лежим [как отмель] обжигая плечи

неграмотно в свет левою стуча
сквозь окончания человеческой речи

пчелиный телеграф был взят как плод
[трещоткою в юлы клубок свернувшись]

пчела в плече краснела и язык
глотала свой опухший утонувший

мансарды тёмный пузырьёк
как оспина в лице у лета
где смерть с царшиной пройдёт
и без ответа

провиснет мокрый человек
в прутах смородины тяжёлой
нащупав ангела дыру
внутри светящегося роя

Изнанка голоса есть Брайль,
который сыплется наружу
покинуть человека рай,
чтоб человеческую стужу
смочь ощутить – он поперёк
растёт, как рыба за водою,
почти ещё косноязык
он тишиной, а не бедою
был собран – и на гвоздь свои
повесил плечи и предплечья
не то к молчанию привык,
не то красивой немотою
теперь он награждён на миг,
в который встроена высотаю.



О как в нём высота растёт (!),
 как – задыхаясь – он однажды
 откроет тёплый её рот,
 теперь уже лишённый дважды
 всей речи, что – скрипел внутри –
 его скрепляла половины
 и не давала умереть,
 коль жизнь и смерть не очевидны.
 Как изнутри течёт волна,
 чтобы язык мог раздвоиться
 меж пальцев, там, где тишина
 спешит в трёх лицах отразиться.

НАТУРАЛИСТ

Вижу, как черепаха щурится всей
 кожей своей, состоящей из жёлтых щелей
 испивающих холм, что здесь вырос когда-то над ней –
 назовём его временем, мхом, словарём для горящих шмелей.

Черепahi пружина сквозь панцирь зияет, сквозь ил,
 что когда-то беглец для неё из неё сотворил –
 из воды собирая прозрачные неба следы
 из камней и людей, и их славы звериной (почти из слюды).

И стекает слюна стрекозы, что присела на край
 и качает бессмертия лестницы меж соляных
 лопастей и лопаток её насекомых (конечно, двойных),
 меж которых стоит – всё ещё незадуманный – рай.

Вижу, как черепаха становится жизни длинней,
 и морщины её облетают со многих деревьев,
 и ложатся на дом, как вдоль тени своей вся земля,
 что в приметы себе приписала мои суеверья.

Притворившейся богом природы предметы стоят –
 то кивнёт там, где лошадь идёт, то под снегом за светом ослепнет
 черепаха: внутри – горсть земли и прибой, и его стыдоба,
 что пред нею встаёт на песочные неба колени.

Тронь спицы воздуха и пряжу птиц – полёт,
 как шарф, они соткут из неба ожиданьем,
 где обжигают человека плод
 оружий, мокрый. Это бы камланье

листва запомнила б, но не было листвы –
 лишь шелест и огонь, и полый ветер,
 в котором человека плот несли
 невидимые ангельские петли.

Скрипело время в нём сверчком, как ключ,
 приподнимался, сквозь лицо Отца, без гнева
 похож на ад и рай, и снега плющ,
 ушедший человек, себе связавший небо.



Наводишь резкость, словно стрекоза,
 приблизившись ко всем своим трём лицам,
 чтоб слизывать себя саму с лица
 у остальных двух третьих – отразиться

себе мешать и разводить крути
 в сетчатке, поцелованной пейзажем,
 которые она сошьёт в полёт –
 он будет слепотой обезображен

летающего. И только лишь когда
 позволит он тебе остановиться –
 ты мир, как ранку, мёртвым языком
 своим прижжёшь, в одно собрав все лица.

неочевидный человек
 идёт по снегопаду Бога –
 его молчанием одет
 от края выдоха до вдоха
 чужим дыханием он полн
 в пальто его ключи щебечут
 и тычет Бог в ладони нос
 невидимый бесчеловечный

Там женщина идёт, ко рту
 прижав ладонь прозрачной смерти,
 и ангела рулон вокруг
 расстелен ею на две трети.

Наполовину снег висит,
 он, свет пройдя до половины
 её, почти как идиот,
 прозрачен, тёмн и невинен,

как женщина, что в снег идёт,
 сама подобье снегопада,
 подземный в небо переход,
 что был не выбран, но угадан.

Всё полость или свет
 от мрака отражённый,
 который прячет вещь
 внутри своих потёмок,

где крутит погремушку
 ладошкой обожжённой –
 и смотрит в щель её
 утраченный ребёнок.



Перебирает ночь –
агу тебе, пернатый,
висим меж голосов
и часовых поддатых.

Натянешь тишину –
молчание пробудишь
и воздух разомнёшь,
которым вскоре будешь.

Лети, лети, снежок –
неси меж позвонками
своими мой ожог
собаками, звонками.

Текст, переписанный космосом, б́удет пустыней
синей, стоящей внутри у осины на Плесо,
будет касаться тебя, как ожог от осинной
талини, вдавленной светом в подбрюшье кресла.

Тяжесть вернее, чем старость свою, ощущая
там, где синица себя собирает из даров и провалов –
текст, словно мёд замирает у края (но здесь опечатка – у рая),
чтобы тобой быть, пустыней, что небо и воды спасает.

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ БЕРЕГА

Этот берег исчезнет раньше реки, у которой он –
словно пёс – сидел и ушёл, и со всех сторон
на себя смотрел, выцарапывал эха дно,
где себя ловил, вынимая из всех заноз
и сложившись в тень лодки, ждал, кто его вдохнёт.

На трахее его, обретая истории ил,
копошились все прежние звери – куда не взгляни
ты наткнешься на перечни, поручни и следы,
что он вывернул / вывихнул / спутал в корней бинты.

И пульсирует берега лёгкого чешуя
там, где рыба торчит, над собою в чайке привстав,
и из клюва её понемногу сочится пёс,
вспоминая реки, которыми он оброс.

Холм паузы [как женщина дрожащий],
припоминая сокасание слов,
меж явным будущим и мнимым настоящим
горит и обращает воздух в столп

солёный моря, скрученный наружу,
в холодный клёкот чаек, чьи бока
уточнены бессмысленным полётом,
истончены, как фьорды, в облака.



Холм паузы [всё в оглавленье] небо
несёт в клыках своих звучащий клок
от человека в вечность человека –
ведь, если есть молчанье, то здесь Бог.

Тот, кем записано это, уже не я.
И тот, кто читает первым, это не я.
Человек – это голос крапивы, которым стораёт дом,
прикасясь ко смерти своей каждым больным углом.

Теперь времени нет, как и нет пространства для языка –
расколупаешь орешек одышки, видишь: там слюда
за которой дерева отразился прозрачный столб,
неуловленный ветром шелест, прозрачным лбом

человек с той стороны слюды отирает мрак,
словно спешку мира, свой отрясает прах,
не боится больше огня, ибо сам огнём
встал, и смотрит сквозь новой свободы в себе разлом.

Тень воды обрастает рыбой, лишившись жабр
изнутри, чёрно-красный язык, как удушье, зажав –
идёт воин по ней, а присмотришься – водолей
с головней из нор укрывшихся пескарей.

Человек-муравейник, головою взрываясь вниз,
разрезает тени свои – среди множеств лиц
нарисует себе другое [затем пройдёт],
как царпина рыбы в воде, что водой плывёт.

то что вдыхает ничто
выдыхая всё

ворочается в темноте
своих разумных кошмаров

назови Господом
вновь ошибёшься

[чувствуешь лишь дыхание
за плечом
чертит пальчиком на песке в приливе:
без смерти нет жизни]

а если отдыхать от этой кожи
устанешь, сбросив костяной мешок –
в спираль воды, в спираль из чаек дрожи,
напоминая марта водосток,



твоя молекулярная структура
рассыплется, чтоб наново собрать
из муравьиной ржавой неба кожи,
которую нам ангелы соврать
успели до того, как растворились,
воронкой став – точнее, вороньём –
ты будешь только атомом единым
вернувшись по спиралям этим в дом

АНДРЕЙ КОРОВИН

ЭСКИЗЫ, ЭТЮДЫ И КРОКИ ¹

ЭТЮД НОМЕР ОДИН (ОСТРОСКУЛАЯ)

на острых скулах проступил восток
пакет известной фирмы между ног
мак-кофе в острых пальцах тихо жётся
тяжёлый шарф вангогом лёг на грудь
и волосы растрёпаны чуть-чуть
и мятная жвачка не жуётся

высокие сияют сапоги
к чужим глазам глаза её глухи
она сама себе не сознаётся
что жизнь как день спокойна и легка
что люди это просто облака
вокруг её летающего солнца

КРОКИ 2 (БЕГУЩАЯ ПОД ДОЖДЁМ)

она бежит и дождь торопится
догнать достать её скорей
небесная междуусобица
течёт из ржавых батарей

а дождь облапливает платypiще
облепливается по ней
и ко груди намокшей ладится
и вниз стекает до ступней

а ей хочется без повода
ей тела гордого не жаль
она бегущая без повода
уже записана в скрижаль

ЭСКИЗ № 2 (ЗЕВАЮЩАЯ)

девушка зевает
как молодой щенок
широко открывая рот
обнажая
маленькие белые зубки
и розовый язычок
прикрывая глаза
от удовольствия



потом закрывает рот
и улыбается
родинка на её ладони
маленький вздёрнутый нос
светлые локоны юной принцессы
на чёрном сарафане
в пол
учебник музыки на коленях
смотрит на меня
спрашивает
понравилась

ЭТЮД НОМЕР ТРИ (ВПЕРЕДИ ИДУЩАЯ)

она как лестница витая
куда-то вверх ведёт туда
где ночь над миром пролетает
и навзничь падает звезда

скрипят ступени воздух дышит
томится темнотою свет
она идёт как будто слышит
в ночном дыханье ход планет

вперёд вперёд без остановки
по этой лестнице туда
где терпкий шёпот на цинковке
и в небе – чёрная звезда

ЭТЮД НОМЕР ЧЕТЁРЕ (ЦАРИЦОСАВСКАЯ)

блестят на солнце серьги царские
восточный сказочный мираж
красавица царица Савская
полцарства за неё отдашь

улыбка словно солнце светится
глаза янтарные горят
и улыбаются и бьются
один – опал
другой – агат

и губы – полные медовые
и волосы – живая медь

забыть сады её фруктовые
в сиянии её сгореть

ЭТЮД НОМЕР ПЯТЬ (ОБМАННАЯ)

проезжаем Бутова горький шоколад
бутовские яблоки осенью горят
клёны многопалые тянутся к лицу
что она печальная шепчет наглещу



колесом на пальчике золото кольца
 юный муж целуется с нею без конца
 а она туманная смотрит на меня
 дни её обманные тайная броня

осень дело мокрое плыть да помирать
 голые каштанчики в парках собирать
 не печалься девица чёрные глаза
 скоро всё изменится
 я тебе сказал

ЭСКИЗ № 6 (ХИЩНАЯ)

она похожа
 на хищную птицу
 острый изогнутый клюв
 колючие внимательные глаза
 сочный сладострастный рот
 вздёрнутые уголками брови
 пепельные волосы
 обрамляющие округлое лицо
 с заострённым подбородком
 сытый румянец на щеках
 высокий округлый
 отражающий солнце лоб
 острые когти на руках
 и кольцо
 пойманной птицы

ЭСКИЗ № 7 (ЧИТАЮЩАЯ)

она читает Джека Лондона «Сердца трёх»
 силуэты трёх всадников на фоне огромного шара солнца
 в свете её лица читается вздох
 о жизни иной о жизни что удаётся

в длинном вязаном платье ниже колен
 с узорами в которых намечены поиски смысла
 она обнажает зубы в улыбке прекрасных лен
 и пуговка носа каплей летящей в обрыв повисла

глаза две оливки смеющиеся над судьбой
 как взлётные полосы брови аэродрома
 куда она едет в одном вагоне с тобой
 как фото внезапна и как судьба незнакома

ЭСКИЗ № 9 (ОННА-БУГЭЙСЯ)

она спит
 с полузакрытыми глазами
 самурайская привычка
 ничего не попишешь
 чёрная рыба её глаза
 прикрытая веком
 внимательно следит за мной
 рассеянные волосы



волнами прикрывают её лицо
 широкие ноздри
 осторожно присматриваются к запахам
 щедро намеченные брови
 выражают полный дзен
 заходящее солнце
 натирает оливковым цветом
 плоскогорье её лица
 губы цвета спелого бекона
 слегка прикрыты

стоит мне пошевелиться
 и самурайский меч
 её глаз
 высечет острый взгляд
 на моём лице

ЭТЮД НОМЕР ШЕСТЬ (СБИВАЮЩАЯ С НОГ)

бывают же красивые глаза
 когда всё остальное только проза
 и взгляда озорная стрекоза
 щекочет ноздри запахом наркоза

и нос стоит как гордый Карадаг
 хотя нежнее розовее тоньше
 и алых губ упрямый аргамак
 сбивает с ног на поцелуй и дольше

и вдруг волос пылающий костёр
 лучами света накрывает поезда
 и жизнь летит сквозь зиму и простор
 о времени уже не беспокоясь

КРОКИ 6 (ПРЕЗРИТЕЛЬНАЯ)

у неё губы
 как крыша китайской пагоды
 загнуты уголками вверх
 то ли улыбаются
 то ли смотрят презрительно
 сверху вниз
 поди пойми
 рада она тебе
 или пора валить отсюда
 пока не поздно

¹ Этюд – изучение фрагмента целого произведения,
 Эскиз – предварительный набросок в различной технике,
 Кроки – быстрый карандашный набросок.

ИГОРЬ КАСЬЯНЕНКО

НАПИТОК ИЗ МЁДА И ПЕРЦА

АБСОЛЮТНЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ

Мы решали наше дело кулаками.
Враг с недоброй миной прыгал вправо, влево...
А я бил и думал: вот машу руками,
а внутри меня ни страха нет, ни гнева.

Там покой и нарушать его опасно.
Там бездонны чувства и огромны мысли.
И когда я говорю, что жизнь прекрасна,
это я в ином, а не в житейском смысле.

И себя бросаю в битву без остатка,
неприятный мой не знает неприятель,
что внутри я тайна, мистика, загадка,
а снаружи абсолютный отражатель.

И когда я ненавижу, это значит –
такова любовь того, кто дышит рядом.
А он мерзко так ругается и скачет.
И в глаза мои тревожным смотрит взглядом.

Он устал, я вижу, как ему не сладко,
без моих объятий и рукопожатий.
И тогда приходит страшная догадка,
что противник мой такой же отражатель.

И его гримасы, подлости, укусы,
некрасивые манеры и движенья –
это всё мои достоинства и плюсы,
разумеется, в зеркальном отраженье.

И в отпущенные нам земные сроки
мы всегда найдём причины для сражений,
ибо истины утеряны истоки
в бесконечности взаимных отражений.

В каждом споре, мы твердим одно и то же,
и себя в чужих устах не понимаем.
Боже мой, как абсолютно непохоже
мы друг друга абсолютно отражаем!

Я простил бы и тирана, и паяца,
я любой победе предпочёл бы жалость,
но порой ужасно хочется взорваться,
чтоб во мне уже ничто не отражалось...



А вокруг большое и глухое небо,
и к нему нет ни отмычки, ни сим-сима.
И я думаю, вгрызаясь в корку хлеба:
Жизнь прекрасна, только жить невыносимо...

ИБО НЕ ВЕДАЕШЬ...

Если ангел-хранитель сказал, что он «пас»,
а тебя всё равно кто-то спас,
Если, клятый и мятый, пройдя рубежи
и засады, ты всё ещё жив,

Значит, некто другой, не клянясь горячо,
волей рока подставил плечо
И забрал на себя то, что в худшей судьбе
предназначено было тебе.

Не пытайся узнать его профиль и фас,
просто помни, что он тебя спас.
И что им оказаться бы мог и твой друг,
и чужой, и любой, кто вокруг.

И поэтому нужно молиться за всех
и просить о спасении всех.
И встречая врага, открывать каждый раз,
что и он, может быть, тебя спас.

Когда мы ещё только снились навстречу
друг другу, судьбе ли, рождению Вселенной,
ты видела в каждом мужчине предтечу
меня и поэтому пахнешь изменой.

Но я в пароксизме ревнивого бреда
не стану себя раскалять до ста ватт сам –
красивая женщина... ты, как победа,
не можешь всегда одному доставаться.

Иначе Творенье застынет, как студень,
и – певчая птица – я петь замолчу, да!
Мне не о чем, раз не стоит на посту день
и ночь в наших душах надежда на чудо.

Но творчество есть! Ибо непостоянство
твоей благосклонности рушит рутини.
И райские яблоки – не просто яство.
И тыква... я ж помню, что ты с Украины.

Давай же! Пануй! Что нам рай? Где те купцы?
Я буду смеяться, взирая из ложи
на то, как твой за-воеватель текущий
стекает туда, где он завтра низложен.

И снова измену крути за изменой!
Предтечи – они же все зыбки, как иней.
Но слава им, ставшим божественной пеной,
ко мне из которой ты вышла богиней...



Ноябрь. Деревья. Ветви – как линии ладоней.
 Но их не расколдует наш разум посторонний.
 Давай гадать на ветре, как на кофейной гуще:
 Откуда он подует – так нам и жить в грядущем.

Где ветер нам попутный, там наша без оглядки
 растёт и зреет радость, как ягода на грядке.
 Там я года наградой зову в раю объятий
 твоих, забыв порядки и смысл иных занятий.

А если злой и встречный нам в лица дует ветер,
 тогда мы друг за друга ещё сильнее в ответе.
 От вечности в нас мало и всё же больше вдвое,
 когда мы вместе время встречаем роковое.

Ах, как неразделимо в природе человека
 сплелись бездонность мига и мимолётность века!
 И светоч вечной жизни, и морок скорой смерти,
 И ты со мной в обнимку в житейской круговерти.

Что завтра будет с миром? Что возникает между
 тобой и мной сегодня, одетое в надежду?
 Никто земной не знает. А мы пока земные.
 И будущее мчится на наши позывные...

ТАК НЕЖНО

Когда не дай Бог навсегда завершится
 то наше чего невозможно лишиться
 и станет понятно что ты не находишь
 меня в том не знаю куда ты уходишь

и я попытаюсь нельзя и представить
 другую на место твоё переставить
 и дать ей свободу тобой притворяться
 пока в ней черты твои не растворятся

тогда целый мир на куски распадётся
 и нам собирать их отдельно придётся
 мы их соберём и в две клетки разложим
 и жуткий убыток любви подытожим

и бедные да только бедные могут
 надеяться что им чужие помогут
 пойдём Христа ради просить что имели
 как розы в мороз но беречь не умели

а страсть убеждает что будет то будет
 любите безумно безумных не судят
 но лишь потому что я всё понимаю
 тебя я так нежно сейчас обнимаю.



ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

Они говорили: – А чё это у тебя патапы, как у битлов?
Ты разве не понимаешь, что ты идеологический улов?
И любые твои достижения, коль на то нету съезда решения –
знак морального разложения.
Наши святые Павлы – Морозов и Корчагин!
Помолнись на них, а потом развлекайся без портков
с девочками в общаге.
Но только чур – ни шума, ни драки –
партком не дремлет, а д'артаньяны и бержераки
в Париже.

А потом они же
вопрошали с иронией:
– Ты знаешь, почему ты умный, а жизни не рад?
Это оттого, что ты не демократ.
Как не было сроду, чтоб в нашем лесу
за бурым погнался волк,
так с виски вовек не едать колбасу
тебе, если ты совок.
Теперь диссиденты на пике,
запомни, старик:
Их даже апостолы ниже,
И мы с ними вместе на новый шашлык
баранину правды нанижем.

А потом они же
смеялись в лицо мне:
– Ты в натуре лох и базар твой плох.
Ты бы начал крутиться, пока не сдох.
Пойди, толкни на рынке какой-нибудь хлам.
А лучше, пока мы тут делим всё,
отлучись на время,
типа по делам,
А потом вернись и наймись к нам.
А что до тобою прочитанных книжек,
так в смысле бабла
их чем больше, тем жиже.

А потом они же
цедили сквозь зубы:
– Ты вроде так и нормальный, пока не откроешь рот.
А как скажешь слово – ясно, не патриот.
Наплевать, что это твоя земля, если речь твоя на манер москаля.
Пойди на погост, где предки твои лежат,
поклонись их праху.
А потом собирай манатки и гастарбайся отсюда к ляху
Или к пану чеху с мадьяром – если мошна их ближе.

А потом они же
вместе со мной, меж сонма прочих людей,
молча стояли в наибольшей из очередей.
Очередь кончалась перед дверью
Страшного Суда.
И мы в одинаковых белых рубахах
босиком входили туда.



И тщетно пытаюсь держать равновесие,
шли по черте,
разделяющей Добро и Зло.
А на выходе оркестр ангелов
или чертей,
тут уж кому как везло,
глядя на вердикт
в конце земной
истории болезни
каждой из наших душ,
играл туш.

Пока при надежде я и живой,
в сюжете меж облаком и травой
я буду натянутой тетивой.

И может, морщинки сведя к челу,
в меня, будто клетку открыв крылу,
сподобится кто-то вложить стрелу.

А свистнет стрела, найдётся и цель –
на царском болоте ли, во дворце ль.
Стреле ведь неважно, что там в конце.

Но если б я сам репал, где судьба,
мне цель не нужна была б и стрельба –
молчит барабан, молчи и труба.

Я лучше тропую пойду иной.
И та тетива, что назвалась мной,
натянутой будет звенеть струной.

И пусть говорят, что мне грош цена –
нет вещи бессмысленней, чем струна!
Зато будет музыка, не война...

СУДЬБА ВОЗВРАЩАЕТ

Судьба возвращает, всегда возвращает.
Течение вынесет на бережок
всё то, что душа в тайниках бережёт.
И даже когда ты смирился, дружок,
и смотришь на чудо, не видя в нём чуда,
из небытия, вопреки, ниоткуда
судьба всё равно возвращает должок.

Как хочется жить вдохновенно и просто.
Не драться за грош, не сдаваться тоске,
Уметь отпускать и взлетать налегке
и помнить, что в жизненном этом клубке
и горе бывает порой не напрасным.
А то, что действительно было прекрасным,
судьба возвращает на новом витке.



Пусть опыт примет больше не предвещает
слияния тем, замыканья орбит.
Гештальты закрыты и выстроен быт,
и всё без обид уже, да, без обид –
судьба, как напиток из мёда и перца,
порой забирая до самого сердца,
всегда возвращает, что сердце хранит.

СЕРГЕЙ МИТРОФАНОВ

ЗВОНАРЬ

повесть

ПРОЛОГ

Безмятежная жизнь Андрюхи Козлова закончилась неожиданно, как летние каникулы. Вот ещё вчера можно было гулять допоздна и спать до обеда, гонять на мотоцикле в соседнее село к девушке Дине, катать её по заливному лугом, плавать с ней в лодке на остров и там целоваться в свежем сене. Это вчера. А сегодня надо идти на занятия, чертить курсовые работы, думать о будущем дипломе и ещё о том, что Дина вдруг оказалась беременной. Это, последнее, совсем не укладывалось в голову. Он – будущий отец! «Да ну! Что вы! Я ещё и сам ребёнок!» – хотелось крикнуть ему. «Да мы вообще этого не хотели, просто так, как-то само получилось!» – хотя, как приятно было это самое... И у него, и у неё в первый раз, и всё так складно, взаимно. И второй, и третий, и с каждым разом всё лучше и интересней, и он чувствовал себя мужчиной, и хотелось, чтобы это счастье осталось с ним навсегда. Ну вот и дохотелось. Ребёнок. Интересно, девочка или мальчик? Аборт делать не хочет ни в какую, говорит, что боится совсем бесплодной остаться. Родителям ещё не сказала. Жениться, что ли?

Мы жили в молодом городе на берегу Волги, в котором недавно построили нефтеперерабатывающий завод, и город, расширяясь, поглощал окрестные сёла и деревни; они превращались в городские районы, а деревенские жители превращались в городских. По случаю нефтезавода в городе был и нефтяной техникум, поставлявший заводу специалистов средней руки. Я учился в нём в те годы вместе с Андрюхой Козловым, его будущей женой и ещё со многими девочками и мальчишками, которых помню и по именам, и по фамилиям, и по прозвищам и буду помнить всю жизнь. Этот рассказ – моё любовное письмо в прошлое, обращение к тому времени, где мы были молоды, счастливы и безмятежны.

Глава 1

УРОК ИСТОРИИ

Старая седовласая Генриетта Давидовна преподавала в техникуме новейшую историю. Дело неблагодарное и в наши времена, ведь кто знает, в каком виде отстоится эта новейшая история во времена позднейшие, не будет ли стыдно перед потомками. Но в те годы историческая наука была вполне оформленной и сомнений не вызывала, хотя ходили слухи о том, что не всё гладко в новейшей, и смутные подозрения уже пробирались в наши юные умы. Но Генриетта Давидовна была на своём месте и дело своё знала чётко. Худая и длинная, имевшая привычку держать в руках указку, хотя указывать ей было не на что (история – не география), она то и дело прижимала её к плоской груди. В эти моменты Генриетта становилась похожа на винтовку Мосина с пристёгнутым штыком. На уроках её всегда было тихо, студент не бузил, зная о злопамятном характере Генриетты и о предстоящем зачёте, который обычно сдавался с третьего, а иногда и с четвёртого раза. Ещё одна привычка была у Генриетты: она любила вставлять фамилию шевельнувшегося студента в свою речь и повторять её, тем самым призывая нарушителя к порядку.

Мы сидели с Андрюхой на предпоследней парте и пытались внимательно слушать Генриетту. У Андрюхи это плохо получалось, он ёрзал и пытался что-то сказать мне, но строгая Генриетта одним скользким взглядом пресекала его попытки. Наконец, когда Генриетта повернулась к окну и стала выглядывать там светлое будущее, Андрюха сказал шёпотом:

– Дина беременна! Во дела какие!

– А в это время на другом конце города работала подпольная типография – нараспев говорила Генриетта и всё смотрела в окно. Я схватился за голову и едва не крикнул: «Ни фига себе! Да ты чё!». Генриетта повысила голос и повторила:

– подпольная типография. Ерыпалов!!! – и резко повернулась к аудитории, выжигая ледяным огнём своего гнева остатки нашей волн.



Ерыпалов – это моя фамилия. Мы притихли, но разве усидишь спокойно от такой новости. Андрюху распирало.

– Вчера сказала. Никто пока не знает... – прошептал он.

– Решение принималось советом... Козлов!.. народных комиссаров... советом... Козлов! – Генриетта развернулась и отправилась прямо к нашей парте, – ...народных комиссаров во главе с Владимиром Ильичом Ле...

Внезапно она остановилась. Холодная кровожадность на её лице вдруг сменилась растерянностью. Кто-то хихикнул, но смех прозвучал в абсолютной тишине. Растерянность на лице за одну секунду перетекла в гримасу ужаса, и я никогда больше не видел, как лицо человека меняет своё выражение от самоуверенности к животному страху так быстро. Генриетта открыла рот и повела взглядом. Двадцать пар глаз смотрели на неё, не мигая.

Прошло много лет, пока я понял, что творилось в душе Генриетты. Ей, пережившей кошмары сталинских репрессий, тут же представилась неизбежность кары за случайно сказанную фразу. Неизбежность глядела на неё двадцатью парами глаз, мстительных и насмешливых. «Настучат, настучат! – пульсировало в её голове. – Я бы точно настучала! И эти настучат. Не посадят, времена не те, но с работы попрут на пенсию, а может и из партии выгонят, с позором. Я бы выпнала. Как же это я так оплошала! Чёрт бы взял этого Козлова с его фамилией! Ну был бы какой-нибудь Зайцев или Зайцман...».

Генриетта мучительно приходила в себя и пыталась кислой улыбкой обратить всё в шутку. Если бы группа засмеялась, ей было бы легче и проще, но на её лекциях никто и никогда не смеялся, и сейчас она одна выдавливала из себя улыбку; улыбка была фальшивой, как морковная котлета в студенческой столовой.

Наконец лекция закончилась, и Андрюха торопливо рассказал всё. Собственно, рассказывать было нечего. Дина, стройная, рыжеволосая Дина, которую и красавицей не назовёшь, и глаз не отведёшь, забеременела летом, во время каникул, и сейчас встал извечный русский вопрос: «Что делать?».

– Ну и что будешь делать? – спросил я. Андрюха вздохнул. В городе все друг друга знали, что и говорить про техникум. Любой поступок на виду, и это не оставляло выбора. И хотя из-за волосатой Андрюхиной груди порой выглядывала трусость и мелкая подлость, он твёрдо сказал:

– Женюсь!

Глава 2

СВАДЬБА. День первый

Через месяц сыграли весёлую свадьбу. Было самое начало октября, бабье лето на Руси. Волжская вода сделалась тёмной и отражала белёсое небо с редкими облаками. А в природе вдруг обнаружилось столько золота, что казалось, будто скупой Кашей открыл свои сундуки и разом высыпал весь золотой запас на всё растущее из земли, и золото, осыпавшее деревья и кусты, не уместившись на ветках, слетало сусальными лепестками в золотую же траву, долетало до реки, но не тонуло, а, подхваченное легчайшим ветерком, несло и крутилось в чёрных водоворотах, словно кусочки золотого платья персидской княжны, утопленной Стенькой Разиным триста лет назад чуть ниже в тех же волжских водах. На эту вакханалию щедрости с откоса строго смотрела деревянная церковь, помнившая, вероятно, и Стеньку, и княжну и сама урвавшая когда-то золота от осенних щедрот и позолотившая им свои купола.

Дом, где жила Дина с родителями и младшей сестрой, стоял тут же напротив церкви. Он был старый и большой и сам немного напоминал церковь, только без колокольни и куполов. Нижняя часть была каменной с ковanej железной дверью, а верхняя деревянная часть вся была украшена чудесной резьбой. Дому было больше ста лет, и он охранялся государством, о чём свидетельствовала табличка, прибитая к фасаду дома. Дом и церковь стояли в селе, примыкавшем к городу, но ещё не ставшем его частью; впрочем, это было делом времени. Город быстро рос, и судьба села была предрешена. Тут и сыграли свадьбу, и найти лучшее место и лучшее время было трудно.

Что может быть веселее студенческой свадьбы? Ничего не может быть веселее студенческой свадьбы, за исключением студенческой свадьбы, помноженной на свадьбу деревенскую, и только в нашем городе возможно было столь редкое сочетание. Дина тоже училась в техникуме, только по другой специальности, и поэтому две группы в полном составе были приглашены на свадьбу. Пришли все, больше сорока человек. Затем съехалась вся родня, сослуживцы, друзья со стороны невесты. Родители Дины принадлежали к сельской интеллигенции, и на свадьбу приехали директора ближайших совхозов, председатели колхозов, сельсоветов, агрономы, заведующие всем, чем только можно заведовать, бухгалтера и счетоводы. Родители Дины были уважаемыми людьми, к тому же уборочная пора уже закончилась. Родителей Андрюхи, наоборот, можно было причислить к рабочей интеллигенции. Что это такое, мне не было понятно тогда и не понятно до сих пор. В конце концов, я пришёл к внутреннему согласию, что это просто достаточно образованные, любящие жизнь и свою работу люди, отличающиеся от собратьев по классу умеренным



потреблением алкоголя. И Андрюхиных родственников тоже приехало достаточно. К тому же нельзя было не пригласить соседей, а таковых набралось едва ли не полсела.

Разместить за столами такую уйму народа в сельском, хоть и большом доме, не было никакой возможности. Поэтому воспользовались хорошей погодой и накрыли столы прямо в саду, благо он был огромен и мог вместить гостей намного больше. Сад одной своей стороной выходил прямо на откос и от крутого обрыва его отделял довольно ветхий забор. Этот забор и близкий обрыв вселяли оправданный страх у Дининых родителей. Они очень боялись, что, упившись и потеряв ориентацию, гости начнут падать с обрыва прямо в Волгу, поэтому за несколько дней до свадьбы отец Дины натянул по всей длине металлическую сетку, привезённую им из соседнего села Безводное: там был небольшой заводик, где эту сетку плели, а также делали гвозди и прочую металлическую мелочь.

Наконец наступил долгожданный день. Три чёрных «Волги» с развевающимися белыми и красными лентами, с куклой в свадебном наряде, привязанной к решётке радиатора той «Волги», где сидели счастливые молодожёны, мчались по городу и сигналили, оповещая всех, кто ещё не знал о свадьбе Андрюхи и Дины. Подъехали к Вечному огню на главной площади и, как того требовал установившийся обычай, положили цветы и сфотографировались. Затем ещё покатались по городу и вот, наконец, подъехали к дому. На пороге стояли родители и встречали молодых хлебом с солью.

Дина была хороша. Удачное свадебное платье, неременная фата и модные белые перчатки делали невесту неотразимой. Стройная, высокая и рыжеволосая, она принадлежала к тому типу женщин, которым, что ни надень – всё к лицу. А лицо, хоть и не поражало красотой при первом взгляде, было всё же очень интересным, и интерес этот будоражил воображение многих парней; к тому же Дина была совсем невинной, и эти качества вносили в уже разбуженное воображение такие детали, что Дининой благосклонности добивались лучшие носители ирек-хромосомы.

А Андрюха был здоровяк, и выглядел именно как самый лучший носитель этой самой ирек-хромосомы: крепкий, упитанный, если не сказать толстый, сильный физически, со свирепым лицом, волосатой грудью и курчавыми волосами на голове. Если бы я не знал Андрюху с первых классов школы, то, наверное, остерегался бы его, как остерегались многие, мало его знавшие. Он умел говорить красиво и нагло, что вкупе с внешностью добавляло ему внушительности. На свадьбу ему достали наимодевший немецкий костюм чёрного вельвета, и он им гордился, пожалуй, больше, чем красавицей Динной. Он был одного с ней роста, но в силу своей упитанности казался бы ниже стройной Дины, если бы не югославские ботинки на толстой подошве, бывшие тоже предметом его гордости. В общем, пара была прелестна, гостей не вмещал дом, подарки сыпались, как из рога изобилия, столы ломились от закусок и напитков и начиналось самое главное – свадьба.

Молодые сидели в доме за главным столом. Там же рассадили самых именитых гостей и родственников, а остальные расположились в саду. Чтобы две группы гостей действовали синхронно, в доме установили микрофон, и всё, что происходило в доме, выливалось через колонки в сад. Произносились тосты, вручались подарки, читались смешные стихотворные поздравления, поднимались бокалы и рюмки, что-то стеклянное уже падало на пол и разбивалось, неслись крики «На счастье!» и «Горько!», женщины плакали от умиления, носились туда-сюда маленькие дети, готовились кража и выкуп невесты.

А столы! Каких только закусок не наготовили к свадьбе! Подходил к концу 1978-й застойный год, и всегда в магазинах чего-то не хватало. С пугающей периодичностью исчезало то одно, то другое, но в домах было всё, а уж на свадебных столах царил явно не 1978-й год, а по крайней мере 2000-й, с коммунизмом, обещанным ещё Хрущёвым. Больше всего поразил меня тогда невиданный мной жареный молочный поросёнок с хреном. До этого я видел жареных поросят только на карикатурах в журнале «Крокодил»: там их жадно пожирали жирные буржуи в цилиндрах, а рядом обязательно томился тощий пролетарий с утянутым ремнём животом. Поросят было два, а может и больше; они возлежали на широких блюдах, были обложены жареным картофелем, зеленью, невиданной цветной капустой и помидорами; их румяные бока покрывали белые узоры из тёртого хрена. Поросята довольно улыбались, изготавившись к съедению, чёрные глаза тускло поблёскивали: оказывается, вместо глаз были вставлены маслины, тоже никогда мной не виданные. Рядом, не уступая им в красоте, теснились фаршированные яблоками с черносливом утки, гуся, набитые особенной кашей в окружении тушёных штрифелей и долек лимона. А жареным курам не было числа. В тесном пространстве между блюдами с птицей вытягивались узкие фарфоровые блюда с заливным судаком, с простой, а может и не очень простой, селёдкой, открытой кольцами сиреневого лука; с трудом находили себе место салаты. Простой и любимый всеми «оливье» уже готовился принять в свои прохладные объятия первую пьяную морду, «селёдка под шубой» составляла ему равную конкуренцию, а свекольный с грецким орехом и чесноком салютовал о себе зелёной веточкой укропа и намекал, что бухнуться мордой в него будет гораздо прикольней. Поговаривали уже о стерляжьей ухе: кто-то видел, как рано утром приносили в дом свежыволовленную стерлядь. Отдельными коммунистическими островками вызвал к себе особый дефицит: нарезанная тонкими ломтиками горбуша и розетки с чёрной и красной икрой, увенчанные холодными кубиками сливочного масла. Золотистые рижские шпроты наползали



на блюда с ломтиками дырявого сыра, а он, в свою очередь, толкал в бок тарелку с венгерским сервелатом – какой же советский стол без сервелата. Местные солёные рыжики и грузди, сопливые, не желающие цепляться на вилку, маслята, помидоры и огурцы свежие, малосольные и солёные составляли конкуренцию редкому болгарскому лечо и жареным баклажанам, привезённым одесскими родственниками, а также совсем уж экзотическому и незнакомому в здешних краях блюду «бабагануш». Надо всем этим изобилием парили на тонких ножках вазы с яблоками, грушами и виноградом, с мандаринами и апельсинами, а напротив молодых на специальном пьедестале возвышался настоящий ананас, обложенный бананами, ещё слегка зеленоватыми. Ананас и бананы были привезены из Москвы дядей Юрой. Его жена, не пожелавшая приехать с ним, работала машинисткой в министерстве обороны, в недрах которого, как в африканских джунглях, водились не только бананы и ананасы, но также зрели манго и непонятный не то фрукт, не то овощ – авокадо. Но они стоили дорого, а жена дяди Юры была всего лишь рядовой машинисткой, и потому обошлись одним ананасом и бананами, но и это было прекрасно.

Всем этим предстояло закусывать, прежде всего, водку. На столах в доме стояла только водка «Экстра» по четыре рубля двенадцать копеек. Её название переводилось народом с убийственной точностью «Эх Как Стало Трудно Русским Алкоголикам» из-за цены. Разница в пятьдесят копеек, по сравнению с обычной водкой, была в те времена принципиальной. Тут же стояли польские «Старка» и «Зубровка», а для особенно дорогих гостей было припасено несколько бутылок армянского пятизвёздочного коньяка. Советское шампанское целилось в потолок, а на женщин поглядывали бутылки крымской «Массандры» и болгарской «Тамянки». Приятно общаться с женщиной, выпившей два бокала «Тамянки»!

В саду стол был лишён поросёнка, ананаса и водки «Экстра», но был удачно разбавлен пирогами и компотом, а водка была обычной, по три шестьдесят две, впрочем, это мало кого волновало.

Вот уже произнесли все главные тосты; младшая Динина сестра Оля «украла» Дину и потребовала выкуп, аж пятьдесят рублей. Её пытались урезонить, мол, чего так дорого. Но она стояла на своём, и Андрюха вывалил, скрепя сердце, полсотни из подаренных денег. Дину вернули, крикнули «Горько!», выпили, крикнули ещё раз, ещё выпили, и свадьба под управлением приглашённого тамады Вовы Киселёва и его жены Аллы понеслась весёлым табором над волжским простором, выплёскиваясь за пределы дома и сада, а порой и за пределы приличия.

Студенты гуляли в саду. Сначала пели под гитару «Виновата ли я», «Моря гладь и шум волны передо мной», «Два туза, а между дамочка вразрез», «Там где клён шумит», «Расцвела сирень в моём садочке», «Тополя, тополя все в пуху», потом, захмелев, потрясали волжский берег цыганской «Ай дану-дану-данай»; слова песни и цыганский язык придумывали сами на ходу и хохотали, хохотали. Вышли на откос и хором гудели вслед пароходу – тогда ещё ходили последние пароходы. Пароход шлёпал колёсами по тёмной воде и гудел в ответ. Потом стемнело, и включили освещение, заранее проведённое в сад, включили магнитофон, и начались танцы. Кто-то уже потихоньку вырубался и таких относили в дом, в нижнее помещение, обычно служившее чуланом, а сейчас приспособленное для уставших гостей. Стояла невероятно тёплая для этой поры погода, и взрослая часть свадьбы, сконцентрировавшаяся в доме, выходила подышать свежим воздухом, покурить, и неожиданно для себя самой присоединялась к молодёжи и лихо выплясывала под «Queen» и «Deep Purple».

Но не все выходили. Старики сидели в доме и делились воспоминаниями.

– Ай-йа-йай! Что говоришь! Ты подумай, головушка! Как выпьет, так и говорит! Да ведь врёт всё! – причитала бабушка Таня.

– Я до Берлина, я до Рейхстага дошёл! Я на стене Рейхстага написал! – горячился дед Фёдор Иванович.

– Ай! Он на стене написал! Да хоть постыдился бы говорить!

– Да, написал! Я диверсантов, я картошку, я спирт возил на передовую!

– Да ведь матерное написал! Как выпьет, так и хвастает! Ох, стыдобушка!

Дед Фёдор Иванович бешено вращал глазами и сжимал кулаки.

– Фёдор Иваныч, а что написал на Рейхстаге-то? – подначивал его другой дед Николай Григорьевич, дошедший только до Праги.

– Да написал, как есть: Гитлеру конец!

– Матерное написал! – встревала опять баба Таня, с которой Фёдор Иванович прожил едва ли не полвека.

– Да, представь себе! – дед Фёдор грозно сверкал глазами в сторону своей супруги. – Гитлеру п...ц! Так и написал!

– Что матерись-то, бессовестный! Глаза бы мои на тебя не глядели! Как выпьет, так и матерится!

– А ты не шуми! Я ведь орден-то за что не получил? – кипятился он, повернувшись к Николаю Григорьевичу. – Полковника одного к Жукову вёз, а тут, бах, и мина под правым колесом! Полковника о потолок сплющило, а меня контузило только. Так мне орден из-за этого и не дали, вроде, как я виноват, что я слева за рулём сидел, а полковник справа. Полковника убило, конечно. Посадить хотели, но не посадили, потому что я сам в войсках НКВД служил, Терещенко Иван Михайлович за меня вступился, это и спасло! А при Сталине хорошо было!...



– Вот опять! Ты подумай, головушка! Не слушайте его! При Сталине ему хорошо было! При Сталине-то народ сажали!

– При Сталине у меня хер стоял! – воскликнул Фёдор Иванович и стукнул кулаком по столу, так, что рюмка звякнула и опрокинулась.

– Ой! Вы послушайте, люди добрые, что он говорит! Совсем стыд потерял! До седых волос дожил, а ума не нажил! При Сталине ему хорошо было!

– И мне хорошо было, и тебе хорошо было, потому что стоял, как у Антон Иваныча! А помнишь ли Антона Ивановича-то? Нет? А я помню! Да и ты помнишь! – лицо деда Фёдора просветлело. – Николай Григорьевич, наливай за победу!

Выпили за победу. А на другой стороне п-образного стола, обняв баян, пьяненький тамада Вова Киселёв рассказывал окружающим, какая хорошая и умная у него жена.

– Исключительного ума женщина! – повторял он, вскидывая к потолку левую руку. – Три раза в техникум поступала! – Затем, запрокинув голову, выплеснул правой рукой в открытый рот фужер с водкой и, занюхав сдвинутыми мехами, нежно потрогал кнопки инструмента и, когда очередная порция хмеля ворвалась в киселёвский мозг, взревел:

– Э-э-э-ххх! А ну нашу волжскую! Из-за острова на стрежень на простор речной волны...

Стол, бабы и мужики и все, кто ещё был в состоянии, дружно грянули:

– ...выплывают расписные Стеньки Разина челны!

Дальше пели, как Стенька выяснял отношения с собутыльниками, выслушивал их упрёки, ну и, чтобы совсем не потерять лица, взял и утопил заграничную барышню на потребу тем же собутыльникам, чем и восстановил утерянный было авторитет.

– И за борт её бросает в набежавшую волну-у-у...

Пока тянули «у-у-у», в главную комнату мимоходом заглянул чем-то озабоченный студент Сашка Гараев, остролов и балагур, поэт и душа любой компании, рано обородевший мастер экспромтов, либерал и демократ, хипшарь, готовый застebать всё, что подвернётся на его острый язык. Услышав про «...набежавшую волну», тут же в дверях, махнув баянисту рукой, чтобы тот не останавливался, густым и мощным баритоном подвёл окончательный вердикт народной песне.

– *Этот случай не забылся,*

Песню сочинил народ,

Как над женщиной глумился

Кровожадный идиот!

Пьяные гости, очарованные мощным голосом, льющимся из бородастого, почти Стенькиного рта, не раздумывая, подпели «...кровожадный идио-о-от», словно так и надо было. Потом кто-то засмеялся, кто-то завозмущался, Сашке погрозили кулаком, но тут Вова Киселёв растянул меха, вздохнул и вдруг заплакал вместе с баяном «...а я люблю женатого», вместе с ним заплакали бабы, заплакал и Вова Киселёв. Не заплакала только его жена Алла. Исключительного ума женщина уже всюю целовалась с участковым милиционером в кустах дикой вишни, густо росшей за баней в конце сада. Участковый милиционер Василий Александрович Зиновьев, не приглашённый на свадьбу и обиженный этим, пришёл сам проверить порядок на вверенном ему участке, да так и не ушёл. Его фуражка уже покоилась на голове свидетельницы и подруги невесты, фуражка была надета задом наперёд и сдвинута на затылок, потому что голова её лежала на плече свидетеля, то есть на моём плече, мы топтались в медленном танце под нескончаемую песню «July Morning» группы «Uriah Heep» и целовались.

А к полуночи появилась луна, и кто-то выключил свет, проведённый в сад, да в нём уже и не было нужды. Те, кто жил поближе, ушли домой; выпившие лишку спали в доме; баян затихал, и его последние всхлипы перетекали и сливались с храпом пьяных гостей и, вместе со стрёкотом сверчков и лаем поздних собак, создавали ни на что не похожую симфонию угасающего веселья, нарастающей тоски и неизбежного пробуждения к жизни. В храпе задавали тон басы, их было много, и самые мощные вдруг, достигнув пика, неожиданно обрывались, переходя, видимо, в диапазон инфразвука, и это порождало страх, который гасился, однако, целым набором всевозможных носовых флэйт и гобоев, а те, в свою очередь, радостно всхлипывали и жаловались друг другу и даже готовы были поссориться, но тут вдруг, откуда ни возьмись, раздавалась трель милицейского свистка. Она неслась из-за бани – это свистел во сне участковый милиционер Зиновьев Василий Александрович. Он, в один прекрасный момент обнаруживший, что обнимает и целует пустоту, а желанная Алла куда-то испарилась, завалился на усохшую траву и, засыпая, но не желая мириться с потерей, достал из кармана старый свисток и дул в него на выдохе, подсознанием надеясь призвать сбегавшую Аллу к порядку. Но Алла не возвращалась, и один Бог ведает, где и с кем провела она эту ночь.

А ночь была волшебной. Было по-летнему тепло; полная луна и полная тишина накрыли прибрежный мир огромным невесомым куполом. Птицы уже не пели, обожравшиеся собаки не лаяли, петухам ещё не пришла пора петь. Волшебное! Особенно, когда в голове взрываются алкогольные сполохи, когда



тебе семнадцать, и рядом с тобой девушка, самая красивая сейчас во всём мире, и мир этот освещён такой луной и окутан такой тишиной, а внизу под чёрным обрывом чёрной ргутью течёт Волга, мигают бакены и с потусторонним уханьем уплывает в преисподнюю тёмная баржа, в трюмах которой томятся души самых великих грешников.

Ирка Новикова, свидетельница, не сумевшая разделить со мной очарования этой ночи и уснувшая у меня на плече, вдруг, проснувшись, сорвала с головы милицейскую фуражку и запустила её в низко висящую луну. Фуражка неопознанным летающим объектом скользнула по лику луны и исчезла навеки где-то внизу в зарослях ежевики, где, по слухам, жили гномы, собранные из кусочков душ захороненных здесь бурлаков, разбойников, бродяг и прочей ватажной братии, обильно удобившей откос и берег за последнее тысячелетие.

Глава 3 СВАДЬБА. День второй

Воскресное утро заявило о себе грустным мычанием недоеной соседской коровы и переливами кисельского баяна. Баян будил село Великий Враг бодрой комсомольской песней «Не надо печалиться, вся жизнь впереди». Оптимизм тамады был подкреплён тайком выпитой рюмкой водки и уже накрытым столом с ещё не открытыми бутылками и запахом стерляжьей ухи, расплазавшимся по дому святым похмельным духом.

Откуда взялось вновь такое изобилие? Ведь могло показаться, что все, упившись, уснули, и после полуночи не было никого, кто мог бы подумать о завтрашнем дне. Но это не так. Женщины, любимые наши женщины, казалось, и не ложились спать. Посуда была перемыта, полы подметены, столы перенакрыты. Слава вам, русские женщины!

Заспанные, отяжелевшие, с пересохшими ртами, собирались гости к столу. Тут уже не было высоких гостей – они разъехались ещё вечером, не было и тех, кто разошёлся по близким домам – те ещё спали; не было ещё и невесты с женихом. Первую брачную ночь они провели в доме какой-то близкой родни и не спешили вернуться к столу. Но их и не очень-то ждали. Сами придут, а гости к тому времени опохмелятся и уж встретят их в самом что ни на есть хорошем расположении духа. А второй день свадьбы – это время самых острых шуток, самого безбашенного веселья, и тут уж лучше жениху с невестой совсем не приходиться, потому что всё веселье будет крутиться вокруг первой брачной ночи. И это было непростое испытание для молодых.

Опохмелившись, гости закусывали стерляжьей ухой, хвалили её и хозяйку и спорили о способах её приготовления. Мнения разошлись в вопросе, сколько нужно вливать водки в уже готовую уху. Спорили азартно, ведь почти все оставшиеся гости мужского пола были или считали себя истинными волгарами и специалистами в таких тонких материях. Споря, не забывали вливать водку в себя и закусывать. В конце концов, один из гостей, Владыкин Пётр Кузьмич, захмелевший и подобревший от стерляжьей ухи, отложил ложку и, смахнув со лба пот, громко признался:

– Всё! Обьелся как Папа на поминках! – все засмеялись, ибо знали кто такой Папа, и о нём хочется рассказать особо.

Папа был городской достопримечательностью. Добродушный, совершенно безобидный дебил, дурачок неопределённого возраста, но, несомненно молодой, хотя и лысый, с левой негнущейся ногой, он каждый день обходил город в поисках похорон, а точнее, поминок. Почти каждый день в городе кто-то отправлялся в мир иной, и в последний путь его неизменно провожал Папа. Очень скоро это стало считаться хорошей приметой для покойников, и некоторые родственники иногда даже специально приглашали его. Но чаще Папа сам высккивал усопших. Он подходил к прохожим, складывал руки на груди, запрокидывал голову, изображая покойника, и произносил одно только слово «Жмур». С речью у Паши было плохо, слова не хотели складываться в длинные предложения, поэтому речь его была предельно лаконична и конкретна. «Жмур» – говорил он, складывая руки на груди, и ему указывали направление. Слово это он подхватил у музыкантов, сопровождавших похоронные процессии. Лабухи ходили на жмура, где выдували из помятых труб скорбные звуки, и за гробом, как непрременный талисман, выбрасывая вперёд левую негнущуюся ногу, вышагивал Папа. «Хорошие похороны, повезло покойнику!» – поглядывая на Папу, шептались вездесущие старушки. И если бы случилось чудо и на Папу вдруг снизошёл разум, он бы очень удивился своему столь высокому авторитету. Но сами похороны мало интересовали Папу, за гробом он шёл постольку, поскольку за ними следовали поминки, и после похорон нужно было обязательно попасть в автобус, который отвозил всех в столовую. Это и было настоящей его целью. За столом Папе отводили специальное место, его обслуживали и следили, чтобы он ни в чём не нуждался и, конечно, наливали. Он поглощал какое-то невероятное количество пищи – казалось, желудок его бездонен – но, удивительное дело, Папа никогда не напивался. В какой-то момент он отставлял рюмку, отрицательно

мotal головой и мычал. И женщины уважали его за это и ставили в пример не в меру упившимся мужьям. А городской фольклор пополнился поговоркой «Объелся, как Папа на поминках».

Но Папа прославился не только своим обжорством, и было бы несправедливо остановиться только на этом его таланте. Папа был многогранен, у него были ещё три страсти: он обожал ходить в кино, на демонстрации и кататься на автобусе.

В кино его пускали бесплатно. Когда он входил в зал, в рядах зрителей начиналось оживление. Фильм, как бы ни был он интересен, отступал на второй план, а на первый план выступал Папа. Он скромно проходил в непопулярный первый ряд и, перед тем как сесть, оглядывал зал в поисках знакомых, кои в зале всегда было множество. И кто-нибудь обязательно просил: «Папа, станцуй». Папа начинал отказываться, и зрители, зная эту его черту, начинали наперебой предлагать станцевать, но уже за десять копеек. Алчность вспыхивала в Папиных глазах, наконец кто-то давал монету, и Папа забирался на сцену перед экраном и секунд пятнадцать выдавал такой брэйк-данс с гиканьем и ужимками, что зал валился от хохота. После этого можно было уходить из кинотеатра – после Папи Чарли Чаплин, Луи де Фюнес вместе с Вициным, Никулиным и Моргуновым могли вызвать только слёзы.

Что понимал Папа в фильмах – неизвестно, но киножурнал вызывал у него живой интерес. Обычно он начинался с освещения очередного пленума или подобной ему лабуды, и как только на экране крупным планом появлялось лицо Генсека Брежнева, Папа возбуждённо выкрикивал «Это наш цар!», и зал вместе с ним заливался весёлым смехом.

Общество любило Папу, и Папа любил общество, и поэтому ни ноябрьские, ни майские городские демонстрации не обходились без Папи. Обычно он пристраивался к колонне работников коммунального хозяйства и бодро выпапгивал, выбрасывая вперёд свою негнущуюся ногу. Проходя вместе с демонстрантами мимо трибуны, кричал «Ура!», «Миру мир!», «Слава КПСС!», что было ему вполне по силам. А если в поле его зрения попадал портрет Генсека Брежнева, кричал ещё и «Это наш цар!», чем приводил в умиление шагающих рядом, сантехников и водопроводчиков, уже изрядно принявших к тому времени на грудь.

Откуда взялась у него такая любовь к Генеральному секретарю Коммунистической партии, никто не знал; наверное, было у них что-то общее, объединяющее. Оба были популярны в народе, оба плохо говорили, оба приближались к одной умственной категории, хотя и с разных сторон, оба любили внимание, оба любили кататься, один на лимузине, другой на автобусе, любили поесть, в меру выпить, грудь обонх ломилась – у Папи от значков, у Генсека от орденов и медалей. Популярность Папи, однако, была даже больше, чем у Генсека: он был ближе к народу и народ его лучше знал и больше любил, а Брежнев народ хоть и знал, но любил, как-то меньше, и, к тому же, Папа обладал преимуществом, которого не было у Генсека. Папа знал Брежнева, а Брежнев Папу не знал. И помнят Папу, помнят до сих пор. Старое поколение объясняет молодым, почему так говорят: «Объелся, как Папа на поминках!». А Брежнев? Кто сейчас вспоминает его («Сиськи-масиськи»)...

Рассказ будет несовершенно, если не вспомнить ещё и о том, что Папа был не одинок.

В городе было ещё два знаменитых дурачка, и если не сказать о них, то неполным будет мой рассказ. Таким вот, был ещё Лёша и был Вася с лаптой. Да, Вася с лаптой. Так его и называли. Он был менее известен и менее интересен, потому, что от дома, где обитал, далеко не отходил. В руке он всегда держал лапту и резиновый мячик, ловко лупил им о стену дома и был весьма агрессивен. Все попытки отнять у него мячик заканчивались бегством мальчишек, а Вася, потрясая битой, торжествовал победу. Но Лёша! Лёша был само очарование. Весь оптимизм мира был собран в его улыбке. Вот если бы к нам, мрачным и угрюмым, погружённым в свои проблемы, редко и фальшиво улыбающимся, привить хоть грамм лёшиного лучезарного оптимизма, то мир точно стал бы другим. В нём не нашлось бы места злобе и зависти, алчности и жадности и много чего бы ещё не нашлось, однако я точно знаю, что остались бы только радость, любопытство и жгучее желание жить. Именно это и отражалось на лице Лёши. Жгучее желание жить. Он любил жизнь и автобус. Папа тоже любил автобус и жизнь и, если бы не поминки, то пути Папи и Лёши пересекались бы значительно чаще. Но и эти редкие пересечения оставались в памяти народной. Дело в том, что Лёша как две капли воды был похож на помолодевшего Генсека. Это был крупный брюнет с широким ослепительным лицом, густыми бровями и розовыми мокрыми губами, и Папа, встретившись с ним в автобусе, хлопал себя по коленкам и глубокомысленно изрекал: «Ты цар!». Лёша, однако, не спешил принять лавры Генсека и, ослепляя автобус светлейшей и безмятежнейшей из улыбок, как правило, отвечал: «А ты, ты...». Дальше шёл обмен матерными словами, весёлыми и бессмысленными. Мрачные лица пассажиров автобуса светлели, появлялись улыбки, казалось, будто солнечный, весёлый ангел влетел в автобус, а, может быть, целых два. Но довольно про Папу, про него уже и так достаточно поговорили за столом, поговорили, посмеялись и даже пожалели, что не допускают Папу на свадьбы. Но уж так повелось, на поминки, пожалуйста, а вот на свадьбы ни в коем случае, своих дураков хватает.

Между тем свадьба городская, какой она пыталась быть накануне, легко перевернулась и превратилась в свадьбу деревенскую. И студенты, казалось, никуда не расходившиеся на ночь, с радостным воплем приняли главную её изюминку.



Что главное на второй день деревенской свадьбы? Водка? Нет, ответ неправильный. Песни под баян? Тоже нет. Главное на второй день деревенской свадьбы – это ряженые. Наверное, каждый гость, предвкушая этот второй день, мысленно выбирал себе роль и даже готовился к этому действию. Не верите? Тогда объясните, откуда вдруг взялось столько нужной одежды, косметики, столько репчатого лука в сеточках и гигантских морковок, привязанных к ним. Всё это готовилось заранее, и каждый уже знал, кого он будет изображать и что говорить.

«Ряженые идут!» – этот радостный крик я помню с раннего детства и всегда выбегал смотреть, как идёт по улице весёлая толпа переодетых в женщин мужчин и женщин, надевших мужские костюмы. Клоунская раскраска, разруганные свёклой щёки, губы с запредельным слоем помады, томные подведённые глаза. С каким удовольствием мужики на это время становились женщинами и играли, изображая из себя недотрог или, наоборот, прикидывались распутными бестиями. А женщины, переодевшись мужиками, реализовывали свои самые буйные фантазии. Клепали себе усы, бороды, украшали себя ниже пояса овощами, недвусмысленно заявляющими о гендерной принадлежности изображаемого персонажа. Вся эта компания пела, смеялась, кривлялась и плясала, а если навстречу попадался прохожий, то к нему приставали всей толпой, и не всегда ему удавалось вырваться – чаще налитое угощение вовлекало его в это представление, и он попадал в итоге за стол, забывая, куда и зачем шёл.

А песни, а частушки! Конечно, во главе ряженных шёл гармонист, и пелось такое, что воспроизвести на бумаге нет никакой возможности, бумага сгорит от стыда, сгорит и компьютер, на котором печатается эта глава, да и сам я, чтобы воспроизвести пропетое тогда, должен выпить, чтобы не сгореть, но я не пью и рисковать своей жизнью не стану. Просто поверьте мне на слово, народное творчество в этой области пределов не знает.

Но свадьба Андрюхи и Дины переплюнула и это. Перед домом образовались две группы ряженных. Первая группа состояла из близкой деревенской родни во главе с тамадой Вовой Киселёвым и его женой. Алла, как профессиональный массовик-затейник, навесила на бёдра такого затейника, что окружающие только вздрагивали и всплёскивали руками. Её довольное лицо с усами из мочала сияло, видимо, ночь для Аллы была удачной во всех отношениях, и сотворённый ею овощной аппарат как бы олицетворял пережитые ею ночные приключения.

Вторая группа состояла из студентов и тех гостей, которые хотели когда-то быть студентами. Тут тоже фантазия была через край. Молоденькие, ещё не потерявшие формы студентки и студенты переоделись так, что было трудно отличить, кто есть кто на самом деле. Петька Усов, переодетый и раскрашенный девчонками, превратился в красавицу, а Витька Солдатов вдруг предстал перед всеми такой развратной шлюхой, что выход на панель в какой-нибудь Голландии принёс бы ему немалые деньги. А Нинка, Нинка Пугачёва, симпатичная толстушка, заделалась парнем, на которого посматривали захмелевшие гости женского пола. Возглавляла студенческую компанию Андрей Зубрилов, гитарист от бога с великолепным голосом и хищной внешностью. В расклеванных от бедра брюках, с длинными волосами, виртуозно владеющий гитарой и имеющий голос, настоящий голос, Андрей исполнял всё, от частушек в ритме рок-н-ролла и русских народных песен в стиле блюз до коммунистических и комсомольских гимнов, которые он перекраивал так, что хотелось и слушать, и петь их, чего никогда не случалось, если приходилось слушать эти песни в исполнении Кобзона или Лещенко.

Когда эта компания вывалила за ворота, то увидела на улице замечательную картину. Прямо напротив, словно по заказу, собралась большая собачья свадьба. Толпа кобелей самых ублюдочных мастей и размеров собралась вокруг рыжей суки. Вся эта братия нюхала, чесалась, зевала и по очереди пыталась добиться расположения рыжей невесты. Та лениво огрызалась, когда ей что-то не нравилось, но в общем была благосклонна и принимала женихов. Две свадьбы встретились и замерли напротив друг друга. Надо отдать должное человеку, они повели себя достойно и не стали пугать братьев меньших, они, наоборот, замерли, видимо предвкушая, что дальнейшее развитие событий будет гораздо интереснее, если не пугать животных. Так и случилось. Собачья свадьба, в любовном угаре не почувствовав опасности, просто развернулась и пошла по улице. Женихи сменяли друг друга, не особо способные быстро сходили с дистанции, уступая место более стойким, а Вова Киселёв, задыхаясь от смеха, выводил им вслед на своём баяне популярную песню «Просто я такая», украденную вокально-инструментальным ансамблем «Здравствуй, песня!» у Барбары Стрейзанд. Толпа ряженных, дёргаясь от хохота, дошла по улице до магазина, повернула налево и направилась по асфальту прямо к Волге. Из дворов выходили люди, и скоро уже хотела вся улица. Никто и не заметил, как к толпе присоединились невесты откуда взявшиеся Андрюха с Диной, они тоже смеялись, не принимая на свой счёт этой бесстыдной потехи, актёрски разграничив людьми и натурально прожитой собаками. Животные, как всегда, переиграли человека и выглядели куда более естественно и достойно. Но общего ритма свадьбы это не нарушило, и к вечеру разошлись и разошлись гости, увозя с собой память о такой необычной, богатой и запоминающейся свадьбе.



Глава 4
ЛЮБКА

– Знаешь, за что я тебя полюбил? – спросила меня Верка.

– Ну? – я задумался. Захотелось, чтобы причины были весомы и достойны, и чтобы любовь, вызванная этими причинами, была прочна, как гранит, на котором можно было бы строить здание высокой прочности, пусть даже и не с Веркой.

– Ну? – ещё раз промычал я.

– За твои джинсы!

– О как! – я снова задумался.

– А что? Нравятся?

– Ещё бы! Настоящий Wrangler!

Джинсы были куплены недавно и стоили огромных, по тем временам, денег.

– Ну ты тоже неплохо смотришься на их фоне, ты вообще классная чувиха. У меня, знаешь, лэйблы от штанов остались, наклейки там всякие. Возьмёмшь?

Верка прижалась ко мне и тихо кивнула.

Ох, как хороша была Верка! Девочка карманного формата, с огромными глазницами, умница, удобная, как складной ножик, и добрая, как ирландский сеттер, готовая любить вечно... Ах Верка, Верка, почему ты сейчас не со мной...

– А ты знаешь, – спросила Верка, – что твой друг Андрюха Козлов к Любке приходил и комсомольскую характеристику для работы спрашивал?

Любка, старшая сестра Верки, была освобождённым секретарём комсомольской организации нашего техникума. Старше Верки на несколько лет, она была сделана совсем по другим лекалам, была и покрупнее, и повыше, и посерьёзнее, и посolidнее, впрочем, последние качества вытекали уже из самой должности освобождённого секретаря. Должности, служившей первой ступенью на партийной карьерной лестнице и, при известном старании и удаче, сулившей заоблачные высоты особенно такой красивой девушке, как Любка. А Любка была красива и умна, и многое ей удавалось. Она училась на заочном, и её любили как студенты, так и преподаватели, любили её также молодые референты из горкома комсомола, и сам первый секретарь откладывал все свои дела, когда Любка приходила к нему обсудить текущие проблемы.

– Знаешь или нет? – Верка толкнула меня в бок.

– Да, что-то я уже слышал, – промямлил я, не выдавая на всякий случай своей осведомлённости в данном вопросе.

– Он что, совсем спятил, твой Козлов? Сеструха пришла домой не в себе, задумчивая вся, а за ужином вдруг заржала, как конь, мать напугала. Та ей: Любаша, что с тобой, а Любка отсмеялась и сказала, что Козлов – это конь, вернее сказать, козёл, и такого она себе и представить не могла, и что теперь делать, ума не приложит. Но матери больше ничего не сказала. Я из неё перед сном еле вытянула два слова и теперь сама в задумчивости. Говори, что знаешь? – Верка взяла меня за грудки, в шутку конечно, и, пригнув к себе, поцеловала. – Говори, а то до смерти заделую!

Это она умела, и я был совсем не прочь прикоснуться к вечности, будучи замученным Веркиными поцелуями. Было начало зимы, и мы стояли в подъезде, прислонившись к тёплым батареям.

– Целуй! И когда вместо тебя меня начнёт обнимать Кондратий, я тебе всё расскажу.

– Ну я серьёзно, – сменила тон Верка.

– И я серьёзно! – не сдавался я.

– Ну ладно. До смерти не обещаю, но пощадь не жди!

...Через пятнадцать минут Верка запротестовала.

– Ну хватит, я пошутила! – но мне уже было не до шуток. С трудом возвращаясь к реальности, я подумал о том, сколько же влюблённых пар спасли от нежелательной беременности тёплые подъезды советских хрущёвок. Перейти от поцелуев к более решительным действиям было решительно невозможно.

– Эх, Верка, Верка! – встряхнул я головой.

– Любимый мой! – Верка, уже совсем было размякшая в моих руках, тоже с трудом приходила в себя.

– Ну расскажи, пожалуйста!

– Ладно, – согласился я. Продолжать начатое поцелуями дальше просто не имело смысла, и лучше от всего этого было чем-нибудь отвлечься. Но знал я немного. Андрей, обзаведясь семьёй, отдалился, и дружба наша понемногу угасала. А знал я только, что устраивается он в церковь звонарем и просил не трепаться об этом.

– Классно! Но маловато для интриги. – Верка разочарованно провела по моей щеке пальцем. – А давай ты мне будешь рассказывать всё, что от Андрея узнаешь...

– А ты мне будешь рассказывать, что узнаешь от Любки. Идёт?

– Идё... – договорить ей помешали мои губы.



Глава 5.
ЗАЯВЛЕНИЕ

Верка училась в областном университете и, хотя и была знакома с Андрюхой и со многими моими друзьями, в числе приглашённых на свадьбу не оказалась и многого не знала. В то время мы только приглядывались друг к другу. А Андрюха после свадьбы переехал в просторный дом Дининых родителей, и перед ним в полный рост встала главная семейная проблема – на что жить? Беременность серьёзно усложняла эту проблему. Новость про беременность не вызвала восторга у родителей молодожёнов, впрочем, и серьёзного огорчения она не вызвала тоже. «Мы, конечно, поможем, но полностью сесть на нашу шею не позволим, раз уж вы такие взрослые», – единодушно заявили они. И Андрюха задумался. Две стипендии по 36 рублей – итого 72, маловато для начинающей семьи, даже для двоих. А родится ребёнок, сколько денег понадобится? Выход один – искать работу, но впереди – диплом, и бросать учёбу совсем не хотелось, значит, не полноценная работа, а подработка. Но кто возьмёт молодого здорового, но ничего не умеющего парня даже на простую работу? Проблема!

Андрюха загрустил. Он уже и дворником ходил устраиваться, но не взяли; места лаборантов в техникуме, на которые он так рассчитывал, тоже были заняты. Хотел было грузчиком на железнодорожную станцию устроиться и даже целую неделю туда ходил и чего-то там грузил, но тамошняя команда мужиков оказалась сильно пьющей, и он в неё по молодости лет не вписался, а Дина, как-то раз учуяв запах бормотухи от мужа, и вовсе запретила ему туда ходить и правильно сделала. Загрустил Андрюха. И вот однажды, возвращаясь с занятий, он встретил на улице батюшку, чей дом стоял напротив и соседствовал с церковью. Батюшку звали отец Сосипатр. Смешное это имя с удовольствием произносили все жители села мужского пола, разделяя его небольшой паузой на две части ровно посередине. Как бы весело это ни звучало, но этимологические составляющие имени совершенно неосознанно вычленились ими правильно, а как звали батюшку на самом деле, мало кто знал.

Отца Сосипатра пригласили было на свадьбу, но он отказался, заявив, что к невенчаным на свадьбу не пойдёт, а о венчании в то время не могло быть и речи.

– Здравствуй, Андрей!

– Здравствуйте! – Андрей смутился, не зная, как обратиться к священнику.

– Хорошее у тебя имя, Андрей! Апостольское! Брата апостола Петра так звали и сам он апостолом был. Что грустный такой?

– Андрюха, общительный по натуре, легко купился на батюшкину лесть и выложил ему всё как на духу.

– Бог даёт дитяти, даёт и на дитяти! – резюмировал батюшка и в лоб спросил: – Звонарём в церковь пойдёшь?

– Это как? – у Андрюхи даже челюсть отвисла.

– Да вот так! – Батюшка оценивающе посмотрел на крепкого телом Андрюху. – Был у меня звонарь, да стар стал, не может больше на колокольню бегать, а прихожане-то, сам знаешь, одни старушки, да старички. А кто покрепче, так те далеко от храма живут. Да ты не бойся, не сложно это. Отзвонил заутреню и на учёбу пошёл, на праздники какие отзвонить тоже не сложно, это же не у станка стоять, работа, можно сказать, творческая и Богу угодная, да и с домом, однако, рядом.

– Да не умею я! – Андрей аж раскраснелся от такого предложения.

– Это поправимо, сын мой, я тебя научу.

– А Вы-то что, сами не можете?

– Могу, конечно, нас в семинарии и этому обучали. Но мне ведь службу справлять надо, не могу я и там и тут быть. Платить тебе буду 120 рублей, как инженеру, ты подумай.

– Я, я ... я подумаю, с женой посоветоваться надо.

– Это правильно, посоветоваться с женой надо. И мне ведь не самому эта мысль в голову пришла, мне ведь матушка моя подсказала, она все новости в селе знает.

– Так Вы знали...

– Знал, конечно! Да ты не смущайся, богоугодное дело делать будешь.

– Но ведь я вроде как в Бога не верю.

– А ты сам-то это точно знаешь?

Андрюха смутился.

– Да вроде как нет его...

– Да что ты всё заладил, вроде как да вроде как, а я тебе так скажу: чего нет, того и назвать нельзя. Говоришь Бог, значит есть Он! Просто ты ещё не пришёл к нему, иные всю жизнь пути к нему ищут, а к тебе он сам идёт. Ну как?

– Дайте подумать!

– Думай. Только думай быстрее, скоро Рождество Христово, а за праздничные дни я премиальные плачу.

– Вот здорово! Только бы Дина согласилась, это же не фуньку на железнодорожной ветке жрать и...



120 рублей плюс премиальные, да плюс две стипендии по 36 рублей – это же 192 рубля плюс премиальные. Да мы богачи! А что тесть скажет и тёща, они же коммунисты, чёрт бы их побрал. А! По фигу! Мне жену кормить надо и ребёнка. Если будут против, пускай сами платят 120 рублей в месяц, только хрен они заплатят, кулутуры, – слово это Андрей услышал недавно, вроде как жадные они, но не были тёща с тестем жадные, только ценили труд ижитое трудом. А вообще деды и бабки их староверами были, жили тут же за Волгой на речке Керженец, кержаки, одним словом, и кулутуры.

Дина с уже округлившимся животом и непрекращающимся токсикозом сказала только:

– Слава Богу, что не на станцию!

Родители Дины как-то двусмысленно хмыкнули, переглянувшись.

– Ну что ж, может оно и правильно!

А Андриюхины родители сказали просто:

– Иди, раз платят.

– Я, – сказал отец Андрея, – за 135 рублей вкальваю, и мать твоя 90 получает, а ты сразу 120 и плюс стипендия, и чтобы планку эту не снижали! – и добавил, адресуя неизвестно кому: – Сволочи!

На следующее утро Андриюха постучал в дверь дома отца Сосипатра. Батюшка предстал перед Андриюхой в самом что ни на есть мирском виде. На нём были никулинские треники с выпученными коленками, в треники была заправлена клетчатая рубашка с длинными рукавами, застёгнутая на все пуговицы, а из-под густой бороды на рубашку выбегала жёлтая цепь, которая удерживала от падения возлежащий на большом животе массивный крест. «Неужели золотой?» – подумал Андрей. Батюшка жевал что-то огуречно-чесночное, а за его спиной кипела жизнь. Батюшка был весьма плодовит, и четверо детей, мал мала меньше, считали пространство дома своим личным пространством и заправляли в нём от пробуждения до отбоя. А отбой батюшка Сосипатр организовал сообразно вере, а также долгу советского человека и личному предпочтению. Ровно в девять вечера, сразу после телевизионной программы «Спокойной ночи малыши», тот, кто не желал «отбиваться», шёл к батюшке и читал «Отчешаш!», а слишком распалившимся батюшка подбрасывал «Апрельские тезисы», после чего дети клялись быть послушными и быстро засыпали в своих кроватках.

Но сейчас было утро, и батюшка, дожёвывая, приглашал Андриюху в дом.

– Андрей! – воскликнул он. – Не ждал так рано!

– Так на занятия нужно идти. – Андриюха, смущаясь, вошёл в дом.

– Давай, давай, проходи! Тут у меня как бы кабинет и бухгалтерия вся. А ну идите к мамке! – батюшка подтолкнул вон двух мальцов, норовивших забраться в кабинет вслед за взрослыми. – Может, чайку? Нет? Давай, садись! Ну что, согласен? Что жена сказала?

– Да всё нормально и Дина не против.

– Ну тогда давай будем всё оформлять. Вот тебе листок, вот ручка, пиши заявление.

– Какое заявление? А разве нужно заявление?

– Ну, конечно, нужно, ты же на работу устраиваешься. Всё должно быть по закону и официально.

– А что писать?

– Пиши: Заявление. Точка. На имя Крылова Леонида Марковича. Так меня зовут. Прошу принять меня, Козлова Андрея... как тебя по отчеству? Иванович? Козлова Андрея Ивановича на должность оператора музыкального сопровождения в Храм Казанской иконы Божией Матери. Точка. Число. Подпись.

– И всё?

– Ну да, только к заявлению нужна ещё комсомольская характеристика с места учёбы.

– А-а?!

– Порядок такой, Андриюша, не мы его придумали, не нам его менять.

– А дадут мне такую характеристику, да ещё в церковь?

– Будешь настырным, ещё и не то дадут. Ну, иди!

И Андриюха пришёл к Любке. Нет. Не так. Сначала Андриюха пришёл к Вовке Бузакову, который был нашим главным комсомольцем в группе, и, пригрозив расправой в случае разглашения тайны, выложил свою просьбу. Вовка поклялся молчать и, немало посмеявшись, в просьбе отказал и категорично отправил Андриюху к Любке.

В этот день у Любки было явно плохое настроение. Ну что-то было не так в тот день в её жизни или девичьем здоровье, а может что-то другое, кто знает, только мрачной была Любка.

Даже не взглянув на Андрея и не предложив ему сесть, Любка спросила:

– Ну что у тебя? – больше всего ей хотелось, чтобы этот Козлов исчез, растворился, а она осталась одна в этой маленькой комнате, и чтобы никто не мешал ей пережить приступ головной боли.

– Люб, а Люб! – заблеял Козлов, – характеристика мне нужна на работу.

Любка подняла голову:

– На какую работу?

– Звонарём в церковь, в Храм Казанской иконы Божией Матери в Великом Враге!



– Ты что, Козлов? – зло прошипела Любка; голова у неё раскалывалась. – Шутить, что ли?

– Не шучу.

– На работу? Звонарём?

Любка помотала головой, словно желая избавиться от наваждения.

– Да, на работу. Дина беременна, деньги нужны! Люб, ты чё? – страдание на лице Любы вдруг отвердело, спина выпрямилась, и она поглядела на Андрея, как женщина с плаката «Родина мать зовёт!».

– Люб, ты чё? – ещё раз спросил Андрей.

– Козлов, ты что, верующий? – Любка с трудом подавила желание укусить Козлова прямо в его наглаую упругую щёку.

– Не, Люб! Ты чё! Просто деньги нужны, Дина беременна...

– Так, так, так! Дина беременна, а ты хочешь на работу? А ты что, в бога веришь, Козлов?

– Да! Нет! Нет! Ты чё, Люб! Мне характеристику нужно. Бузаков к тебе отправил.

– Характеристику, что ты классный комсомолец, регулярно платишь взносы, читаешь основоположников, всегда и везде поддерживаешь линию партии и комсомола, ни в бога, ни в чёрта не веришь, а хочешь только за верёвки дёргать, деньги получать и... В общем, подожди Козлов, подумать надо, – Любка вдруг ощутила себя на переднем фронте идеологической борьбы, и борьбу эту надо было развернуть в свою пользу.

Несмотря на головную боль, Любка в критические дни своей биографии умела быть собранной и не принимать скоропалительных решений и потому твёрдо и серьёзно сказала:

– Вот что Козлов, ты приходи завтра, а ещё лучше послезавтра, и тогда окончательно решим, а сейчас не могу, мне в горком комсомола срочно нужно.

– Люба! – Андрей умоляюще поглядел на неё, – и мне срочно надо!

– А почему такая срочность?

– Рождество Христово скоро, а мне ещё курс обучения у батюшки пройти нужно.

Освобождённый секретарь комсомольской организации нефтяного техникума Любовь Юрьевна Храмова, поёжившись от этих слов, спросила:

– А как зовут... – она уже хотела сказать попа, но неожиданно для себя произнесла: – батюшку?

Глава 6 ГОРКОМ

Люба не соврала. Во время разговора с Андреем ей и впрямь срочно захотелось в горком комсомола. Да и к кому пойдёшь с такой проблемой – не с мамой же советоваться. А в том, что это серьёзная проблема, Люба поняла сразу. Ещё не вступив в партию коммунистов, Люба уже обладала мощным партийным чутьём. Написать комсомольскую характеристику для церкви, не заручившись согласием первого секретаря городского комитета комсомола, она никак не могла. Ошибка в таких вопросах могла стоить дальнейшей карьеры, а в будущее Люба давно решила двигаться, опираясь исключительно на общественную работу, сначала комсомольскую, а потом и партийную.

Однако в горком она не пошла: мешала головная боль, к тому же рабочий день уже заканчивался, и Любка направилась домой, чтобы отдохнуть и хорошенько всё обдумать.

Утром, направляясь в горком, Люба уже знала, как ей преподнести звоняря-комсомольца Козлова с максимальной выгодой для себя. Утренний зимний воздух и ходьба поднимали настроение, и в здание горкома Люба вошла посвежевшей, раскрасневшейся от лёгкого морозца и чертовски привлекательной в своей новенькой дублёнке, дёшево доставшейся ей по знакомству от одного горкомовского референта, давно уже поглядывавшего на неё. Комсомольская работа уже начинала приносить первые материальные плоды. Референт доставал Любе косметику, обувь, а недавно продал по дешёвке настоящие джинсы «Super Rifle», конфискованные им у одного спекулянта во время комсомольского рейда по городскому рынку. Но на работу хитроумная Люба джинсы не надевала: негласная этика не позволяла появляться комсомольской богине в столь явно буржуазном прикиде, и большую часть времени джинсы проводили в шкафу. Сестре Верке, не имевшей джинсов, строго-настроено запрещалось прикасаться к ним, и она чёрной завистью завидовала сестре. Да и не могла она их надеть, потому что носила одежду на два размера меньше.

Здание горкома комсомола находилось в центре города, в пятнадцати минутах ходьбы от техникума, на площади, где сосредоточилась вся городская и районная власть. В центре площади перед зданиями горкома и райкома стояла огромная фигура Ленина, смотрящего на восток, за Волгу. Ленин, подавшись из распахнутого пальто вперёд, указывал правой рукой в Сибирь, явно намекая теснившимся за его спиной зданиям, а точнее обитавшим в них, на их возможную судьбу. На двух этажах горкома комсомола располагались: отдел пропаганды и агитации, отдел по работе среди учащейся и студенческой молодёжи, отдел по работе с пионерами, организационный отдел, отдел комсомольских организаций, отдел рабочей молодёжи, отдел культурно-массовой работы, отдел учёта и статистики, информационно-методический

отдел, организационно-политический отдел, социально-экономический отдел, отдел физкультуры и спорта, отдел по работе на селе. В этом постоянно растущем списке отделов не хватало только отдела разведки и контрразведки, отряда спецназа и отдела по борьбе с инопланетянами; впрочем, отряд спецназа заменял Оперативный Комсомольский Отряд, чей штаб находился тут же. Отделы делились, как инфузорины, количество их с каждым годом росло, и конца этому не было видно. По коридорам сновали с папками молодые комсомольские секретари и секретарши, в кабинетах стучали пишущие машинки, готовились отчёты и планы, составлялись протоколы заседаний, рапорты, акты и ведомости, писались справки, проводились пленумы, конференции, заседания бюро, отделов и комиссий и так далее, и так далее. Работники горкома комсомола – бездельники высшей пробы – были, как один, энергичны, упитанны, самоуверенны, умели правильно говорить, имели связи во всех организациях города и района. Проникнуть в их среду случайный человек не мог по определению; чтобы попасть туда, нужно было пройти длинный путь от первичной комсомольской организации и соответствовать многим требованиям. У них давно выработался свой особый язык, была своя манера говорить, походка, одежда. Горкомовцы, райкомовцы и обкомовцы узнавали друг друга в любом обществе по особым приметам, как принадлежавшие к особой высшей касте, и даже в служебные машины они садились, как-то по-особому, не как простые смертные. «Комсомольцы, как евреи – одна большая и дружная семья», – любил говорить Борька Соколов, заведующий отделом агитации и пропаганды, и Борис Наумович знал, что говорил.

Войдя в горком, Люба сразу же направилась к первому секретарю. В предбаннике кабинета стучала на машинке секретарша Таня Золина. Увидев Любку в шикарной дублёнке, она с удовольствием отметила, что её дублёнка лучше.

– У себя? – спросила Люба, указывая взглядом на дверь в кабинет.

– У себя, – с лёгким презрением ответила Таня. – А ты что, без записи?

– Да дело срочное, Танюша, – с таким же лёгким презрением ответила Люба, скользнув взглядом по невыдающейся Таниной груди. Поймав Любкин взгляд, Таня сказала:

– Так хоть позвонила бы! – и как бы невзначай выставила из-под стола свою ножку в югославском сапоге.

– Звонила, так у вас всё время занято. – Любка распахнула дублёнку, под которой обнаружили розовый батник и шёлковый шейный платок. Таня острым взглядом разглядела на батнике две маленькие вышитые английские буковки, бросила стучать на машинке, достала свою сумочку и, копясь в ней, как бы случайно уронила на стол пачку сигарет «Marlboro» и начатую пачку жвачки. Люба вздохнула и тоже полезла в сумочку, из которой достала небольшой изящный косметический набор явно советского происхождения, подаренный ей старательным референтом, и подошла к зеркалу. Таня несколько нервозно извлекла из сумочки тюбик губной помады. Помада хоть и была польской, но издалека это было не заметно. Люба, прищурив нос, достала из сумочки умопомрачительный блеск для губ и тонкой палочкой с поролоном на кончике провела по губам. Это был «контрольный выстрел в голову», и Таня, зашвырнув польскую помаду в сумочку, не глядя на Любку, ударила по клавишам пишущей машинки и пропела ледяным голосом сквозь зубы:

– Занят Сан Палыч.

Но тут дверь кабинета распахнулась, и появился сам первый секретарь горкома комсомола Васильков Александр Павлович, а для своих просто Сан Палыч.

Глава 7 САН ПАЛЫЧ

Прежде чем стать первым секретарём, Санька Васильков прошёл сложный и извилистый жизненный путь. Первым серьёзным событием на этом пути стала кража пяти рублей из кошелька матери. Это случилось много лет назад, когда Санька учился во втором классе. Став обладателем несметного по тем временам богатства, Санька со своим дружкой Геркой Смирновым отправился в городскую магазин «Культоварь» прожигать жизнь. В «Культоварах» они купили модель фюзеляжного планера, который ещё нужно было собрать, лобзик с комплектом пилок и переводные картинки с изображением самолётов общей стоимостью 2 рубля 15 копеек. Потом прожигатели жизни направились в магазин «Хозтоварь», где был приобретён складной нож за полтора рубля, затем посетили магазин «1000 мелочей», где разжились маленьким подарочным сундучком из анодированного алюминия за 80 копеек. Потом на их пути встал продуктовый магазин «Ласточка», где, вошедшие во вкус, юные нувориши купили четыре брикета сухого вишнёвого киселя на 24 копейки и две бутылки лимонада на 30 копеек. На оставшуюся копейку хотели купить коробок спичек, но продавщица, усомнившись в благих намерениях растратчиков маминной пятёрки, спичек не продала. Наевшись сухого киселя и напившись лимонада, довольный жизнью Санька спрягал сокровища под диваном, не думая о последствиях. А они не заставили себя долго ждать.

Продавщица магазина «1000 мелочей» знала и Саньку и его маму и очень удивилась, когда на вопрос, откуда у него такие деньги, услышала, что их дала мать. Удивилась и засомневалась. По её мнению,



не могла одинокая Санькина мамаша, работавшая шпукатуром на стройке с зарплатой 67 рублей новыми деньгами, дать Саньке аж целый рубль на покупку такой ненужной дряни, как подарочный сундучок из анодированного алюминия. Вечером того же дня она и поделилась с ней своими сомнениями.

Как мать лупила Саньку, слышал весь двор. Под окнами их квартиры, находившейся на первом этаже, собралась вся дворовая детвора и удовлетворённо комментировала каждый Санькин вопль. В соседнем подъезде, но этажом выше, лупили Герку, но его воплей никто не слышал, потому что окна их квартиры выходили на другую сторону дома.

Удивительно, но экзекуция самым положительным образом подействовала на Саньку Василькова. Он стал лучше учиться, прочитал Гайдара, стал командиром октябрятской звёздочки своего класса. Уже тогда за серьёзность его стали в шутку называть Сан Палычем. Побывав однажды хозяином жизни, почувствовав вкус денег и их чудесную власть над миром, Сан Палыч уже никогда не забывал этого. Не забывал и того, что даже ничтожная власть командира октябрятской звёздочки приносит гораздо большее удовлетворение, чем деньги. Ещё вынес из детства Санька, что за нарушение закона всегда следует неизбежная кара, но можно всё иметь, закона не нарушая, и потому налегал на общественную работу, был активным пионером, а затем и комсомольцем, и давно было им замечено, что власть, даже самая маленькая, притягивает к себе и деньги, и уважение, а также материальные шутки, малодоступные прочим смертным.

– Люба, Любушка, что ж ты не заходишь, дорогая? А я смотрю в окошко: идёт! Ну, думаю, ко мне – и ведь точно ко мне. Заходи, заходи. Танюша, сваргань-ка нам чайку или лучше кофейку. – Сан Палыч подошёл к Любе, протягивая руку для приветствия. Люба пожалала руку, отметив про себя, что она тёплая и сухая, и вошла в кабинет. Следом вошёл Сан Палыч и закрыл обитую дерматином дверь.

– Какая ты! – восхищённо причмокивал Сан Палыч, помогая Любе снять дублёнку. – Прямо глаз не оторвать! И что ж привело освобождённого секретаря комсомольской организации славного нефтяного техникума в нашу скромную обитель? – Люба открыла было рот, но Сан Палыч замахал руками. – Молчи, молчи, о делах потом! Сначала кофейку – у меня растворимый импортный, Валентина Моисеевна из Горторга подбрасывает. – Сан Палыч подошёл к селектору и нажал кнопку. – Танечка, как там водичка, закипела? Ну неси чайник, а кофе мы тут сами заварим.

Вошла Тая. В руках у неё был поднос, на котором как Таж-Махал возвышался красивый фарфоровый чайник. Из-под крышки Таж-Махала вилась тонкая струйка пара. Тая поставила поднос на стол и, не взглянув на Любу, вышла. Сан Палыч открыл стенной шкаф и достал оттуда банку растворимого кофе, коробку конфет «Грильяж в шоколаде», сушки, белую сахарницу, две мельхиоровых ложечки, а из холодильника извлёк картонную пирамидку со сливками.

– Может, коньячку? – Сан Палыч вопросительно взглянул на Любу.

– Что ты, что ты! – запротестовала Люба.

– Ну и правильно, – согласился Сан Палыч. – Я и сам на работе не люблю! Ну тогда кофейку!

Люба согласно кивнула.

– Только мне без сахара.

– Ох, Люба, Люба! Ты бы только знала, как нелегко сегодня живётся. – Сан Палыч колдовал над чашками. – Слышала, наверное, что Петраш с Феофановым учудили. А ведь нам расхлёбывать, нам ответ держать! И как нам сейчас в обкоме отчитываться? Мы бы загасили, но ведь у этого дурака Гальперина и на обком, как оказалось, выход имеется.

Сан Палыч не сомневался, что история эта Любке известна, как известна всему городу, и совсем не интересовало его мнение Любки, как освобождённого секретаря комсомольской организации, а интересовало его исключительно – возбудится Любка или нет. Очень хотелось Сан Палычу, чтобы Любка возбудилась. Возбуждение женщины Сан Палыч ощущал остро и всегда стремился вызвать его в женщине независимо от того, какая женщина была перед ним в данный момент. Это, вызванное им, возбуждение, Сан Палыч ощущал физически по одному ему известным признакам, по изменению неуловимых запахов, по особому блеску глаз, по движениям тела, по смущению или отсутствию оно, и воспринимал его, прежде всего, как победу личную, физиологическую и только потом как победу идеологическую, но обе эти победы он ставил превыше всего в своей жизни и часто путал их местами. Вот и сейчас, разливая кофе, Сан Палыч поглядывал на Любу, стараясь определить степень её возбуждения.

Любовь Юрьевна Храмова, молодая, красивая, умная и очень амбициозная, прекрасно знала, что от неё хотят, и совсем не планировала портить отношения с главным комсомольцем города и потому изобразила возбуждение ровно на столько, чтобы Сан Палыча не сорвало с катушек, и ровно на столько, чтобы у Сан Палыча сохранилась способность мыслить и выслушать проблему. К тому же историю Петраша и Феофанова она знала куда лучше и детальнее, поскольку оба персонажа учились в её техникуме. И надо без ложной скромности сказать, что эта история действительно возбуждала её очень сильно, как и всякую молодую женщину. А случай с Петрашом и Феофановым был чрезвычайно прост и остался бы незамеченным, если бы дура Гальперина не поделилась восторгом со своей тёткой, а тётке той было столько же лет, сколько и Гальперинной, и, в общем, всё забурило и потекло.

Глава 8
ПЕТРАШ И ФЕОФАНОВ

Так что же там случилось с Петрашом и Феофановым? О господи, да ерунда! Два балбеса, получив стипендию, решили отметить это дело в городском ресторане. Банально, скучно, скажете вы? Да, банально и скучно. Так же банально и скучно они сняли даму, то есть скучную такую даму, скучную настолько, насколько может быть скучной пьяная дама, ничем не интересная и даже намного старше их, и, конечно, на всё согласная. Даму отвели в квартиру Феофанова, чья мать работала в тот день в ночную смену, и до утра предавались чудной любви втроем. Резвились, пока хмель не покинул этот тройственный союз, и утро не развело всех троиц по своим углам.

Однако, муж дамы, пришедший под утро типа с дежурства, обнаружил, что ягодицы и спина его родной жены, вернувшейся незадолго до него, разрисованы, и не хохломскими узорами, а фашистскими свастиками с непонятными английскими словами. Нарисовано и написано это было фломастером, который никак не хотел смыываться. Муж слегка смутился и потребовал объяснения. Дама долго не понимала, чем недоволен её любимый, пока с помощью нехитрой системы зеркал сама не увидела свою спину. А увидев, вспомнила, как лёжа на Феофанове, чувствовала поглаживание по спине, и это поглаживание доставляло ей дополнительное неземное блаженство.

Всё объяснялось просто: пока под дамой трудился Феофанов, Петраш, чтобы развлечь себя, сначала просто водил пальцем по спине и ягодицам доброй женщины. Потом его голову пронзила яркая, как молния, мысль, использовать для этой цели импортный японский фломастер, замеченный им на письменном столе студента Феофанова. Вооружившись этим чудом японского ширпотребя, он, прежде всего, написал на спине дамы название любимой рок-группы «Led Zeppelin», потом мысль его неожиданно поменяла направление. Петраш вдруг решил, что он штурмбанфюрер СС Штирлиц, выполняющий опасное задание партии прямо в логове врага, и чтобы не выдать себя и не провалить явку, просто обязан доказать свою верность рейху нанесением фашистской символики на тело радистки, имя которой он так и не удосужился узнать. Спина дамы немедленно украсилась свастиками разного размера. В охватившем его азарте Петраш вознамерился было дойти до женских лодыжек, но когда он закончил роспись ягодиц, дама вдруг испытала сильнейший оргазм, задёргалась, закричала, и Петраш понял, что задание партии выполнено.

Муж дамы простым болевым приёмом быстро добился признания в измене. Дама, вся в слезах, на коленях вымаливала прощения и клялась, что это бес её попутал, и была, в общем-то, права. В жизни никто и никогда не мог бы и мысли допустить, что строгая, принципиальная и совершенно неприступная председатель профкома второй городской автобазы Гальперина Ирина Александровна способна на такое. А в ресторане просто отмечали день рождения подруги, и после шампанского с водкой и портьейна с пивом, выпитых в чрезмерном количестве, Ирине явился бес, а дальнейшее она плохо помнит.

И всё бы закончилось хорошо, если бы не муж. Гальперин Михаил Аркадьевич принадлежал к довольно редкому типу советских идиотов, которые свято верили в идеалы родной партии и свою жизнь, в том числе и семейную, возводили, руководствуясь моральным кодексом строителя коммунизма. Недавно принятый в партию, он с гордостью носил звание коммуниста и ежечасно старался доказывать свою верность и преданность коммунистическим идеалам и, оказавшись вдруг в такой щекотливой ситуации, понял, что настал момент эту преданность реально доказать. Неверность жены неприятно царапала своими рогами партийное сознание Михаила Аркадьевича, но по-настоящему его возмущали проклятые фашистские знаки и непонятные иностранные слова: именно в них таилась угроза всему существующему советскому строю, и именно этого никак не мог потерпеть возмущённый разум Михаила Аркадьевича.

На следующий день, ни секунды не сомневаясь, он пришёл на приём к секретарю партийной организации второй городской автобазы, на которой работал слесарем пятого разряда. На счастье или на беду там как раз проходило заседание парткома, однако это нисколько не смутило слесаря, и он, как на исповеди, выложил всю историю перед партийными товарищами, напирая на то, что этих двух мерзавцев, фашистских вырожденков, нужно непременно найти и примерно наказать. Скучная партийная жизнь второй городской автобазы с дежурными собраниями и отчётами тут же наполнилась ярким смыслом и сочным содержанием. Партийные товарищи во главе с секретарём поблагодарили Михаила Аркадьевича за проявленную партийную бдительность и пообещали разобраться, а после его ухода заперлись в кабинете и до обеда пребывали от хохота в истерическом состоянии.

Смех смехом, но нужно было что-то репать. Понимая, что неофит-идиот коммунист Михаил Г. не успокоится, пока не удовлетворит свою благородную ярость, решили действовать. По показаниям неверной жены и работников ресторана Петраша и Феофанова довольно быстро вычислили и завели на них уголовное дело, но не за пьяный разврат, а за пропаганду фашизма, что было гораздо серьёзней и могло окончиться реальным сроком, не говоря уже об изгнании их из комсомола и техникума. Студент Петраш, кстати, божился, что, рисуя свастику на заднице Ирины Александровны, он вовсе не имел в виду фашистов, а просто изображал символ солнца, используемый в буддизме много тысячелетий, но следователь припротизил, что добавит ему ещё и обвинение в религиозной агитации.



Ирина Александровна, почувяв, как из иерихонской блудницы она в один момент, как Золушка, превратилась в жертву нацистской пропаганды, скромно встала на сторону мужа. При этом всю историю она тайком рассказала во всех подробностях своей тётке, особо упирая на то сказочное неземное удовольствие, которое она испытала впервые в жизни. «Два молодых жеребчика, это тебе не баран чихнул, это, Тонька, надо испытать каждой уважающей себя женщине, после такого и жить стоит!» – Тонька с завистью вникнула этому откровению и тут же представляла себя на месте Ирины Александровны.

Вся эта история чёрной тенью легла и на комсомольскую организацию техникума, и на горком партии и грозила вырасти до областного масштаба. Михаилу Аркадьевичу намекнул, что он может собственноручно набить морды фашистским молодчикам, опозорившим его жену, и что сами молодчики вроде бы не против такого решения проблемы, но принципиальный идиот настаивал на законном суде. Приходилось действовать от обратного и призывать именно к партийной совести идейного дурака, убеждая его, что враг не дремлет, но ждёт и ищет слабину в рядах коммунистов и что предание широкой огласке этого дела будет на руку Пентагону и всему мировому империализму и сионизму. А ему, как истинному борцу с мировым злом, нужно не выносить сор из социалистической избы, а навести порядок в своём доме самому, не привлекая внимания продажной буржуазной прессы, которая только и ждёт, как бы посильнее очернить самый справедливый строй в мире. И Михаил Аркадьевич потихоньку сдавался.

– Влепим мы строгача с занесением твоей жене, а тебе благодарность объявим тоже с занесением в личное дело. К Новому году премию подкинем, и не в деньгах дело, Аркадьич, а в том, что совесть в тебе партийная живёт, совесть коммуниста и советского человека! – от этих слов Михаил маел и уже готов был согласиться, но вдруг вставали перед его взором фашистские знаки на заднице жены и непонятное слово «Led Zerpel» промеж лопаток, и снова волной вскипала ярость благородная и в голове пульсировало «Фашисты проклятые!».

– Судить их надо нашим коммунистическим судом!

– Да ты подумай сам, ну засудим мы их, а на следующий день ВВС и Голос Америки завоюют от радости и разнесут этот факт по всему свету, да ещё перевернут и разукрасят так, что мало не покажется, это ж тебе не мешок овса украсть, тут, брат, идеология! Пока всё на уровне слухов и сплетен, народ поговорит, поговорит и забудет, а если суд, тут брат и тебе достанется, как это ты, коммунист, не доглядел! Ведь ты коммунист?

– Коммунист! – вскидывал голову Михаил и недобро глядел на председателя парткома Пахомова Викторовича.

– И оно тебе надо? – в общем, хоть и медленно, но дело сдвигалось в нужном направлении.

Всё это Люба знала и невольно сама иногда представляла себя на месте Ирины Гальпериной, и становилось стыдно, и тут же кровь начинала пульсировать внизу живота, наполнять его негой, и Люба вдруг осознавала, что, оказавшись она в такой ситуации, вряд ли бы у неё хватило твёрдости долго сопротивляться молодым нахалам.

Сан Палыч мгновенно почувствовал, что Люба размякла, и блаженно вздохнул.

– Ну как кофеёк?

– Хороший у тебя кофе, Саша! – Люба, оставаясь с первым секретарём, наедине называла его по имени, и это очень нравилось Сан Палычу, поскольку уводило общение от официоза в сторону интима. Он подсел поближе, слегка приобнял Любу за плечи и тихо, почти как близкий друг, спросил:

– Ну, что у тебя произошло? Рассказывай.

Глава 9 ДВА СЕКРЕТАРЯ

– Серьёзное дело, Саша! Есть у меня студент по фамилии Козлов. Может, слышал?

– Это тот, на чьей свадьбе весь Великий Враг гулял и полтехникума?

– Тот самый! Пришёл он вчера под вечер ко мне и стал просить комсомольскую характеристику на работу. Жена, говорит, у него беременная и стипендии не хватает.

Люба замолчала, отхлебнула кофе, развернула конфету и с трудом откусила белоснежными зубами грильяж в шоколаде.

– А почему он к тебе за этим пришёл, а не к Бузакову? – Сан Палыч обладал прекрасной памятью и знал в городе всех, даже самых маленьких, комсомольских вожаков.

– В том то и дело, что не стал Володя Бузаков писать ему характеристику, а ко мне направил!

Люба опять замолчала, потягивая кофе. Она любила вот так, не сразу выложить всё, а вызвать напряжение неопределённости, интриги: это сразу придавало вес даже самой маленькой проблеме. Но и Сан Палыч был опытным бюрократом и нетерпения своего просто так не выказывал. Он прихлёбывал кофе, не убирая руки с плеч Любы, и ждал продолжения. Лицо его стало чуть ленивым.

– Слушай, я совсем забыл, у меня же зефир в шоколаде есть! Хочешь?



– Всё-то у тебя, Саша, в шоколаде! – улыбнулась Люба. – Неси!

Сан Палыч встал, порылся в шкафу и достал коробку зефира.

– Дефицит! Угощайся!

Любе очень хотелось, чтобы Сан Палыч первый спросил про Козлова, это означало бы её маленькую победу, но ей совсем не хотелось, чтобы Сан Палыч проявил слабость. Мужчину его собственная слабость раздражает, это она знала хорошо; ей просто хотелось проверить себя, как она умеет владеть ситуацией и контролировать её. Неплохо было бы и охмурить Сан Палыча, ведь он молод, красив и, самое главное, перспективен. Быстро растёт, и ходят слухи о скором переводе его в обком комсомола. Но замужество было лишь одним из возможных путей карьерного роста для Любы, и пока она не рассматривала его слишком серьёзно, рассчитывая больше на силу своего обаяния и опыт общественной работы. Ох, если бы могла Любка хоть одним глазком заглянуть в будущее, то непременно охмурила бы Сан Палыча, все свои женские чары применила бы, всеми своими коготками вцепилась бы в него и не отпускала, потому что в девяностые годы стал Сан Палыч самым крупным в стране предпринимателем, совладельцем и главой нефтяной компании и одним из богатейших людей в мире.

«Хороша Любка! – думал Сан Палыч, срывая целлофан с конфетной коробки. – Умна, красива, перспективна и чистая ещё, не порченная. Не шалава типа Таньки, но если жениться, так ведь её наверх тянуть придётся и о себе не забывать, а это хлопотно. С ней карьера может притормозиться или даже совсем остановиться, если под себя подомнёт. Нет, это не вариант. Два секретаря, как и два соловья на одной ветке, не сплуются. Ночку с ней провести ещё можно, но жалко её обламывать, жалко ей голову морочить. Кто знает, как её карьера сложится, вон она какая бойкая, так и рвётся наверх. Наживать себе врагов просто так не стоит, а в обкоме есть замечательные кандидатки из приличных семей, одна Анжелка чего стоит, дочка секретаря партийной организации областного автозавода, не красавица, конечно, да и не так умна, как Любка, но ведь не красотой единой жив секретарь горкома. Ждёт Любка, что я первый про Козлова спрошу, ну что ж, самоутверждайся, Любка, мешать не буду!».

– Ну что там с Козловым-то произошло? Рассказывай, не молчи, Любушка!

– Что-то не везёт мне в последнее время, Саша. То Петраш с Феофановым картину портят, что с ними делать, ума не приложу. – Люба опять замолчала.

– Утрясается всё, Любушка, это ж не только твоя проблема, всем эта история поперёк. Выгоним их из комсомола на радость Гальперину, а через полгода, когда всё забудется, обратно примем, как исправившихся, – успокоил её Сан Палыч.

– А теперь вот Козлов! Пришёл он ко мне и просит комсомольскую характеристику для работы. Ты не поверишь, звонарём в церковь устраивается наш Козлов, а поп без комсомольской характеристики его на работу не принимает. Я чуть на шпагат не села, когда это услышала. Вот к тебе пришла за советом, не могу же я самостоятельно такие вопросы решать. Что скажешь?

Нахмурился Сан Палыч, убрал руку с плеча Любы, поставил чашку на стол, встал, подошёл к окну, посмотрел на припорошённого снегом Ленина и, не глядя на Любу, сказал:

– Правильно сделала, Люба, что сразу ко мне пришла. Правильно! – потом повернулся к Любе и вдруг рассмеялся. – Ай да отец Сосипатр! Ай да Леонид Маркович! Ну даёт семинария!

Люба от удивления широко раскрыла глаза.

– Вы разве знакомы?

– Люба, Любушка, дорогая, не так много у нас в районе действующих церквей – одна всего, и настоятелем в ней протоиерей Крылов Леонид Маркович, первому секретарю горкома комсомола это знать полагается. А что твой Козлов, что он за человек, какой он комсомолец?

Люба часто заморгала длинными ресницами.

– Да как все, не самый активный, но от комсомольской работы не отлынивает. В прошлом году он с Ерыпаловым стенную газету выпускал, лучшая была в техникуме. Песни с тем же Ерыпаловым сочиняет и под гитару их поют оба.

– Что за песни?

– Песни про студенческую жизнь, про любовь. Наивные смешные песенки, ничего серьёзного и крамольного. Но сейчас ему не до песен. Женился осенью, жена Дина, тоже хорошая серьёзная девушка, учится на строительном отделении. Она ребёнка ждёт, вот Козлов и суетится.

– Что ж он другой работы найти не мог?

– Да кто ж его возьмёт на временную работу, молодого и неумелого!

– Так уж и неумелого! По крайней мере, детей делать уже научился твой Козлов!

– Это, Саша, дело не хитрое, – Люба улыбнулась.

– Ох, не хитрое, Люба и очень даже приятное! – засмеялся Сан Палыч, обошёл Любу и положил свои тёплые сухие руки ей на плечи.

– Ну что, поможем Козлову? – от ухоженных рук Сан Палыча шёл запах кофе и какого-то незнакомого



и очень приятного парфюма. Люба, пытаясь взглянуть на Сан Палыча, повернула голову вверх и как бы невзначай задела подбородком пальцы его правой руки, и пальцы эти едва заметно напряглись.

– Так ведь церковь, Александр Павлович. – Люба встала, давая понять, что хорошего понемножку.

– Церковь, Любушка, хоть и отделена от государства, но в советском государстве находится, а значит, нашему советскому государству принадлежит, и работают там, а точнее сказать, служат, такие же советские люди, как и мы с тобой. И служат они так же, как и мы, на благо нашего социалистического строя. Их работа хоть и отличается от нашей, но я бы не сказал, что принципиально. Вот подумай сама, почему церковей хоть и немного, но они есть, и никто их закрывать не собирается? Значит, нужны они. Мы, конечно, не приветствуем, чтобы наш советский народ в бога верил, но в соответствии с конституцией не запрещаем. А почему? Да потому что это невозможно запретить. Церковь тысячи лет существует, и за это время такие глубокие корни пустила в сознании людей, что нам их оттуда за шестьдесят лет никак не выкорчевать. А нашей власти всего шестьдесят лет. Мы хоть и сотворили нового советского человека, верящего в коммунизм, но вера эта покоится на скрытом фундаменте, имя которому вера в Бога. Стоит только ослабить нашу власть, и куда народ побежит, думаешь, в партком? Нет! Он в церковь побежит! Поэтому в церкви должны служить наши простые советские люди, верящие в коммунизм так же, как они верят в Бога. И служить так, чтобы наша власть не ослабевала, – закончив говорить, Сан Палыч подмигнул Любе.

Люба настороженно слушала.

– Не понимаю я тебя, Саша, к чему ты клонишь. Значит, можно Козлову характеристику писать?

– То, что я тебе тут говорю, должно остаться между нами. Это не секрет, но лучше, чтобы знали об этом поменьше, а характеристику мы Козлову напишем, если он достойный комсомолец. Но только в данном случае это не просто делается, тут есть нюансы. Ты торопишься?

– Нет.

– Тогда подожди немного.

Глава 10

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Сан Палыч подошёл к телефону, нажал кнопку и сказал в трубку:

– Станислав Вениаминович, это Васильков беспокоит. Станислав Вениаминович, тут одна очень интересная проблема возникла, можем мы к тебе зайти? Мы – это я и Любовь Юрьевна Храмова. Да, секретарь комсомольской организации нефтяного техникума. Хорошо, спасибо, идём.

Сан Палыч с Любой вышли из кабинета, прошли по коридору и остановились около двери с маленькой бронзовой табличкой «Фомкин С.В.». Не успели они постучать, как из-за двери готовно донеслось: «Прахадите!». Сан Палыч пропустил Любу первой, зашёл следом и закрыл дверь. Люба опять оказалась в предбаннике, очень похожем на предбанник Сан Палыча, только за столом сидела не Таня Золина, а рыжеволосая и конопатая Полина Полякова. Она была небольшого роста, имела грудь пятого размера, крутые бёдра, выпирающую попку, осиную талию, да и сама напоминала осу, особенно, когда надевала жёлтую кофточку и чёрные расклеванные от бедра брюки. За созвучность имени и фамилии и за выдающуюся внешность Полина Полякова имела множество других имён, но чаще её имя и фамилию сокращали до простого ПоПо или ещё проще Попа. Однако редко кто из горкомовцев произносил это слово громко, чаще тихо, вполголоса, потому что была она секретаршей самого Фомкина, а он, в свою очередь, имел должность ответственного секретаря. За что нес ответственность секретарь Фомкин, никто не знал, но каждый догадывался.

Попа приоткрыла дверь в кабинет, заглянула и, давая дорогу гостям, снова сказала:

– Прахадите.

Слово это с характерной поляковской интонацией, столь отличной от местного волжского оканья, гуляло по кабинетам и коридорам горкома и повторялось по случаю и без. На этот раз Сан Палыч вошёл первым. За столом сидел мужчина явно некомсомольского возраста с седым ёжиком волос и не славянской внешностью. Лицо его украшали консервативные очки в роговой оправе, выбритые до синевы щёки и тонкие, сжатые в узкую полоску губы, которые при виде вошедшей красавицы Любы немедленно растянулись в улыбку, обнажая частые, мелкие зубы. Он привстал, протягивая ей руку. Люба пожалала её. Рука Фомкина оказалась холодной и влажной. Затем он пожал руку Сан Палычу и спросил:

– Ну, с чем пожаловали? Присаживайтесь.

Сан Палыч сначала выдвинул стул для Любы, потом присел сам. По должности он был выше Фомкина, как-никак первый секретарь, но, входя к нему в кабинет, всегда ощущал неловкость, дискомфорт и подступавшее к сердцу чувство тревоги, однако никогда не показывал этого и старался соответствовать своему положению первого, и потому вёл себя просто, но без панибратства. Отношения между ними давно установились равные, доброжелательные, но не сказать, чтобы тёплые. Впрочем, тёплые отношения у Фомкина были только с грудью секретарши Полины и со своей мамой.

– Станислав Вениаминович, – начал Сан Палыч, – нагрянула сегодня ко мне Любовь Юрьевна с неожиданным визитом и с проблемой: нужно одному студенту характеристику на работу написать, да не на простую работу, а в церковь звонарем. Сомневается Любовь Юрьевна, может ли она такую характеристику писать, – Фомкин откинулся на спинку стула и заулыбался.

– К Леониду Марковичу, к батюшке Сосипатру? В церковь старинного русского села Великий Враг? Какие красивые места! Кинематографические места! Вы знаете, там новый фильм собираются снимать, а режиссёром сам Андрей Кончаловский! Вы смотрели его «Романс о влюблённых»? Вы, кстати, знаете, что он – сын Сергея Михалкова, автора гимна Советского Союза? А что там в церкви у Леонида Марковича произошло? Что, Степан Фёдорович уже не может на колокольню бегать? Да-а-а, старику уже под семьдесят, наверное. Вы, Люба, можете смело вашему студенту характеристику писать, его фамилия, кажется, Козлов.

– Да, Козлов Андрей – произнесла ошеломлённая Люба и, слотнув что-то в пересохшем рту, добавила, – Иванович.

– Да, Иванович – брезгливо скривил рот ответственный секретарь. – Только давайте вот что сделаем, Вы мне сейчас бумагу подпишете о неразглашении всего, что Вы здесь услышите, а потом дальше разговор продолжим.

Фомкин достал заранее приготовленный бланк и ручку с золотым пером – он терпеть не мог шариковых ручек – и подвинул всё это Любе.

– Вот, заполните, распишитесь. Замечательно! – он убрал бумагу в несгораемый шкаф и, покопавшись в нём, достал толстую папку с завязанными тесёмками и положил её лицевой стороной вниз.

– Итак, Любовь Юрьевна... – Станислав Вениаминович развязал тесёмки, – Кто тут у нас? Любовь Юрьевна? Нет? Нет! Ага! Тут у нас Крылов Леонид Маркович, настоятель и протоиерей Храма Казанской Иконы Божией Матери в селе Великий Враг, родился тогда-то, окончил Ленинградскую Духовную семинарию тогда-то, женат, четверо детей, сотрудничает с органами с такого-то года, в антисоветской агитации не замечен, звания пока не имеет, так это не важно, это тоже не важно, награды!?... тоже пока не важно. В общем, Любовь Юрьевна, отец Сосипатр, а в миру Леонид Маркович Крылов, наш человек, наш простой советский человек! – он закрыл папку, аккуратно завязал тесёмки и убрал её в несгораемый шкаф. – Теперь о характеристике! Вы, Любовь Юрьевна, отличный комсомольский работник, и то, что Вы пришли к нам с этим вопросом, как раз это и доказывает. А ведь Вы могли бы просто послать этого Козлова куда подальше, и тогда бы человек обозлился, затаил обиду на нашу власть, стал бы слушать по радио вражеские голоса, читать разные самиздатовские книжонки и стал бы потеряннным для государства человеком, угодил бы в лучшем случае в тюрьму или в психбольницу, а теперь Козлов станет честным советским гражданином, я абсолютно уверен в этом. Вы, Любовь Юрьевна, спасли Козлова. Давайте договоримся так: Вы свяжетесь с ним и объясните, что характеристику ему Вы напишете прямо здесь в горкоме, в присутствии первого секретаря. Вы придёте с ним сюда, ко мне в кабинет, и мы быстро всё устроим как надо. Вы согласны со мной, Александр Павлович?

Сан Палыч закивал головой:

– Ну конечно, Станислав Вениаминович, я и сам так думал, потому Любовь Юрьевну к Вам и привёл.

– Любовь Юрьевна, и не затягивайте, прошу Вас, оставьте другие дела и займитесь Козловым!

– Да он и сам торопится, Станислав Вениаминович!

– Ах да, да! Ведь скоро Рождество Христово, а ему ведь и подучиться надо! Сможете завтра? Приходите завтра! Только позвоните обязательно! И помните, какую бумагу Вы подписали!

ЭПИЛОГ

Отпумели Новогодние праздники, наступил новый 1979-й год, и у студентов техникума началась сессия. Андрея я видел редко, да и то мельком. Видел его озабоченного, спешащего с зачётной книжкой в руках, а то встречал его в коридоре с какими-то свёртками. На вопрос «Как дела?» он чаще всего отвечал односложно – «Всё в порядке! Ништяк!» – и пробегал дальше. На вопрос про работу отвечал уклончиво, мол, работаю там же, куда и устраивался, то есть в церкви звонарем, и просил не трепаться об этом. И никаких подробностей! Дружба наша совсем угасла, и если бы не Верка, которая по крупицам вытягивала из своей сестры хоть что-то, то ничего бы я не узнал. Вся эта история раскрылась гораздо позже по прошествии нескольких лет, когда советская власть уже трещала по швам. Только один раз в первых числах января 1979 года Андрей сам поймал меня в коридоре и сказал:

– Ерыпалов, приходи седьмого утром в церковь.

– Почему седьмого? – Не понял я.

– Ты чо, Ерыпалов, ведь Рождество Христово, я Благовест звонить буду с перезвоном. Меня батюшка натаскал!

– Лучше бы он тебя по массообменным процессам натаскал, – усмехнулся я.



– Приходи, послушаешь! – глаза Андрея сияли, он совсем не заметил моей иронии.

– Посмотрим! Может, и приду. А когда там у тебя всё начинается?

– Да часов в восемь приходи.

Я поёжился, вставать рано утром в воскресенье по такому поводу не хотелось.

– Ладно! Подумаем!

Вечером я всё рассказал Верке. Она вдруг пришла в сильное возбуждение.

– Конечно, пойдём! Обязательно пойдём! Это же интересно! К тому же воскресенье, экзаменов нет, значит, пойдём! И, Ерыпалов, попробуй только у меня проспать! – пригрозила она.

Воскресное утро седьмого января 1979 года было ясным, морозным и тихим. Город спал. Дождаться автобуса в такое время было бесполезным занятием, поэтому было решено добираться своим ходом. Мы прошли по центральной площади мимо стынущего в лёгком пальтишке Ленина, затем немного по Казанской трассе и, чтобы сократить путь, свернули налево и пошли по полю по протоптанной в снегу широкой тропе. Я удивился, когда увидел, что на тропе мы не одни. Впереди нас уже шли люди. Чёрные фигурки, хорошо заметные на белом поле, двигались в направлении Великого Врага. Я оглянулся назад и увидел, что со всех сторон спящего города к этой снежной тропе по одному, по двое тоже стекаются люди, потому что это был единственный короткий путь в село. Тут же в тишине раздался тихий далёкий звон.

– Козлов! – остановившись, восторженно сказала Верка, и снег сильнее захрустел под её сапожками. Звук колокола становился всё громче, морозный воздух доносил звуки неискажёнными, но чистыми и хрустальными. «Бом, бом, бом! К нам! К нам! К нам!» – слышалось в этом звуке.

Показалась церковь; в её маленьких позолоченных куполах уже запуталось январское солнце и не желало покидать их. Оно по очереди поджигало золочёные кресты, и чёрные вороны, разбуженные светом и звоном, недовольно каркали с покрытых инеем берёз. Люди подходили, крестились и входили в открытые двери церкви. Над всем селом стоял размеренный звон благовеста. Около церкви скопилось довольно много народу; мы подошли и, задрав головы, пытались рассмотреть на колокольне Козлова, но он был невидим. Было видно только, как раскачивается колокол, как натягивается верёвка, но сам звонарь был скрыт деревянными частями колокольни.

– Ты крещёный? – спросила Верка.

– Да, бабушка крестила, когда мне было полтора года. А ты?

– И я крещёная, зайдём? – предложила она. Я отрицательно покачал головой и указал на стоящих около церкви молодых людей в пыжиковых шапках, пристально наблюдающих за всеми, кто входил в церковь.

– Эти точно не Рождество праздновать пришли!

И вдруг колокольный звон изменился. К размеренному бою большого колокола добавился звон маленьких колоколов. «К нам! К нам!» – продолжал гудеть главный. «К нам, к нам, только к нам!» – зазвенели младшие. «Только к нам, только к нам!». «Все к нам, все к нам! Только к нам, к нам, к нам!».

– Ух ты! Здорово! Ну Козлов даёт! – Верка вытягивала голову, пытаясь всё же рассмотреть на колокольне звонаря.

– У Андрюхи отличный слух и хорошее чувство ритма, уж я-то знаю! – сказал я. Мне стало приятно, что там наверху именно мой друг выдаёт такие сложные пассажи, жаль только, что вокруг никто, кроме Верки, об этом не знал. Все, стоящие около церкви, тоже не ожидали такого перехода и удивлённо поднимали головы на колокольню. Многие крестились. Послышались голоса: «Новый звонарь у батюшки. Хорошо звонит!». А Андрей не унимался, всё время усложняя ритм и подмешивая к перезвону новые голоса, и, в конце концов, зазвучало нечто-то радостное, рвущееся в небо, от чего захватывало дух.

Тут к нам подошёл молодой человек в тёмной куртке и пыжиковой шапке, всё время безотрывно смотревший на нас.

– Ребята, вы что тут делаете?

– Да так, пришли посмотреть.

– Идите домой, ребята, и к экзаменам готовьтесь, а тут вы только проблемы на свою задницу найдёте. Идите, идите!

– И не посмотреть пришли, а послушать! – разозлилась Верка.

– Мы что-то нарушаем? Нарушаем? Там, на колокольне, между прочим, наш друг! Слышите, как звонит, слышите?

– А как фамилия вашего друга?

– Козлов его фамилия! Андрей Козлов!

– Минуточку... – пыжиковая шапка отошла к двум другим таким же пыжикам и что-то им сказала. Те посмотрели на нас и отвернулись, потеряв к нам всякий интерес.

– Пойдём внутрь, – потянула меня Верка. – Я же никогда не была в церкви, только совсем маленькой и не помню ничего.

– Я тоже.



Стоять на морозе было холодно, джинсы «Wrangler» совсем не грели. Мы подошли к двери. После яркого утреннего солнца за проёмом входных дверей открывалась чернота, она вбирала входящих людей, как чёрная дыра проглатывает материю, попавшую в её гравитационное поле и погружая её в новый, не видимый и не доступный снаружи мир. Чернота была влажной, тёплой и таинственной, как материнская утроба, от неё веяло воском, ладаном и человеческим потом. И, как в материнскую утробу, хотелось в неё войти, хотелось ещё раз проделать тот же путь, что и при рождении, но уже пребывая не в младенческом бессознательном возрасте, а осознавая, чувствуя и откладывая всё это в памяти до самого последнего дня в этом мире. Сзади послышался голос: «Ну что встали, проходите или не мешайте. Справа кто-то тихо сказал: «Шляпку снимите!» – и легонько подтолкнул меня в спину.

БАХТИЯР АМИНИ

СЕАНС ТЕРАПИИ

*

лагерь беженцев –
готовят в одной кастрюле
свинину и говядину

*

хаос в голове
слежу за движениями мухи
в комнате

*

нежданная встреча
совсем не к месту
дежурные слова

*

кардиограмма –
качает головой врач
вверх и вниз

*

сеанс терапии
уже в который раз
закипает чайник

*

сильный ветер
учится выпрямляться
молодой тополь

*

бумажные самолётики
нелепо спотыкаются
мысли о земле



*

бессонница
удерживаю взглядом
луну

*

подсолнухи
смотришь пристально
не туда

*

что нового?
приподнимает пар
крышку кастрюли

*

прогноз погоды
не помню зачем
звонил тебе

*

аллергия
атеист чихает:
«Альхамдуллилах!»

*

медленный танец
забегают вперёд
мысли

*

озеро рядом с домом
дают мастер-класс
канадские гуси

*

стая ворон
поле возле дома
меняет цвет

*

телефонный звонок
безбожно фальшивит
попугай

*

поле цветов
выхожу не на своей
остановке



*

Годовщина
мальчишка ищет себя
в свадебном альбоме

*

Твои письма
летят недалеко
бумажные самолётики

*

чайхана –
лучшая новость
погода на завтра

*

ночной улов
в рыбацкой сети –
полная луна

*

бессонница
тяжелее неба
ресницы

*

трудное решение
во всех направлениях –
ветер в голове

*

на минуту
сливается с полумесяцем
крест на куполе

*

калейдоскоп
на полную катушку
радуга

*

шаги соседки
подобрался незаметно
аромат кофе

*

рождение ребёнка
осваиваю
язык ангелов



*

старые письма
читаю теперь
между строк

*

горный родник
у моего отражения
особый вкус

*

незнакомый цветок
дай-ка назову тебя
именем дочери

*

восточный рынок
в голосе продавщицы
пряные нотки

*

раннее утро
растворились в чашечке
мысли

НАТАЛЬЯ ГРИНБЕРГ

ДИВАН В СТИЛЕ ВИКТОРИАНСКОЙ ГОТИКИ

драма в двух актах

Родителям посвящается

Действующие лица:

БОРИС: эмигрант, инженер-электрик, владелец электромонтажной компании

НАТАША: жена Бориса, учительница фортепьяно

БЕН: их сын, родившийся в США

АНЯ: молодая женщина, похожая на Бориса

МАРК: отец Ани, бухгалтер

ЛАРИСА: мать Ани

РИЧАРД: муж Ани, хирург

ТОЛЯ: эмигрант

МАРИНА: его жена

АДВОКАТ АУЭРБАХ

ВАЛЕТЫ: работники по обслуживанию жильцов дома в Майями, эмигранты из Латинской Америки.

МЛАДШИЙ (МВ)

СТАРШИЙ (СВ)

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК в инвалидном кресле, с деформированными, скрюченными и парализованными конечностями и языком, не помещающимся во рту (МЧ)

ОТЕЦ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА (ОМЧ)

АГЕНТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ (АПН)

Количество исполнителей зависит от фантазии режиссёра и постановочных возможностей театра.

АКТ 1

Сцена 1

Наше время. Спальня в многоэтажном доме в районе большого Майями. На полу стоят упаковочные ящики. На передвижной вешалке висят платья. На столе лежит стопка обувных коробок и платков. Два валета поднимают диван и несут к двери из спальни.

МЛАДШИЙ ВАЛЕТ. Стой! Да не пройдёт эта бандура через проём.

СТАРШИЙ ВАЛЕТ (*Держа диван на весу*). Куда она денется! Всегда кажется, что ни за что, а потом тютельница в тютельница. Увидишь. Молодой ты ещё, неопытный.

МВ. Зато у меня глазомер хороший.

СВ. Разворачиваемся. Ты уже. Иди первым, а то я заслоню весь проём.

Валеты разворачиваются и приближаются к дверному проёму, но диван оказывается чуть шире.

СВ. Рекогносцировка. Опускай это старьё.

МВ. Тс-с. Ещё услышит.

СВ. Ну и услышит. И что?

МВ. Чаевые урежет.



СВ. Говорю же, молодой ты и неопытный. Я с наследником договорился чётко. Что я, дурак тащить такие фиговины, а потом подобострастно смотреть в глаза? Наследники ж обычно не понимают: сколько давать, кому, где. Слепые котятя. Тыкаются, тыкаются, мяукают! Это твоя первая «нулёвка»?

МВ. «Нулёвка»?

СВ. Ну, я их так называю. Полная очистка квартиры после похорон и всяких там друтих дел и бумаг.

МВ. Нулёвка! Надо же! Живут люди, наряжаются, причёсочка, губки накрашены, а потом смотришь – батюшки, везёт санитарка на инвалидном кресле развалину. Что-то серое, трясётся, трубки кислорода в носу, на последнем издыхании, покупай место на кладбище, а то поздно будет. Но миссис Зацепкина! Подумать только! Я её не видел несколько месяцев. Ну, не видел и не видел. Мало ли что... а потом – уже не помню, кто рассказал. Ты, может, и рассказал, что она вытворила. У меня в голове не укладывается, как она решилась!

СВ. Я? Я рассказал? Что я тебе рассказал? Глазомер у него хороший... Молодой ты ещё. Не всё, что кажется, вяжется. Понял. Заключения полиции или кого там ещё... Врача.

МВ. Патологоанатома.

СВ. Во-во... Так что... Вопрос открыт... Фишка в чём при нулёвке? Никто из наследников ничего не знает.

МВ. Это же их сын. Как же он ничего не знает?

СВ. Сколько ты у нас в здании работаешь? Год?

МВ. Почти.

СВ. Видел раньше сына Зацепкиных?

МВ. Ты думаешь мы всех видим?

СВ. Я здесь десять лет работаю. Знал ещё самого мистера Зацепкина, пусть земля ему будет пухом. Какие чаевые давал! Остановится, поговорит, как с равным, советы даст, подарочную карточку на праздник. На рождество – благодарственную открытку и наличными прилично. И гладит свою собачку. Как любил, как любил её! То солнышком, то зайчиком, то мальчиком назовёт, и слёзы умиления в глазах. Но... ни мистер Зацепкин, ни миссис ни разу даже не намекнули, что у них есть взрослый сын. За десять лет через мои руки не прошло ни единого срочного письма, ни посылки, ни цветочка на День Матери. Думаю, на её похоронах сына тоже не было. Когда он, наконец, приехал, даже не знал, как в здание зайти. Естественно, я ничего не спросил, мол, где ты был? Столько времени прошло, как она... Ну... Не хочу лишний раз... У меня кошмары по ночам от вида... осколки, кровь размазана... в гараже. Ну как же она так... Ну как? Как это получилось? И так поворачиваю в голове, и сяк. Не могла она нарочно так сделать. Не такой она человек.

МВ. Да, загадка... *(Осматривает диван, измеряет его ладонью, потом измеряет дверной проём балконной двери).* Наверное, этот диван через балкон внесли. Та дверь пошире будет. Поднимай.

СВ. Куда ты спешишь?

МВ. У меня лекция по квир-теории через полтора часа. Пока переоденусь, пока в пробке простою. Давай, взяли – сделали.

СВ. На что тебе эта квир-теория сдалась?

МВ. Гарантия получить «отлично». Я ещё намекнул, что подумываю стать женщиной, так профессор передо мной чуть ли не на колени стал.

СВ. Женщиной? Боже, до чего ж учёба доводит! Квир-теория, ну ты дал. А по мне, что с ней, что без неё – одна хрень. Дверь пассажиру открой, руку подай, дверь закрой, машину на парковку отвези. Всё равно они имени нашего даже не знают, даром, что на униформе написано. С квир-теорией, что ты с ней делать-то будешь?

МВ. Ну не скажи. Не всю жизнь я машины парковать буду да сумки подносить. Я, между прочим, отличник и на работу в отдел кадров мечу.

СВ. Ну... Тогда понятно. Для отдела кадров квир-теория необходима. Дочь рассказала.

МВ. *(Смотрит на диван).* Взяли?

СВ. Взяли.

Поднимают диван и несут к балконной двери. Боком просовывают почти весь, но он опять застревает.

СВ. Отбой. Всё. Эта херня никуда не влазит. А, может, проёмы влагу океанскую впитали с тех пор, как диван внесли в эту спальню?

МВ. Так они же металлические! Надо отвёртку найти. Снять дверные карнизы. Несколько дюймов добавится к проёму.

СВ. Ну ты дал. А потом наследник скажет, что мы напортачили ему здесь на тысячи долларов. Молодой ты ещё. Так: мы этот раритет ставим на место, и пусть он сам отвинчивает, снимает, втискивает, что хочет и как хочет.



МВ. А часвые?

СВ. Он интеллиГЭнтным выглядел. Даст!

МВ. А вдруг нет?

СВ. Смотри, я без всякого колледжа усёк, что русские бывают трёх типов. Взять болтунов, например. Думают, чем громче говорят, тем их английский понятней. Кукарекают, кукарекают, квохчут. Кто их знает: радуются они, наставление читают или жалуются? Но прижимистые – ужас. Потом есть нормальные, ну как мистер Зацепкин... Как будто здесь родился, но чуть больше интереса к нам, и часвые – вдвойне.

МВ. А третий тип?

СВ. Я ж сказал. ИнтеллиГЭнт.

МВ. Разве ж это плохо?

СВ. Вроде и придраться не к чему, но мыльный пузырь. Никогда не торгуются. Боятся, наверное, что лопнут от унижения.

Ставят диван на место. МВ осматривает его с видом знатока. Трогает антикварную резьбу.

МВ. Это не современная подделка. Настоящий. Конец XIX-го века.

СВ. Боже, какая труха.

МВ. Эта труха нас переживёт. Чем старше, тем дороже. Она может нашу годовую зарплату стоить.

СВ. Скажешь тоже!

Валеты уходят, тихо переговариваясь. Слышен громкий голос СВ за сценой и голос БЕНА. На сцену входит БЕН. Обходит диван вокруг. Садится на него, зажимается на долгое время, потом рывком достает телефон. Пытается сообразить, кому звонить в таком случае и вздрагивает, когда телефон начинает звонить сам.

БЕН (В телефон). Хелоу... Да, я понимаю. Вернее, я не понимаю. Этот чёртов диван. Ни в одну дверь не влезает. Но если он стоит в комнате, то как-то же он сюда попал? Папа... (Спотыкается на слове «папа». Пауза.) Отец... Он мог вещи из двух чемоданов в один уложить. Это у него бзик такой был. Впихнуть больше, чем другие. (Пауза.) Завтра. Покупатели приходят в десять утра на инспекцию, а это, pardon my French, произведение устаревшего искусства, предстанет пред ними во всей мешающей им красе. Увидят, вожжа под хвост попадёт и не подпишут окончательную сделку. Будут душу мотать, выторговывать тысячу здесь за неудобство, тысячу там за опасность поцарапать карниз... Да. В записке к завещанию. Там написано: «Антикварный диван в стиле викторианской готики конца XIX века, особо ценный».

Появляется НАТАША.

НАТАША (Обращается к зрителям). Мы его приобрели вскоре после того, как Бен женился и, естественно, он стал свидетелем крушения наших надежд, споров, увещаний, рыданий, снотворного забытья, молитв и смерти. Но от дивана так же, как от Бена, нельзя было добиться ответа. За что? За что? (Уходит со сцены.)

БЕН (Продолжает говорить по телефону). Что мне с ним делать? До десяти утра его нужно убрать. Хоть с балкона бросай! На этот счёт не волнуйся – на балкон он тоже не влезает. Просто наказание какое-то... Ну ладно. Завтра. (Кладёт телефон в карман. Внимательно рассматривает все стены, окна и проёмы, чуть ли не нюхает штукатурку. Укладывается на пол и рассматривает строение ножек дивана, издавая звуки неудовлетворения.) Завтра в десять. (Громче.) Завтра в десять. (Ещё громче.) Завтра в десять! (Встает, плюхается на диван и обхватывает голову руками.)

Мелодичный звонок в дверь удивляет Бена. Через короткий промежуток звучит ещё один звонок.

Сцена 2

Несколькими неделями ранее. Частный дом Браунов. АНЯ разбирает почту, сидя за столом в домашнем кабинете. Перед ней мусорное ведро. В высокой стопке письма и реклама. Некоторые конверты она выбрасывает, не раскрыв, некоторые разрезает специальным ножичком, просматривает и складывает в аккуратную стопку. Один конверт, вложенный в другой конверт, привлекает внимание Ани, и она его долго рассматривает. В комнату входит РИЧАРД, на ходу застёгивая рубашку и заправляя её в брюки.

РИЧАРД. Как всегда, когда погода хорошая, в больницу вызывают.

АНЯ. Возвращайся побыстрее. С Сэмиком в зоопарк пойдём. Он бредит аардварком. Что за животное, его даже разглядеть нельзя в сумерках пещеры.



РИЧАРД. Ну, только если пациент решит умереть до зоопарка...

АНЯ. Не надо так шутить.

РИЧАРД. В больнице нельзя шутить, дома нельзя шутить. *(Подходит сзади к Ане, чтобы поцеловать в шею. Показывает на запечатанный конверт.)* От кого?

АНЯ. Непонятно. Адрес вроде от руки написан. Он был вложен в другой конверт, от компании или адвоката какого-то.

РИЧАРД. Реклама. Не теряй время. Выкинь. Я пошёл.

АНЯ *(Целует его, потом разрезает конверт и разворачивает письмо. РИЧАРД направляется к выходу. АНЯ читает вслух.)* Здравствуйте, я ваша тётя.

РИЧАРД. Я же сказал. Опять нигерийцы балуются. Что пишут? Дайте, мол, номер счёта, чтобы наследство перевести в ваш банк?

АНЯ. Письмо по-русски.

РИЧАРД. Чтобы лучше в доверие втереться. Брось. Не трать время.

АНЯ. От руки написано. Почерк красивый, как у мамы. Буковка в буковку. У них в школе предмет такой был, чистописание.

РИЧАРД *(паясничая)*. Дорогая племянница, ты меня не знаешь, но я тебе оставляю пятьдесят миллионов долларов в наследство. Ешь апельсины, рябчиков жуи, и как там у вас дальше... *(Потирает руки.)* Ой, построим свою больницу где-нибудь в глухой деревне. В Гомеле, например. Хомель? Гамель? Буду абorigineнов лечить.

АНЯ. Не паясничай.

РИЧАРД. За что ты меня любить будешь тогда?

АНЯ. За вредность. Вот поедем в Гомель и увидишь, что вовсе это не деревня, а европейский город. Вот и «тётя» пишет, что она из Гомеля.

РИЧАРД. Да какая на фиг тётя? У тебя ни тёть, ни дядь нет! Дай прочитать. *(Возвращается и пытается забрать у Ани письмо.)*

АНЯ. Так на русском же. Обожди, там ещё что-то есть. *(Вынимает несколько фотографий из конверта.)* Хм. Это я в два года. У родителей такая в альбоме есть. *(Переворачивает фотографию.)* Дорогому дяде Борису от Анечки.

РИЧАРД. Подделка. Дай сюда.

АНЯ. Да обожди ты.

РИЧАРД. Борис? Был в давние времена мультфильм такой «Борис и Наташа».

АНЯ. Да не Борис, а Борис.

РИЧАРД. А тётю Наташей, небось, зовут?

АНЯ *(Смотрит в письмо)*. Как в воду глядел. Наташа.

РИЧАРД. Да выброси этот мусор. Мошенники такие умные стали в наше время, но на всякого мудреца довольно простоты. Надо ж, Борис и Наташа. Дай сюда. Я скормлю эту бумагу шредеру. *(Приводит ногой шредер.)*

АНЯ. Обожди. *(Рассматривает вторую фотографию.)* Женщина напоминает мне кого-то. И мужчина тоже. Где-то я его видела.

РИЧАРД *(Берёт у Ани фотографию, рассматривает)*. Интересно. Хм-м-м. Посмотри на меня. Теперь в профиль. Ясно. Ты его не видела.

АНЯ. Я лучше знаю, кого я видела, а кого нет. Лицо мне его знакомо.

РИЧАРД. Это две разные вещи: «лицо знакомо» и «видела». Лицо тебе точно знакомо. Ты что-то подобное каждый день видишь. В зеркале. Борис действительно на дядю тянет. Сфотошопили лицо мужчины с твоего. В интернете нашли твою фотографию, пропустили её через программу, состарили. Минута работы. Дай мне весь этот мусор.

АНЯ. Не с ней ли я так мило беседовала в очереди у дантиста где-то год тому назад? У неё была небольшая щербинка на лбу. Посмотри сюда. *(Показывает Ричарду фотографию.)* Щербинка на лбу.

РИЧАРД. Мошенники, везде мошенники! Дай мне весь этот мусор.

АНЯ. Сама выкину. Поезжай в госпиталь. Больной ведь не вечный.

РИЧАРД *(Целует Аню)*. Пойду скальпелем поорудую. Может, к зоопарку успею. Це! *(Идёт к выходу, наблюдая за Аней.)*

АНЯ. Це. Лю! Ах, тётя, дядя... *(Демонстративно бросает письмо и фотографии в мусор и туда же сбрасывает горку рекламных газет. Как только за Ричардом закрывается дверь, АНЯ выуживает письмо и фотографии из мусора. Перечитывает.)* Когда вы получите это письмо...

Выходит НАТАША.

НАТАША. Когда вы получите это письмо, меня уже не будет. Борис умер три года назад, а я всё



барахтаюсь. Пытаюсь исполнить его желания. «Живи, Наташка», – говорил он. – «На полную катушку. С собой ничего не заберёшь!»

Выходит Борис.

БОРИС. Живи! Трать на широкую ногу. Путешествуй, одевайся в модное и красивое. Покупай дорогие украшения. Заведи себе ухажёра или двух. Для чего я работал? Чтобы нам и отморозкам жить не тужить, но отморозки – они и есть отморозки. Не смей менять завещание. Хватит! Такое впечатление, что большую часть жизни прожили мы у разбитого корыта из-за этих... Этих... И так и этак в голове я проворачиваю нашу жизнь с Бенечкой... Тьфу! Бенционом, называйте меня Бен. Отморозок! Бен-шмен! Как ни назови – отморозок. Вроде и выглядел, как наш сын, но... От-мо-ро-зок! Камень... Камень, замурованный в высокомерие...

НАТАША (*Прозносит содержание письма в то время, как Аня его читает*). По нашему завещанию, Энн Браун, то есть вы, Аня – наша наследница. Точную сумму вам сообщит адвокат Ауэрбах. Советую не откладывать наследование в долгий ящик, так как за домами и квартирами нужен досмотр. Адвокат, конечно, за всем будет следить, но его услуги стоят не три цента. Хотя – дело ваше.

БОРИС. Аня, ты, конечно, захочешь узнать, что это за добрый американский дядюшка у тебя объявился. В Америке семейные тайны такого порядка рассказывают направо и налево, и нет ничего криминального в их разглашении. И, хотя с мёртвого взятки гладки, мы дали обещание молчать по этому поводу, пока живы. Но! Я не давал обещание распылить своё состояние, как прах, над Флоридой. После сына и внуков, ты моя самая близкая родственница. Результаты моего анализа ДНК хранятся в нескольких известных базах данных, доступ к которым ты сможешь получить через адвоката Ауэрбаха. К сожалению, из-за ограничивающих обстоятельств я не смог узнать тебя ближе. Деньги на твоё воспитание дать – да, а общаться с тобой, быть частью твоей жизни – нет. Надеюсь, что наследство откроет для тебя и твоей семьи новые возможности. Будь праведной и твори добро. Твой дядя Борис.

АНЯ (*Разговаривает с собой*). Ты что-нибудь понимаешь? За домами и квартирами нужен досмотр. Звучит заманчиво. Надо же, дядя какой-то. Откуда? У него было тело, ДНК, лицо, характер, жена, а теперь остались только дома, квартиры, деньги. И тайна. Где он жил? (*Рассматривает конверт*.) Майами. Мы там чуть не каждый год отдыхаем. Может, даже сидели рядом на пляже или проходили мимо в супермаркете. Ишь ты! А до этого? В Гомеле? Весь город «два шага налево, два шага направо». Наверное, тысячу раз видели друг друга на Советской. И чей он брат? А может... (*Берёт телефон и набирает номер*.)

АВТООТВЕТЧИК (*с русским акцентом*). This is the phone of Larissa and Mark Perlín. We will get back to you if you leave a message.

АНЯ. Mam, pap, срочно надо что-то у вас узнать. Позвоните.

Сцена 3

Квартира Перлиных.

ЛАРИСА. Так и знала! Какие исчадия ада! Никак не могут успокоиться. Ведь обещали!

МАРК. Ларочка... (*Падаёт в кресло*.) Я... Ты... Боже мой! Вся жизнь насмарку!

РИЧАРД. Десять лет пытаюсь понять, что за страсти. What's the big deal! Сотни тысяч людей живут с этим. Да что я говорю. Миллионы. Но вы, русские, из всего делаете тайну. Зачем? И меня в неё втянули. Надо было сразу сказать «нет», а я дурак... Вот что теперь делать? Аня может и не простить. Да что я говорю? «Может»...

ЛАРИСА. Отвлékись ты от себя. Ты вообще ни при чём. Это у нас трагедия!

РИЧАРД. Странные вы люди. Какая трагедия? Надо ей всё рассказать. Очистить воздух, как мы говорим. Она же добрая и умная женщина.

ЛАРИСА. Через мой труп! Ты себе представить не можешь, какие это ужасные люди. Уверена, что они всё так подстроили, чтобы у нас в семье учинить скандал. Это они так развлекаются.

РИЧАРД. Ничего себе развлечение.

ЛАРИСА. Что делать, ума не приложу.

Звонит телефон. Никто не поспевает его поднять, а смотрят друг на друга в ужасе.

АВТООТВЕТЧИК (*с русским акцентом*). This is the phone of Larissa and Mark Perlín. We will get back to you if you leave a message.

АНЯ (*Голос в телефоне*). Mam, pap, ну, где вы? Перезвоните, наконец-то! Срочно нужна информация. На мобильных тоже оставила сообщение. Где вы?



МАРК (*Глянет руки к Ларисе*). Как будто судьба сначала спросил у меня: «Чего ты боишься больше всего в жизни?», и потом присудил мне именно такое наказание.

ЛАРИСА. За что тебя наказывать? Ты что, преступление совершил?

МАРК. А как это по-другому назвать?

ЛАРИСА. Опять! Сколько можно! Не мели чепуху. Ты самый благородный, самый добрый, самый заботливый муж и отец в мире.

МАРК. Это я своей теперешней головой понимаю, что нехорошо поступил, нечестно. Не по-мужски, а тогда, идиот, просто захлёбывался от своего благородства. Ну подумай...

ЛАРИСА. Как нечестно? А ему эмигрировать было честно? Уехать было по-мужски?

МАРК. Ты ж его всё равно к Ане не подпускала на пушечный выстрел.

ЛАРИСА. Угу. Подпусти его. Разогнался. Уронит или сапожки забудет ребёнку надеть в мороз. И как с гуся вода. Клоун. Паяц. Хохочет, хохочет, а потом, вдруг, глаза выпучит и начинает орать. Или в молчанку днями играет. Жила, как в сумасшедшем доме. Ужас!

МАРК. Ларочка, у страха глаза велики. А я смотрел на него твоими глазами, но ведь, на самом деле, я никогда его не видел. Всё с твоих слов. Теперь только дошло!

ЛАРИСА. Надо ж! Три десятка лет с человеком живёшь, и вдруг выясняется... Прирела... Ты что? Все эти годы жил с вруней?

МАРК. Только не волнуйся. Я ж не говорю, что ты врёшь, а только, что...

ЛАРИСА. Только *что*? Испугался быть героем? Страшно, что оказался честнее и лучше!

МАРК. Да что я сделал геройского? Миллионы мужчин воспитывают приёмных детей. Они что, все герои?

ЛАРИСА. Для меня – да.

МАРК. Да брось ты. Присвоить ту, которую незаконно отобрали? Какое это геройство? Это воровство. Я вор. Какое это вообще геройство: быть трусом? Я трус! А трус боится всегда! А вдруг кто-то ляпнет, а вдруг увидит, что на меня не похожа, а в последнее время новый страх, посильнее старых – вдруг она делает тест ДНК? Сколько раз уже рёшался ей сказать...

ЛАРИСА. Ей сказать? А я как будто и ни при чём? У меня и спрашивать не нужно? Так, сбоку припёка, мать какая-то!

МАРК. Да, хотел сказать. Слова прямо распирали меня, а рот не раскрывался. Я трус. Советская власть у Александра отняла отцовство, а я тут как тут. Схватил, как вор. Вор и трус!

Звонит телефон. МАРК и ЛАРИСА смотрят на него с ужасом.

АВТООТВЕТЧИК (*с русским акцентом*). This is the phone of Larissa and Mark Perlin. We will get back to you if you leave a message.

АНЯ (*Голос в телефоне*). Мам, пап, ну где вы? Я звоню, звоню. Вы же должны быть дома! Перезвоните, наконец! Мне срочно нужно у вас что-то узнать!

МАРК. Вот видишь! И это – только начало. Трус умирает каждую минуту...

ЛАРИСА. Боже, что на тебя нашло? Что ты несёшь? Это он трус, клоун, изменник! Оставил ребёнка и убежал в другую страну!

МАРК. Мы тоже убежали. В ту же самую страну. И даже ему не сообщили, что дочь его...

ЛАРИСА. Сообщать ему! С какой стати? Он же от отцовства отказался? Отказался.

МАРК. У него что, выбор был? Как бы его отпустили из нашего социалистического рая, если бы он не отказался?

РИЧАРД. Правильно ли я вас понял, что биологический отец Ани смог эмигрировать только после отказа от отцовства? Так, что ли? А как же алименты на ребёнка? Это как? Любой собрался и айда в другую страну от алиментов? Удобно.

ЛАРИСА и РИЧАРД молча переглядываются.

РИЧАРД. Что? В чём загвоздка? Был ли в СССР child support?

МАРК. Алименты? Были.

РИЧАРД. Так он, как его имя, из Америки платил алименты в Гомель?

ЛАРИСА. Нет.

РИЧАРД. Не понимаю. Он уехал и концы в воду?

ЛАРИСА. Нет.

РИЧАРД. Вы напоминаете моего пациента. Русский старичок. Спрашиваю у него вчера: «Когда вам аппендицит вырезали»? Он: «Мне не вырезали». «Вот же шрам. Откуда он»? «Так это мне аппендицит вырезали». Знаете, как ваш цирковой аттракцион называется? Заколдованный круг.



МАРК. Он заплатил всю сумму одним взносом за все годы, с трёх лет Анечки и до совершеннолетия.

РИЧАРД. Интересно, откуда он взял такую огромную сумму денег? Насколько я понимаю, вы все в Гомеле были нищие. Совершеннолетие в Чернобыльстане наступало, как у нас, в восемнадцать?

ЛАРИСА и МАРК кивают.

РИЧАРД. Понятно.

МАРК. Что тебе понятно? Что понятно?

ЛАРИСА (*Кричит*). Не заводишь!

РИЧАРД. Попытаюсь перевести на человеческий язык. То есть, биологический отец Ани...

МАРК. Александр.

РИЧАРД. Биологический отец Ани, Александр, был вынужден отказаться от отцовства одновременно с полной выплатой алиментов за пятнадцать лет вперед. Откуда он взял денег – неизвестно. Странная система: заплати, чтобы потерять отцовство. И где ж этот Александр теперь? Между прочим, он биологический дедушка нашего Сэма, лишённый всех прав незаконными законами.

ЛАРИСА. Какое это имеет значение? У Сэмки есть нормальный и любящий дедушка Марк. Дедуся.

РИЧАРД. Лариса, этот вопрос выходит за рамки любви и ненависти. У человека обманым путём отобрали дочь, а теперь он лишён внука. Это никак не относится к вам или Марку. Не вы лишили его отцовства.

ЛАРИСА. Как не относится? Мы что, безмолвные овцы? Мы разве не родители Анечки? Как не относится? Ты откроешь шкатулку Пандоры, а из неё такое полезет, такое... Пусть остаётся закрытой. Умоляю, Ричард, не открывай её. Пожалей меня. (*К Марку*.) Оставь это... Забудь. Эта буря уже оттремела, улеглась, и мы можем спокойно жить. Не мути воду!

МАРК (*игнорируя Ларису, к Ричарду*). Теперь ты понял, в чём дело?

ЛАРИСА. Ой, ищите вы себе проблемы на голову, рисуете воздушные замки, в которых вы – благородные рыцари, освобождающие пленённого воина, а найдёте, так знать не будете, куда его девать, как обратно в кандалы засунуть! Забудьте. Прошло, улетело. Дело сделано. Жизнь идёт. Всё устроилось.

РИЧАРД. У кого устроилось?

ЛАРИСА. У нас. Мы спокойно и счастливо живём.

РИЧАРД. Строим счастье на чужом несчастье? Так?

МАРК (*Хлопает Ричарда по плечу*). Вот за что я тебя люблю...

ЛАРИСА. Смотри, уже спелась, баритоны, искатели приключений.

РИЧАРД. Лариса, при всём уважении к вам, даже если мы эту неожиданно раскрытую рану зашьём, кто-нибудь когда-нибудь спросит: «Вот же шрам! Откуда он?». Хотите или нет, Ане я всё расскажу, Александра найдём.

ЛАРИСА. Конечно, великодушный какой! Иди на фиг, дорогая тёща! Ваше слово – так, трень-брынь! Да?

РИЧАРД (*К Марку*). Вы со мной к Ане? Не бойтесь. Аня вас как любила, так и будет любить. Папа и отец не всегда одно и то же. Пошли?

МАРК (*Разрубает ладонью воздух по вертикали. Кладёт ключи от машины в карман*). Поехали!

МАРК уходит за РИЧАРДОМ, не оглядываясь на ЛАРИСУ.

ЛАРИСА. Мужская солидарность хренова! Жалко им стало Александра, видите ли! Монстра этого. Представляю его гомерический смех и глаза в щёлочку. Победитель. Кто-то его дочь вырастил, выпестовал, а он придёт на всё готовое. (*Изображая Александра, ёрничая*.) Ах, доченька, ах, Анечка, я так без тебя страдал. А это мой внучок? Какой хорошенький! Ну вылитый я! (*Своим голосом*.) Боже, ну нет спасения от этого исчадия ада. За что ты так меня?

Звонит телефон.

АВТООТВЕТЧИК (*с русским акцентом*). This is the phone of Larissa and Mark Perlin. We will get back to you if you leave a message.

АНЯ (*Голос в телефоне*). Куда вы пропали? Неужели трудно перезвонить! Сижу и смотрю на телефон, а он молчит. Это же пытка! Перезвоните!



Сцена 4

Десятью годами ранее. БОРИС и НАТАША сидят напротив адвоката за рабочим столом. Перед ними толстый фолиант. Адвокат переворачивает страницы, помеченные жёлтыми наклейками в тех местах, где нужны подписи.

АДВОКАТ. Этой подписью вы, Борис, отдаёте право своей жене Наташе быть вашим попечителем в случае вашей недееспособности. (БОРИС расписывается. Адвокат переворачивает страницу.) А здесь, вы, Наташа, отдаёте право своему мужу Борису быть вашим попечителем в случае вашей недееспособности. (НАТАША расписывается.)

БОРИС. Одних росписей хватило бы на небольшую книгу. Книгу жизни, любви, самопожертвования и утраченных надежд. А мне радостно. Ты знаешь, Наташка, я как будто вознёсся на самый верх американской горки и лечу. Какое чувство!

Адвокат снимает пиджак и рубашку с галстуком и остаётся в футболке с логотипом Princeton High School. Становится молодым БЕНОМ-старшеклассником. НАТАША и БОРИС тоже снимают верхние части одежды и остаются в футболках. НАТАША сидит на стуле впереди и время от времени крутит воображаемый руль. БОРИС и БЕН сидят на задних сидениях.

БОРИС (Указывает на что-то за воображаемым окном машины). Пальма! Я выиграл! Я первый, первый!

БЕН. В следующий раз я точно выиграю. А вон ещё одна! А мы в «Мир Диснея» заедем по дороге? Это же во Флориде?

БОРИС. Ничего себе «заедем!»

НАТАША. Ничего себе «по дороге!». Это крюк. Часа два в каждую сторону. И вообще, Дисней для маленьких детей, а ты уже в девятом классе.

БЕН. Помнишь, когда мы были там года три назад, я не прошёл по росту на «Big Thunder Mountain Railroad». Вы это называете американскими горками. Дюйма не хватило. У меня с тех пор идея фикс проехать на них. Ну, мам! Ну, мамочка!

НАТАША. Смешной ты, Бенечка. Все уши прожужжал про эти горки. Разве я когда-нибудь забываю о том, что ты просишь?

БЕН. Так мы едем в «Мир Диснея»? Да?

НАТАША (Напевает). Мы едем, едем, едем в далёкие края, хорошие соседи, счастливые друзья.

БОРИС, НАТАША и БЕН (Все вместе продолжают петь.) Нам весело живётся, мы песенку поём, и в песенке поётся о том, как мы живём. Тра-та-та! Тра-та-та!

БЕН. Вот компания какая! Мам, ты самая лучшая!

НАТАША. А папа?

БЕН (Забрасывает руку на плечо папе). А с папой мы конспираторы. Да, пап? (Тихо БОРИСУ.) Сработало!

БОРИС (Прикладывает палец к губам). Тс-с. Не выдавай меня.

НАТАША, БОРИС и БЕН надевают одежду, которую сняли с себя. БЕН становится АДВОКАТОМ АУЭРБАХОМ.

АДВОКАТ. Теперь переходим к завещанию имущества. Ваши указания остаются в силе? Не передумали? Честно говоря, благодаря строптивым детям, я хорошо зарабатываю. Сначала отцы лишают их наследства. Через год отношения налаживаются, и завещание передельывают. Потом чадо умудряется нахамить отцам или не позвонить на Новый год, и завещание переписывают снова. И так по десять раз. Я вас не отговариваю. Ваше дело. Мне только выгодней. Но всё-таки спрашиваю ещё раз: уверены ли вы, что хотите лишить вашего сына наследства?

БОРИС. Почему лишить? Мы ведь ему кое-что оставляем. Помните, я вам перечислял? Антикварный диван в нашей большой спальне.

АДВОКАТ. А что если вы его перенесёте в другую комнату? Тогда что?

БОРИС. Это исключено. Его перенести нельзя.

АДВОКАТ. Всё, что занесли, можно вынести.

БОРИС. Да, но нет. Его просто так вынести нельзя. Это наш прощальный розыгрыш. Когда Бен был маленький, мы любили с ним разыгрывать Наташу. Весело мы жили... Да... Только давно это было.

АДВОКАТ. Что вы там намуралили?

НАТАША (Уводит разговор в сторону). И потом, мы оставляем нашему сыну все права на цифровое наследство. Электронные сообщения, фейсбук, одноклассники. Десятки тысяч сообщений, если не сотня тысяч. Я упоминала об этом на предыдущем совещании. Помните?

АДВОКАТ. Да, да, и я попросил вас написать об этом записку вашему сыну. Что находится или



не находится в электронных сообщениях – это между вами и им. Моё дело обеспечить его право доступа к электронным счетам. Где записка?

НАТАША *(Открывает аккуратную папку с бумагами и выкладывает исписанный лист бумаги перед адвокатом)*. Вот.

АДВОКАТ. На русском и от руки?

НАТАША. Да.

АДВОКАТ. Надеюсь, что ваш сын читает по-русски?

НАТАША. Пускай помучается. Мелочь, но приятно.

АДВОКАТ. Вы меня извините, но не могу понять, как можно радоваться, лишая сына наследства.

НАТАША. У вас дети есть?

АДВОКАТ. Трое. Четырнадцать лет, десять и пять.

НАТАША. Четырнадцать? Ну ещё четыре года, и вы меня начнёте понимать. А потом и младшие подрастут. Поймёте.

АДВОКАТ. А что случится в восемнадцать?

НАТАША. Колледж.

АДВОКАТ. Так это же прекрасно. Дети вырастают. Начинают жить самостоятельной жизнью, приобретают знания, профессию.

НАТАША. Надеюсь, что наша участь вас обойдёт, но судя по американской статистике...

АДВОКАТ. Статистике чего?

НАТАША. Не хочу вам настроенные портить. Радуйтесь, пока радуется. Живите, наслаждайтесь. Зачем думать о плохом?

АДВОКАТ. Нет уж. Сказали «а», говорите «б». Какая статистика?

НАТАША. Каждый пятый американец отстранён от своей семьи. Считайте: вы, жена и трое детей. Пять человек.

АДВОКАТ. Jesus Christ!

БОРИС. Господин Ауэрбах, вы ещё Будде помолитесь.

АДВОКАТ. Ну, хорошо, а внуки, внуки-то при чём? Неужели вы и им ничего не завещаете.

НАТАША. Внуки. Ах, да. Внуки. Внукам – по альбому с семейными фотографиями. Без подписей.

АДВОКАТ. Ну, знаете ли! Вы с юмором. А почему без подписей?

БОРИС. А им всё равно. Сын взял фамилию жены, и наши внуки теперь какие-то Уж. Что Ужам до Запечкиных? Кто мы им?

АДВОКАТ. М-да. Уж – это вам не хухры-мухры.

БОРИС. Хухры-мухры?

АДВОКАТ. Один русский клиент научил. И ещё одно слово – «нихера».

НАТАША. Это два слова.

АДВОКАТ. Он оставил своим детям эти два слова. Так что не думайте, что вы так уж оригинальны. *(Смотрит на часы.)* Извините, мне нужно сделать один быстрый звонок. *(Отходит в сторону и звонит по своему мобильному телефону. Разговаривает неслышно.)*

НАТАША *(Борису)*. Мне кажется, что мы медленно сходим с ума. Или уже сошли. А вся загвоздка в том, что у нас только один сын. Один на радостные времена, и он же на горестные. Но ведь, если посмотреть на ситуацию со стороны, у меня проблема неразрешимая, а у тебя, теоретически, решаемая. Давай, например, ты женишься на молодой и родишь ребёночка. Девочку или мальчика. Или двух. Будешь радоваться малышам, за ручку их водить. А я покончу с собой. Вот увидишь, как всем будет хорошо!

БОРИС. А давай наоборот.

НАТАША. Что наоборот?

БОРИС. Ты будешь малышкой за ручку водить. А я покончу собой.

НАТАША. Вообще спятил. А кто ж малышкой делать-то будет?

БОРИС. Посмеялись и будет. *(Усмехается.)* Ну ты даёшь, Наташка. Насмешила.

АДВОКАТ *(Закончил разговор и подходит к столу)*. Что смешного?

БОРИС. Когда слёз не осталось, приходится смеяться. Так и живём. Давайте продолжим.

АДВОКАТ *(Перелистывает фоллиант и указывает на середину страницы)*. Бенефициантом траста вы назначаете племянницу Бориса Анну Браун. Если Анна predecease, умрёт раньше вас, то бенефициантами станут дети Анны. Проверьте, правильно ли напечатано имя и адрес Анны?

НАТАША *(Проверяет страницу)*. Да. Знаете, Аня так похожа на Бориса и на его маму покойную. На маму – вообще одно лицо. И надо же, она даже не знает, что у неё есть дядя, и что она точная копия своей бабушки. Какая чудовищная несправедливость. У меня в голове до сих пор не укладывается.

АДВОКАТ. Интересно. Внучатые племянники вас волнуют, а свои внуки нет? А у меня вот это не укладывается в голове. Почему?

БОРИС. Долгая история. *(Закрывает глаза руками и всхлипывает.)*



АДВОКАТ. А говорите, что слёз не осталось. Уверен, не в последний раз вас вижу. Подёргаетесь, помучаетесь...

БОРИС. Ни за что!

АДВОКАТ. Ну-ну...

Сцена 5

Шестью годами ранее. Квартира Зацепкиных во Флориде. Звук открывающейся входной двери.

НАТАША (*Одега для занятий в гимнастическом зале. Зашиуровывает кеды. Кричит.*) Боря, это ты? Я минут сорок похожу на тренажёре в спортивном зале.

БОРИС (*Входит в комнату с маленькой собачкой, которую несёт, как младенца.*) На улице пекло. Бенечка может лапки обжечь. Да, я читал о таком. Поищи в интернете, может для собачек какая-то обувь продаётся? (*Поглаживает Бенечку.*) Ну что? Звонили? Узнали, кто будет?

НАТАША. Да не позвонят они до самого рождения. Ждать осталось всего ничего, но я тебе могу точно сказать, что у них будет мальчик.

БОРИС. Ты что, провидица? Даже под ультразвуком не видно.

НАТАША. Ой, Боря, наивный ты. (*Протягивает руки к Бенечке.*) Дай мне ребёнка.

БОРИС. Он только заснул, а ты его теревить будешь.

НАТАША. Он «только заснул» целый день. Часов двадцать спит в сутки, а ты боишься его побеспокоить. Ты так себя ведёшь, как будто я ему мачеха какая-то.

БОРИС. Посмотри, как он удобно устроился. Пусть поспит, сладкий наш. Так, обратно к нашим баранам. Почему мальчик?

НАТАША. Давай рассуждать логично. Еврейскому мальчику на восьмой день делают обрезание, так?

БОРИС. В Америке всем делают обрезание: евреям, христианам, атеистам. Так гигиеничней.

НАТАША. Но, злостные атеисты обрезание делать не будут. Из принципа. Наши дети уверены, что как только они скажут, что будет мальчик, мы спросим что-о?

БОРИС. Где будут делать обрезание: в больнице или синагоге.

НАТАША. Поэтому я и говорю, что будет мальчик. Никто его обрезать не собирается и обсуждать с нами этот вопрос – за или против, почему и как – им на фиг нет охоты. Кто мы – и кто они?

БОРИС. Но может быть... можно же допустить, что на самом деле не видно!

НАТАША. Сча! (*Звонит Наташин мобильный телефон.*) Hello. (*Ставит телефон на спикер.*)

ГОЛОС БЕНА. Мам. Привет. Всё хорошо.

НАТАША. Что-нибудь случилось?

ГОЛОС БЕНА. Вы можете нас поздравить. У нас родил...

НАТАША (*Перебивает*). Мальчик?

БОРИС. Девочка?

ГОЛОС БЕНА. Мы решили воспитывать ребёнка в атмосфере нейтральной гендерности.

БОРИС. А? С чем это едят?

ГОЛОС БЕНА. Ребёнок сам решит, когда будет готов, оно девочка или мальчик, а, может, и то, и другое. А пока мы никому говорить не будем.

НАТАША (*дрожжащим голосом*). Это как? Скажи мне, это что: дитя родилось и с пипочкой, и с дырочкой?

ГОЛОС БЕНА. Только с одним из этих. Гендер-нейтральность не зависит от, так сказать, оборудования.

НАТАША. Но ведь дети познают мир с помощью родителей, а вы его или её хотите нарочно запутать? Зачем?

ГОЛОС БЕНА (*железным тоном*). Мы так решили. Так и будет.

НАТАША. Так как нам оно называть?

ГОЛОС БЕНА. Эйвори.

НАТАША. Это имя? По буквам, а то я не совсем врубаюсь.

ГОЛОС БЕНА. А-в-е-г-у.

БОРИС (*Пытается вырвать телефон у Наташи*). Зачем? Зачем над ребёнком эксперименты проводить? Что вы там выдумали?

ГОЛОС БЕНА. Мы так решили.

НАТАША (*словаются*). А как Джанис себя чувствует? Как ребёнок? Как он... она... оно... Эйвори? Сколько весит? Все ли с ней нормально?

ГОЛОС БЕНА. Всё нормально. Я сильно устал и должен бежать обратно к Джанис. Все детали потом. Пока.

БОРИС (*Смотрит на телефон в Наташиной руке*). Сной? Какой Сной? Он же сказал – Эйвори!

НАТАША. Не «сной», а с «ной». Среднее между с «ней» и с «ним». Понимаешь? Ной! С ной?



БОРИС (*Библейским голосом*). И будет всякой твари по паре: он и оно, маленький зелёный крокодиальчик и маленькое зелёное крокодилё!

НАТАША (*Уверенной рукой забирает Бенечку и усиленно его гладит*). Зато Бенечка у нас точно мальчик и точно обрезанный. Правда, Бенечка? Давай мы тебе песенку споём, а, Бенечка? Ты у нас сладенький, ты наш любимый мальчик. (*Поёт*.) Мы едем, едем, едем в далёкие края...

БОРИС (*Садится на стул и ерошит волосы*). Всё! По-моему, мы приехали. Последняя остановка. Дальше ехать некуда. Ной по имени Эйвори. Прошу любить и жаловать.

НАТАША (*Придерживая Бенечку, набирает номер на мобильном телефоне*). Мама, мамочка, мама, мамуленька! (*Слушает*.) Да! Скрывает. Тайна датского королевства... Мама, эту битву мы уже проиграли. Начинается новая эра. (*Слушает*.) Я не шучу. (*Слушает*.) Я не преувеличиваю. (*Слушает*.) Не мучай меня. (*Слушает*.) Эйвори. Да, это имя. Мы тоже не слышали. Почти Айвори, как Айвори мыло. Ребёнок – окей. Джанис тоже! Мы сейчас завезём к тебе Бенечку, и следующим рейсом к ним полетим. Пока. Я тоже, мамуленька. (*Выключает телефон*.) Боже, я понимаю, что мы должны радоваться, но, признайся: за что ты нас так? (*К Борису*.) Дедушка «ноя», поехали. На выход. С вещами.

Сцена 6

Двадцатью годами ранее. НАТАША и БОРИС надевают одинаковые дождевые пончо с капюшонами. Юноша БЕН присоединяется к ним, одетый в такой же дождевик. На сцену выезжает или показывается на экране сооружение для индустриального нереста сёмги. Слышится шум воды и удары рыб, протискивающихся между телами друг друга вверх по лестнице против течения воды.

БОРИС (*В зал*). Хорошее было время! Август в Аляске. Белые ночи. Серые, зябкие и дождливые, а дни, больше похожие на рассветы. Но мы были вместе. Все вместе. Мы с Наташкой в отпуске, а Бенечка, тогда ещё наш сын Бенечка, на школьных каникулах, за год до поступления в университет. Он грызёт науку, а Наташка грызёт науку поступления. Это, я вам должен сказать, что-то невообразимое! Йельский университет он хотел – и точка! А поступить туда одного ума недостаточно. Ты должен чуть ли не космонавтом быть или олимпийским чемпионом, да ещё с дипломом на отлично. Но я в этом не специалист. Моё дело – руководить своими электромонтажниками и с клиентами разбираться, чтобы платили вовремя, но это детский лепет по сравнению со стратегией и тактикой взятия крепости Йель. Наташка и Бен как разложат бумаги и какие-то пособия. Батюшки! Наслышался я совещаний в их штабе наступления и прорыва. А теперь – вот: показываем Бенечке мир. Пришли на экскурсию в рыбный инкубаторий.

НАТАША. У меня кровь в венах застывает от одной мысли, что сёмга плавает в этой ледяной воде.

БОРИС. Каждому своё.

НАТАША. Интересно посмотреть, как их выращивают.

Выходит РАБОТНИЦА, одетая в форму рыбноводного завода.

РАБОТНИЦА. Вы на экскурсию? (*Зацепкины кивают*.) А у нас по понедельникам нет экскурсий.

НАТАША. А на сайте...

РАБОТНИЦА (*Отмахивается*). Сайт... Да, ладно, я вам сама всё расскажу. Здесь наука простая. Весь театр здесь начинается с лестницы.

БЕН. У русских есть поговорка. Там театр начинается с вешалки.

РАБОТНИЦА. М-да. А здесь он заканчивается на конвейере.

НАТАША. Как это?

РАБОТНИЦА. Сейчас всё увидите. (*Подводит к рыбной лестнице*.)

БОРИС. Это инкубаторий?

РАБОТНИЦА. Подойдите ближе, ещё ближе. Посмотрите. Сюда рыба приходит на нерест.

Все следуют её инструкции.

БОРИС. Они икру прямо здесь мечут?

РАБОТНИЦА. О, нет. За это им ещё надо побороться, помучаться.

НАТАША. Героини.

БЕН (*Как будто читает учебник*). Лестница подражает условиям каменистых порогов. Сёмга анадромная, то есть живёт в морской воде, а размножается в пресной. Она возвращается на нерест в то же место, где родилась.

НАТАША. А как она знает, где родилась?

БЕН (*Задумывается*). Вероятно, это тот же механизм, что и в миграции птиц. Или, может быть, что-



то, связанное со вкусом или запахом воды. Это всё инстинктивно; они просто следуют тому, что в них генетически запрограммировано.

РАБОТНИЦА. Да, да. Во время нереста в воду добавляется вещество – марка нашего завода. Запоминают на всю жизнь. Итак, сёмга начинает восхождение по лестнице (*указывает на начало лестницы.*), взбирается по ней. Процесс борьбы с другими рыбами и с потоком подготавливает её к нересту.

НАТАША. Итак, сёмга добирается до верха лестницы и потом...

РАБОТНИЦА. Потом она попадает в бассейн, а из него на конвейер внутри здания. Вот там (*Показывает*).

НАТАША. А потом? Куда рыбы уплывают?

РАБОТНИЦА. Потом? Нет, мисс, дальше они умирают. Вернее, в природе они вскоре после нереста умирают в ручье, но здесь мы собираем урожай, так сказать.

НАТАША. А потом продаёте в магазине?

РАБОТНИЦА. Боже сохрани! После нереста сёмга имеет ужасный вкус. Она продается на удобрения.

НАТАША. Так, что, они мучаются, плывут по головам друг друга, обдирают себе кожу до мяса, чтобы умереть?

БЕН. Мама, ты не понимаешь? Это инстинктивно. В икре достаточно белка, чтобы вести самостоятельную жизнь.

НАТАША (*Шутя, прикрывая ужас*). Если бы я была сёмгой, брошенной таким количеством потомков, я бы тоже умерла от горя.

БЕН. Мама, ты антропоморфизуешь. (*Наташа и Борис переглядываются.*) Это значит: приписывать человеческие качества нечеловеческим существам и вещам.

БОРИС (*Обхватывает Наташу и Бена в объятиях, целует Бена в нос*). Сколько вы знаете мужчин, у которых есть собственные ходячие энциклопедии! Я самый счастливый отец в мире!

Сцена 7

Лет за десять до событий в первой сцене. Кладбище в штате Нью-Джерси. Борис и Наташа стоят перед памятником, на котором написано «Александр Зацепкин 1950 – 1996». Борис окунает полотенце в банку с водой и стирает пыль с могильной плиты.

БОРИС. Цветы, что ли, посадить?

НАТАША. По-моему, на этом кладбище нельзя. Посмотри, ни у кого нет.

БОРИС. А у Саши будут.

НАТАША. Цветами делу не поможешь. Ты душу свою хочешь облегчить, делая что-нибудь, а сделать уже ничего нельзя.

БОРИС. Я родителям обещал, что всегда буду за ним присматривать. И вот...

НАТАША. Ты и сейчас за ним присматриваешь. (*Гладит Бориса по спине.*) Борь, а Борь, ну что ты... Что теперь поделаешь? Ты ведь не виноват, что он взял и умер.

БОРИС. Виноват.

НАТАША. Опять двадцать пять. Виноват в аневризме?

БОРИС. Если бы я был рядом, я бы его спас.

НАТАША. Ты не всемогущ.

БОРИС. Но почему я не всемогущ? Почему? Почему я не могу спасти самое главное в жизни? Ни брата, ни сына? Один умер, второй меня забыл.

НАТАША. Не ступай. Бен тебя не забыл.

БОРИС. Он просто во временном *incommunicado*, месяцев эдак на 960, а потом сразу объявится, да?

НАТАША. Не ёрничай. Жизнь такая штука. Сегодня он нас забыл, завтра вспомнит. Блудные сыновья возвращаются.

БОРИС. Не факт, что все. К тому же он не блудный.

НАТАША. Видишь! Всё познаётся в сравнении. (*Закладывает пальцы.*) Слава богу, он жив-здоров. Раз. Слава богу, он счастливо женат.

БОРИС. Ну это ещё как посмотреть!

НАТАША (*фрагмент*). Два. Он не только блестяще образован, но и успешен. Три. У него уже трое детей и четвёртый на подходе. Четыре.

БОРИС. Ну и что? А я это вижу?

НАТАША. Я ещё не закончила. У наших друзей и знакомых? У Страйтцев сын – аутист, у Гольдбергов сын в сорок не женат, у нашей домработницы сын умер, у Трубовских...

БОРИС. Что ты мне голову дуришь! У меня душа болит. Вот здесь (*Бьёт себя в грудь.*) Я сирота, понимаешь, сирота! Родители умерли, брат умер, сын меня знать не хочет, внуки знают меня не будут. Из моей семьи я один остался... Один я, один! Понимаешь? Один! (*Закрывает лицо ладонями и плачет.*)



НАТАША (*Прижимает Бориса к себе*). Ну... Борь, не убивайся так. Я ведь с тобой! Я за тебя! Всегда есть будущее. Всё ещё может исправиться, и Бенечка... (*Спихватывается, что назвала сына как раньше*.) Бен поживёт, повзрослеет и поймёт. Ты увидишь!

БОРИС. Не факт, что увижу. А жизнь, жизнь ведь проходит. Что мне, если он поймёт, когда я стану дряхлым и немощным? Что мне, если он будет плакать, когда умру... Мне нужно это сейчас. Сейчас, понимаешь.

НАТАША. Ну, хочешь, усыновим мальчика какого-нибудь? Или девочку?

БОРИС. Наташа, пятидесятилетним никто не даст усыновить ребёнка. И потом, мне другого не нужно. Я хочу Бена.

НАТАША. Ты как маленький. Требуешь от мамы целую печеньку, а не разломанную, а, когда тебе дают целую, плачешь, что хочешь ту, разломанную, но целой. Жизнь вспять не бежит. Разломанное не склеивается без шрама. Или надо довольствоваться обломками, или брать другое целое.

БОРИС. Не факт.

НАТАША. Борь, не мучай ты себя и меня. Не надо. Нужно найти другую точку будущего.

БОРИС (*Вспоминает, что он на могиле брата, мочит тряпку и моет памятник*). Вот и Сашина дочь. Узнает ли она, что папа умер, и где он похоронен? Придёт ли когда-нибудь на могилу, а если и придёт, то ему-то уже всё равно!

НАТАША. Давай её найдём.

БОРИС. Что ты! Она ведь завернута в одну упаковку со своей мамой, у которой только ступы и помела не хватает, чтобы летать.

НАТАША. Люди меняются. Кто знает, может, известие о смерти бывшего мужа всколыхнёт в ней лучшие качества.

БОРИС. Да, конечно... Тёрка повернётся к нам не мелкой, а крупной стороной.

НАТАША. Чем мы рискуем? Давай попробуем. Аня – твоя ближайшая родственница после Бена. Может, она рада будет, что у неё американский дядя есть. Сидит там в Гомеле, живёт от зарплаты до зарплаты.

БОРИС (*ёрничая*). Факт – я же с самого детства мечтал быть дойной коровой!

НАТАША. Зачем ты перекручиваешь! Мы же не жадины, и не всё на деньгах строится.

БОРИС. Не хочу. Не буду. Отрезали её у меня, мою племянницу. На алименты Саше деньги дали? Дали, но... Не видел её никогда, а тут вдруг «зрасте». Её точно научили отца своего ненавидеть, и вся ненависть к Саше выльется на меня. Мне от этого легче станет? Опять ты со своей сердобольностью и любовью накликаешь на нас проблемы. (*Нарочито трёт памятник*.)

НАТАША. Почему опять? Почему опять? Почему я? Не все начинания хорошо кончаются, но без начал и хорошего не будет. Тот не ошибается, кто ничего не делает.

БОРИС. Не дави.

НАТАША. Мы просто должны переместить себя в какое-то другое жизненное русло. Хватит плакать. Пора действовать. Боря, а?

БОРИС. Не дави. (*Думает. Выкручивает тряпку. Выливает воду из банки и кладёт её и тряпку в пакет. Открывает бутылку воды. Омывает свои руки и поливает воду на руки Наташи.*)

НАТАША. Насчёт твоей племянницы...

БОРИС (*Кричит*). Не дави. Поворачивается и демонстративно уходит.

АКТ 2

Сцена 1

Месяц спустя. Дом, принадлежащий Толе и Марине Черныным, одноклассникам Бориса. Черныны в процессе переезда, и в гостиной некоторый диссонанс в обстановке. Толя поправляет закуски и бокалы на плотно заставленном коктейльном столике.

ТОЛЯ (*Кричит Марине за кулисы*). Как ты думаешь, чего они вдруг объявились? (*Пауза*.) Марин, а? Думаешь соскучились или чего надо? Нет, они мне всегда нравились, но столько лет не проявлялись – и тут вдруг. (*Себе*.) Хотя... Заняты, заняты...

МАРИНА (*Из-за кулис*). Мы тоже хороши.

Марина выходит на сцену в кухонном переднике с очередной вазочкой, наполненной закуской.

ТОЛЯ. Марин, ну куда ещё! Не из голодного края гости.

МАРИНА. Разговорчики в строю! Наше дело хозяйское: выставили много, вкусно и красиво.

ТОЛЯ. Красоту вычёркиваем. (*Указывает на бокалы*.) Один разнобой остался.



МАРИНА. Мог бы и коробку вскрыть. Одноклассник всё-таки.

ТОЛЯ. Так если бы я помнил, какую!

МАРИНА. Сделаем вид, что это новая мода.

ТОЛЯ. Знаю я твой вид.

Звонок в квартиру. Толя открывает входную дверь и с трудом скрывает изумление. Борис и Наташа входят свежие, сияющие, элегантно одетые, с шикарным букетом цветов.

ТОЛЯ. Боже, сколько лет, сколько зим! Но, узнал ведь! Чёрт побери, узнал!

МАРИНА *(До этого застывшая, как соляной столб, с вазочкой в руке, пристраивает её на край стола)*. Ребята! Вас время не берёт! А я-то настроилась увидеть бабку да дедку, дедку да репку, а тут вы... Элегантные, как рояль. Сразу видно – жизнь удалась!

БОРЯ *(Вручает Марине букет)*. Это вместо репки. Надеюсь, сойдёт!

МАРИНА. Хоть в этом не изменился. Помню, помню твои прибауточки. Как молоды мы были... Сколько не виделись? Лет двадцать? Тридцать?

БОРЯ. Больше тридцати, Маришка! Мы и до нашей эмиграции несколько лет не виделись. Вы тоже, ребята, не стареете.

ТОЛЯ. Душой. Только душой, а так... То здесь колышет, то там занует. Гарантийный срок истёк. Да что я! Сегодня не об этом. Сегодня, давайте о нашем весёлом прошлом, да? И о будущем: о детях, о внуках. *(Достает мобильный телефон)*. Сейчас, сейчас. Вот! Это наш самый маленький, наш зайчик. Брэндон. А! Красивое имя? Чистый американец, а? Разбойник! Всё только: «деда, иди сюда», «деда, играй со мной». А вот это наша средненькая. Красавица! А? И бровки, и щёчки. Шалуныя.

МАРИНА *(Толле)*. Не увлекайся. Увиделся с однокашниками в кои-то веки. Дай им присесть, выпить, закусить. *(Указывает на закуски)*. Московская, точно, как в Гомеле по благу в наши времена. Ценили. Всё-таки дефицит – великая вещь! Может, и не нужна тебе была эта колбаса, может, и не нравилась вообще, но как только она исчезала, то...

Толя и Марина садятся на диван и замирают. Боря и Наташа меняют детали одежды и выходят на авансцену. Туда же выходит взрослый Бен с детской пелёнкой на плече.

НАТАША. С добрым утром, сыночка. Как была ночь?

БЕН. Ночь? Ночь и день смешались. Пупси, писи, плачет, сосёт. Всё у нас по плану.

НАТАША. Бедные вы мои детки. Ну ничего. Мы для этого и прилетели, чтобы помочь. Мама Джанис?

БЕН. Что «мама Джанис»?

НАТАША. Где она?

БЕН. Дома у себя в Бостоне. Где ж ей быть?

НАТАША *(Скрывает удивление)*. Вот я по хозяйству и помогу. Давай суп какой-нибудь твой любимый сварю.

БЕН. Мам!

НАТАША. Куриный или борщ? В магазин съезжу, всё куплю. Что хочешь?

БЕН. Мам, Джанис не хочет суп.

НАТАША. Тогда, давай сделаю жаркое. Куриное или, может, баранье.

БЕН. Её тошнит только от вида баранины.

НАТАША. Тогда куриное, да?

БЕН. Мам, ну не надо.

НАТАША. Хорошо, тогда я закажу, за наш с папой счёт, естественно, что-то, что Джанис нравится. В любом местном ресторане. Какой она предпочитает?

БЕН. Ну, мам!

НАТАША. Я не понимаю. *(Пауза)*. Не понимаю. Сварить не надо, заказать не надо. Может быть, у вас уже всё готово, а я тут со своими предложениями, когда у вас уже холодильник заполнен. Сейчас посмотрю.

БЕН. Мам! Ну не прилично же в чужой холодильник...

НАТАША *(Пауза)*. Я вообще ничего не понимаю. Борь, ты понимаешь? Сыночка, объясни.

БЕН. Джанис уже заказала продукты на дом.

НАТАША. Ну вот. Замечательно, так что из них приготовить?

БЕН. Мам, она заказала на двоих.

НАТАША. Но нас ведь четверо взрослых.

БЕН. Нас двое и вас двое. Мы с Джанис будем обедать дома, а ты с папой пойдёшь куда-нибудь... Найдёте, где пообедать в городе.

НАТАША. Обожди, обожди, я опять ничего не понимаю.



БОРИС. Наташа. Я всё понял. Я уже всё понял. *(Пауза.)* Пошли. Идём, идём. Видишь, дети заняты. НАТАША. Так мы же специально прилетели за тысячу четыреста миль, чтобы помочь. Куда мы пойдём? БОРИС. Надевай куртку – и с вещами на выход!

Слышен плач младенца.

БЕН. Я сейчас. *(Бежит за кулисы.)*

Пантомима: Наташа бросается к Борису на шею. Он похлопывает её по спине, потом крепко берёт за плечи. Становятся лицом к залу и под музыку или ритм танцуют, изображая рты на замке и осторожное хождение между яичными скорлупами. Время от времени они нечаянно наступают на скорлупу, и она лопается с хрустом.

Наташа и Борис превращают свою одежду в ту, в которой они пришли в гости к Черниным. Толя и Марина оживают.

ТОЛЯ. О хорошем! Да, давайте о хорошем. Вот, например, *(к Марине)*, как я тебя от Борьки отбил. А-а, Борька.

НАТАША. Борь, это правда?

БОРЯ *(шутя)*. Каюсь, каюсь. Влюбился в Маринку в первом классе, а она меня поматросила и бросила. На Толяна променяла. У него штанишки длиннее в тот момент были.

НАТАША. Да ну вас. Шуточки-прибауточки. Никогда правду не узнаешь.

БОРЯ. А зачем тебе правда? Мальчишки и девчонки бегали бестолково друг за дружкой и дрались остервенело. Да... Мальчишки и девчонки... Девчонки и мальчишки...

НАТАША. Вот если бы у тебя штанишки длиннее в тот момент были, то не Толя, а ты бы хвастался фотографиями Брэндона и его сестрички.

ТОЛЯ. Как будто вам и похвастаться нечем. Наслышаны об успехах вашего сына. Как его?

БОРИС. Бен. Бенцион.

ТОЛЯ. И будто ваш Бен какой-то университет закончил лиги плюща.

БОРИС. Йельский. Трижды. Три степени. Но... *(Останавливает себя.)* Мы не по этому поводу. Давайте о...

МАРИНА. Ой, ребята, вы всегда были уменькие.

БОРИС. Да брось ты. На всякого мудреца довольно простоты.

МАРИНА. Что за ложная скромность! И эмигрировали вы раньше всех, и сын у вас блестящий. И женился он, наверное, удачно.

БОРИС. Женился... Вот... Четвёртое чадо у него родилось позавчера.

МАРИНА. Мальчик или девочка?

БОРИС. Ещё не знаем. Сообщат, когда...

МАРИНА. Так чего ж вы по гостям расхаживаете, а не с внуками?

БОРИС. Мы же уменькие. Мы быстро урок выучили. С первого раза. Марин, что мы о внуках да о внуках. Мы к вам совсем по другому поводу пришли.

МАРИНА. Да мы не спешим. Переезжаем только через неделю. Дай узнать все новости за тридцать лет.

БОРИС. За тридцать лет так за тридцать. Работали, работали, работали, родили Бенечку, тряслись над ним, учили, возили, показывали, платили, платили, платили, помогали, обожали, любили, отдали, работаем, работаем, работаем, опять любим Бенечку, нашу собачку, и работаем, работаем, работаем.

МАРИНА. Ой, темнишь. Чует моё сердце, темнишь. Борь, мы хоть и не виделись столько лет, но знаем же тебя, как облупленного, за десять лет школы. Что ты мне общице фразы, как на комсомольском собрании, толкаешь. Колись! *(Пауза.)* Колись, я тебе говорю! Что за Бенечка-Шменечка! Собаку назвали именем сына. Вы что? С ума сошли?

БОРИС. Здесь есть от чего... Вот так. Вот так. Вот так! Должны же мы кому-то быть нужны, кого-то любить.

МАРИНА. Вот и любите своих внуков. Такое впечатление, что с сыном у вас что-то не сложилось. Не у вас одних. У самих историй – на стеллаж в библиотеке. Не удивляюсь. Но внуки? Сыновья – жёнам, а внуки – бабкам и дедкам. Это ж нормально!

БОРИС. Так то ж у нормальных...

Толя и Марина замирают на диване. Наташа и Борис выходят на авансцену, передеваются в домашнюю одежду. У Наташи в руках электронный планшет.

БОРИС. Я только на секунду.

НАТАША *(Удерживает его рукой)*. Потерпишь, а то пропустишь звонок.



Звонок видеосвязи на планшет. Наташа нажимает на приём. На большом экране, видимом зрителю, летают детские игрушки, слышен визг и писк. Появляется детская рука с куском пиццы.

ГОЛОС БЕНА. Эйвори, скажи «хеллоу» бабе и деду.

На экране появляется другая детская рука, принадлежащая Эпл, младшему ното №2.

ГОЛОС БЕНА. Эпл, нет! Не трогай. Не трогай, я сказал!

Изображение на экране застывает. Связь прервана. Пауза. Звонок видеосвязи на планшет. Наташа нажимает на приём. На экране Бен.

БЕН. Сейчас с вами будет общаться Эпл.

На экране появляется ребёнок лет двух непонятного пола.

ГОЛОС ЭПЛА. Баба, баба...

ГОЛОС БЕНА. Не трогай! Стоп! Нельзя это трогать! Нет, Эпл!

Изображение на экране начинает крутиться. Это Эпл схватило планшет и крутит его. Наташа зажмуривается.

БОРИС (Только Наташе). Как всегда. Я лучше пойду. Не могу это видеть.

НАТАША. Ну, обожди. Сейчас всё наладится. Пропустишь – это до следующего воскресенья.

Экран опять застывает. Связь прервана.

БОРИС. Ты называешь это общением?

НАТАША. Лучше, чем ничего.

БОРИС. Я уже не уверен.

НАТАША. Опять ты со своей ложкой дёгтя. Это же дети! Они маленькие.

БОРИС. Они маленькие, но я их вижу годами только в перевёрнутом состоянии на экране. (Пауза.)

А наше с тобой чадо даже не спустится со своего божественного облака, чтобы с нами, простыми смертными, переборотиться несколькими словами, так, по-семейному. Всё!

Звонок видеосвязи на планшет. Борис резко отбирает планшет у Наташи.

БОРИС. Всё! Я сказал: всё! Мне эта игра в бабку и дедку надоела. Раз в неделю... Почти как после дожидка в четверг. У меня ничего не получается.

НАТАША. О чём ты?

БОРИС. Я раньше думал, что пусть хоть на экране их буду видеть, пусть хоть раз в неделю, пусть хоть пару минут, а теперь всё! Надоело! Ну не могу я чувствовать к изображениям на экране какие-то родственные чувства. Эту фальшивку, подделку родственного общения, нужно прекратить.

НАТАША. А я?

БОРИС. Хочешь? Общайся с «ноями», кто их знает, мальчиками или девочками. Они, наверное, думают, что бабушка и дед – это изображения на экране, от которых приходят посылки с игрушками. Мы для них ненастоящие! Мне такое не надо! Я такого обращения не заслужил! Не хотят нас на порог пускать и нас не желают навещать – замечательно! Ура! Будем жить, как жили до Бена.

НАТАША. Ну не могу я так. Он ведь мой единственный сын. У меня другого нет.

Наташа и Борис передеваются в одежду, в которой они пришли к Черныным. Толя и Марина оживают.

БОРИС. Мариночка, дорогая моя, не сейчас. У меня здесь болит. (Стучит себя по груди.) Пожалей меня. Лучше плесни мне чего-нибудь, и поговорим о деле.

ТОЛЯ. Ну, правда, Марин, не мучай Борю. (К Боре.) Давай выпьем за дружбу, за встречу! Маришка новую моду завела: бокалы разные использовать. Так интереснее, говорит. Женщины, умом их не понять...

МАРИНА. Слушай ты его! Да упаковано всё хорошее, а эта посуда – всё, что в хлам идёт.

ТОЛЯ (Укоризненно смотрит на Марину). Ох уж эти женщины. Давай и за них, за наших жён выпьем! Пусть они у нас будут здоровы.

Наливает всем вино. Чокаются и пьют.



ТОЛЯ. Рассказывай, какое у вас дело. Чем сможем – поможем.

БОРЯ. Дело тоже есть, но я и по телефону мог узнать. Ребята, вдруг понял: жизнь проходит, а мы оторвались друг от друга. Дела, дела... Вы же часть меня. Надо нашу паузу прекратить и спеть аккордом, как, помните, в хоре Людмила Яковлевна нас настраивала. До, ми, соль. Давайте!

Борис и Чернины поют трезвучие.

БОРА. Вот, что и надо было доказать! А дело у меня такое. Помнишь, мама твоя работала с Сашинной тещей.

ТОЛЯ. Ну.

БОРЯ. Может, ты узнаешь у неё, как найти Ларису. Вернее, мне не Лариса нужна, а её дочь, моя племянница Аня. Разыскиваю, а ни адреса, ни телефона не могу найти онлайн. Перерыл всю гомельскую телефонную книгу.

ТОЛЯ. Да мама моя тебе и не нужна. Мы сами знаем, где Лариса. В эмиграцию вместе уезжали. В Риме в одной квартире жили, когда американскую визу ждали. На соседней улице живёт твоя Лариса, а Аня – минут пять отсюда. Активистки нашей синагоги! Анечкин муж в совете директоров. Прямо сейчас им позвоню! *(Берёт свой мобильный телефон.)*

БОРЯ. Ты шутишь! *(Пауза.)* Лариса здесь? В Америке? *(Выходит на авансцену. Размышляет.)* Кто бы мог подумать, что эта... Эта! То, что она первым делом после свадьбы, не успев въехать в нашу общую квартиру, врезала замок в дверь их спальни, не предупредив нас ни до, ни после, можно ещё как-то понять. Молодая была, пугливая. По молодости кто глупостей не делал? Но то, что она сотворила потом, на молодость списать нельзя. Мы уже разрешение из ОВИРа получили на эмиграцию, а она написала «сигнал» в гомельский КГБ, что мы, мол, собираемся контрабандой вывести бриллиантовое кольцо в пять каратов. Боже, да я и в полкарата тогда бриллиант не выдывал. Я вообще не видал бриллиантов, кроме как в телевизоре. Две рубашки на душу. Что её двигало? Страх или желание выслужиться перед советской властью? Страх? Показной антисоциализм?

НАТАША *(Выходит на авансцену. Размышляет.)* Страх? Мы тоже всего боялись. Боялись остаться, боялись уехать в никуда, боялись, что не дадут уехать, боялись, что пропадём в новой стране, боялись, что не сможем устроиться в новом месте, боялись, что не выучим язык, что всегда будем людьми второго сорта, боялись, боялись, боялись. А вот того, что единственный сын к нам будет относиться безразличнее, чем к прохожим, не боялись. Ведь боишься того, что знаешь. Ну, знали мы о Короле Лире, но жил он давным-давно и, к тому же, в пьесе Шекспира. Да и делить Бену с братьями и сёстрами нечего. Один он. Один.

Боря и Наташа возвращаются на сцену.

БОРЯ. Эта с-су...

НАТАША. Боря!

БОРЯ. Мы через неё чуть не повисли в вакууме. Страшная женщина!

МАРИНА. Не может быть! Ну просто не может быть! А что она сделала?

БОРЯ. Помнишь Витю Курбетского, ну, длинного и худого, как прут. Сзади меня сидел? Папа его в КГБ работал какой-то шишкой. Он и занял всё дело. Донос написала на нас Лариса. Мы уже разрешение получили. Квартиру сдали, с работы уволились, мебель распродали, сидим в пустоте на чемоданах. Одна мысль об этом в холодный пот вгоняет, а прошло столько лет. Какая-же она с-су...

НАТАША. Боря! Аня за маму не отвечает. Мы разыскиваем Аню. Забудь о её маме. Не имеет значения, что Лариса сделала.

МАРИНА. Чужая душа – потёмки. Кто бы мог подумать, что Лариса...

БОРЯ. А она нас с Наташей никогда не упоминала?

ТОЛЯ. Н-н-нет. Она никогда ни о вас, ни о Саше не говорила.

МАРИНА. При втором муже ей, может, было несподручно говорить о первом. Да и Анечка Марка папой зовет. Удочерил он её, ещё в детстве удочерил. Она о Саше даже и не знает. А Марк – замечательный муж и отец.

БОРЯ. Не понимаю. Как удочерил?

МАРИНА. Вот так и удочерил. Саша ведь уехал и от отцовства должен был отказаться. *(Пауза.)* Так что ты хочешь теперь делать? Звонить Ларисе или нет? Или сразу Ане звонить?

БОРЯ *(К Тале)*. Напёл, называется, племянницу. Как будто опять потерял. Здесь без бутылки не разберёшься! М-да... *(Оглядывается.)* Садится на диван и обхватывает голову руками.

НАТАША *(отвлекая внимание от Бориса)*. А куда вы, ребята, переезжаете? Мы с вами только воссоединились, а вы...

МАРИНА. Туда, где вечная теплота. Во Флориду! Дети выросли. Внуков нам будут присылать. Начало пенсионного возраста – это молодость старости. Главное – решиться.



БОРЯ. Наташ, что делать?

НАТАША. Твоя племянница. Твоё решение.

БОРЯ. Не прячься в кусты. Это ж была твоя идея. Говорил я тебе, не надо раскапывать прошлое.

НАТАША. Давай посмотрим на положительные стороны: Аня вне чернобыльской зоны. Аня в Америке. Аня замужем. Аня замужем за успешным человеком. Аня замужем за женщиной.

БОРЯ. Хорошо, что Бен тебя не слышит, а то за последние четыре плюса быстро бы от видеовнуков отлучил. *(Ерничая.)* Слышанное ли дело радоваться, что женщины выходят замуж! Да ещё за мужчину! Да ещё за успешного! Ай-ай, как не стыдно быть такой отсталой. *(Пауза.)* Но всё же, что делать?

Сцена 2

Год спустя. Фойе высотного пляжного жилого здания в стиле дорогого минимализма в районе большого Майами. Толя, Марина, Борис и Наташа обступили АГЕНТА ПО НЕДВИЖИМОСТИ (АПН).

МАРИНА. Ребята, давайте! А что! К нам в гости будете ездить на лифте.

НАТАША. Да, Борь, вместе – веселее.

БОРИС. Но квартира... Взорвать и заново построить.

НАТАША. Во-первых, место правильное: пляж, океан. Во-вторых, место правильное: Чернины здесь. Вернее, это первое, а первое – второе.

БОРИС. Ох уж мне твои первое и второе.

АПН. У вас собака, я слышала?

БОРИС. Крохотная. Шесть фунтов страсти на лапках.

АПН. Дайте проверю здешние собачьи правила. Минутку.

Пока АПН вынимает планшет и ищет информацию, Чернины и Зацепкины что-то обсуждают, неслышно для зрителей. Из-за кулис выезжает инвалидная коляска с Молодым Человеком (МЧ). Коляску везёт его отец (ОМЧ).

МЧ *(мычит, сначала тихо, потом настойчивей).*

ОМЧ *(Останавливает коляску).* Хочешь пить?

МЧ *(мычит).*

ОМЧ *(Достает из сумки бутылку воды. Вставляет в неё соломинку и держит так, чтобы сыну было удобно пить.)*

Вот так. Глотай. Умничка. Видишь, как ты прекрасно умеешь пить сам. Хочешь ещё?

МЧ *(мычит).*

ОМЧ *(Закрывает бутылку и убирает в сумку).* Сейчас домой придём, а там нас кто ждёт?

МЧ *(мычит).*

ОМЧ. Правильно. Наша мама. Она уже сварила нам обед. Да?

МЧ *(мычит).*

ОМЧ. Бульончик и тёртые овощи. Как ты любишь. Да?

МЧ *(мычит).*

ОМЧ *(Толкает коляску. Поравнявшись с Черниными и Зацепкиными, он дружелюбно кивает).* Какой божественный день! Ни жарко, ни холодно. В самую точку. А небо! Ни облачка. Как тут не быть счастливым? Рай. Да?

МЧ *(мычит).*

ОМЧ. Ну я пошёл, а то нас, гуляк, мама заждалась. *(Толкает коляску и скрывается за кулисами.)*

ТОЛЯ. Тяжёлый случай.

БОРЯ. В кошмарном сне...

МАРИНА *(Пауза).* Вот как такого любить? Овощ. А отец его не просто любит, а обожает.

БОРИС. Да... Вот это мужик! Сила!

ТОЛЯ. Жребий – не позавидуешь.

НАТАША. Ребёнок – не игрушка. Поломался – в магазин обратно не сдашь.

Услышав последнюю, реплику Наташи Борис вздрагивает. Что-то у него внутри смещается, и он прижимает её ладонь к своей щеке.

АПН *(Закрывает планшет).* Ну и везучие вы! Здесь можно держать собак до пятнадцати фунтов.

БОРЯ *(Наташе, шутя).* Наташка, во-первых, во-вторых... В-третьих! Бенечка – наше всё. Покупаем, ремонтируем, переезжаем, живём до самой старости и умираем в один день. Принимаешь условия? *(Обнимаются.)*



Сцена 3

Пять лет спустя. Офис адвоката Ауэрбаха.

АДВОКАТ. Ну, кто был прав? Я же говорил, что вы перепишите траст и завещание. Надеюсь, перемены произошли к лучшему?

БОРИС. Это как для кого.

АДВОКАТ. Сейчас разберёмся. Присяживайтесь. *(Берёт планшет с бумагой и ручкой.)* Итак. Какие будем делать изменения?

НАТАША. Антикварный диван в нашей большой спальне остаётся Бену.

АДВОКАТ. *(Просматривает свои записи.)* Так он и раньше ему оставался. Ох уж этот диван.

БОРИС. Десять процентов нашего состояния, как и было по старому списку, на благотворительность. Из оставшегося: половина идёт моей племяннице Анне Браун.

АДВОКАТ. Так *(Смотрит в свои записи.)* Меняете её долю. Понял. Так-с. Она замужем, есть дети. Оставить, как раньше: наследует сразу? Или хотите по частям? Нашли ли вы её адрес?

БОРИС. Сомнения у меня появились. Проблема вот в чём. Она думает, что отчим её – родной отец, и не знает, что я существую.

АДВОКАТ. А мать её жива?

БОРИС. Да. Активно в ступе с помелом летает.

НАТАША. Я ей звонила – лучше я, чем Борис. Меня она ненавидит на один миллиграмм меньше, чем его, но всё равно она так орала, как будто её на костре жарили.

АДВОКАТ. Мы ведь с вами давние приятели. За что вас можно так ненавидеть?

НАТАША. То-то и оно, что это она нас предала и – нас же клянёт.

АДВОКАТ. Типичная проекция: видеть в других свои изъяны. Тогда и подавно разговор с племянницей напрямую более чем уместен. Она – взрослая женщина. Разберётся.

БОРИС. А отчим?

АДВОКАТ. Он знает, что он отчим. Для него это не секрет.

БОРИС. Не можем мы вмешиваться в их отношения. Вдруг что-то нарушим.

АДВОКАТ. Но адрес-то вы её мне дать можете? На будущее. Так удобнее. *(Берёт планшет и ручку.)* Вам ещё до ста двадцати, как до луны. Ещё десять раз завещание измените. Сам через эти качели уже два раза прошёл, а ведь про-фес-си-о-нал!

НАТАША. Развелись?

АДВОКАТ. Боже упаси. Дети выросли. «Мы живём своей жизнью», – говорят. А раньше чьей жили? Вот у бабочек все стадии понятны. Яйцо, личинка, куколка, взрослая. Взглянешь – не ошибёшься. Висишь куколкой – спрос малый. Молчи в тряпочку. А у нас? Ходят балбесы, мозг ещё в процессе развития. Вроде выглядят, как взрослые, но не ведают, что творят. Я, я, я. Кар-р, кар-р, кар-р. Я уже даже не обижаюсь на их выходки, а изумляюсь. Если своим примером не получилось обучить их такту и милосердию, то... Вчера, например, наша старшая дочь, борец, так сказать, за права всех обездоленных и несчастных во всем мире, если не вселенной, переезжала на новую квартиру. Которую ей купил кто? Конечно мы – щедрые идиоты.

НАТАША. Ну почему идиоты?

АДВОКАТ. Сейчас поймёте. Жена неделю ей помогала паковать. Валилась с ног от усталости каждый вечер. Грузовик с грузчиками и дочкой отправили на новую квартиру, а сами по дороге в магазин заехали за её любимым фисташковым мороженым с шоколадными крапинками. Припарковались и жмём на новую кнопку домофона. Жмём и жмём. Тишина. Долгая. Мы жмём опять. «Кто там», – она спрашивает. «Мы. Открывай». «Устала я», – говорит наше сокровище ленивым голосом. – «Я позвоню, когда буду готова вас принять». Готова принять! И стою я с этим грёбаным мороженым в руках, и ищу место подходящее на стене, куда бы им запустить, чтобы увидеть, как что-то, кроме моего сердца, разбивается всмятку. Ну как с такой дочерью-куколкой разговаривать дальше? Как? О чём? Что ей можно объяснить, если всё уже давно объяснили и показали, а толку ноль? Сегодня пришёл в офис и первым делом вычеркнул её из завещания. Вернее, оставил ей доллар.

НАТАША. Вы же сами говорите: куколки и личинки. Это пройдёт.

АДВОКАТ. Вы думаете, они в бабочек превратятся?

НАТАША. Они? В летучих дракончиков – точно, а дальше...

БОРИС. Вопрос не в том, превратятся ли наши дети в бабочек. Я тоже всё ожидал, когда же Бен начнёт вылапливаться из кокона. Он, когда маленьким был, жаловался, что мальчишка в детсадовской группе схватил его игрушку или ударил несправедливо, а я повторял ему, почти автоматически, даже не знаю откуда у меня сочинилось такое – может, из моего детства всплыло – не ожидай справедливости от других, будь сам справедливым; не ожидай жалости от других, будь сам милосерден. Но что нам делать, если у наших детей включилась программа «возлюби соседа и врага», но отключилась «почитай



отца твоего и мать твою?» (*Длинная пауза.*) Мы не можем ждать от них милосердия и справедливости. Их метаморфоза – их задача, а мы должны, наконец-то, стать бабочками. Вылупиться из коконов. Понимаете? У нас своя программа.

АДВОКАТ. Ну нет! Я ещё не готов! У меня ещё всё бурлит... (*Берёт планшет и ручку.*) Кому вы завещаете оставшуюся часть вашего состояния?

БОРИС (*Накрывает Наташину ладонь своей. Наташе.*) Да? (*Всем.*) Решили всё-таки нашей личинке оставить половину. Хотя... Ему, по-моему, всё равно, получит он что-то в наследство или нет. Лишь бы мы его не трогали и потом умерли самостоятельно. Ну что ж делать, раз уж жребий нам такой выпал... Оставим ему половину, а сами: «на свободу с чистой совестью!» Да? Наташка. Теперь мы свободны. Полетели!

АДВОКАТ. А как же диван? Что это за фишка?

БОРИС. Наглядный экспонат воспитательной работы. Маленькая слабость. Ну, не ангелы мы.

Сцена 4

Продолжение сцены 1.

Мелодичный звонок в дверь удивляет Бена. Через короткий промежуток звучит ещё один звонок.

БЕН (*Идёт в прихожую, за кулисы.*) Who is there? Кто там?

МАРИНА (*Голос за дверью*). Это я, Марина, подруга твоих родителей. Всё ждала, когда зайдёшь сказать хеллоу. Вот сама...

БЕН (*за кулисами*). Заходите, заходите. (*Бен и Марина выходят на сцену.*) Извините, что и посадить, кроме дивана, вас некуда. Хотите пить? У меня только одноразовые стаканчики, но минеральная вода в холодильнике есть.

МАРИНА. Пока не надо. Так ты и есть Бен?

БЕН. Собственной персоной. Спасибо, что вы помогли меня разыскать.

МАРИНА. Какой из меня сыщик? Я искала Бенджамина Зацепкина. Кто ж знал, что ты фамилию жены взял. Странно как-то... (*Ждёт реакции Бена.*) Интересно, почему?

БЕН. Я так решил.

МАРИНА. Но ведь что-то подвигло тебя на такой необычный шаг? Это ведь так странно...

БЕН. Я вас услышал. (*Пауза.*) Я так решил.

МАРИНА. Ну что делать! Что делать... Мама твоя собиралась долго жить. Мы с ней планировали круиз на Аляску, затем поездку в Индию. А тут такое случилось! Я потом сама неделю ходила, как огушённая. Еле нашли родительское завещание и их адвоката. Боже, какое горе... Что патологоанатом говорит? Думаю, она сознание потеряла и поэтому врзалась в стену гаража, но почему вдруг потеряла? Хотя разве справкой от врача её вернёшь?

БЕН. Да, это был инсульт. Если бы она не вела машину и был бы кто-то рядом, и если бы...

МАРИНА. Если бы, да кабы, да во рту росли грибы. Ах, Бен, Бен... (*Пауза.*) Вот я что хочу... так... для себя... Никак не могу понять... (*Пауза.*)

БЕН. Может всё-таки воды? Присаживайтесь, я сейчас.

Бен уходит за водой, а Марина присаживается на диван, поглаживает его обивку, потом, вспомнив, начинает что-то искать, открывая и закрывая молнии на нескольких подушках. Найдя пакет в последней, она прижимает её к себе. Бен возвращается с пластиковым стаканом воды и протягивает его Марине. Она отпивает глоток.

МАРИНА. Вот скажи мне. Чем тебя обидели родители?

БЕН. В каком смысле?

МАРИНА. Может, в детстве часто наказывали или избивали, а? Или, может, заставляли часами играть на пианино или тубе, например, или сделали из тебя вегетарианца поневоле, или закармливали тушёной из банки, пищей, макаронами и консервной фасолью? Может, ругали тебя злобно и часто? Может, жениться по любви помешали? Что, что они сделали, чтобы заслужить к себе такое отношение?

БЕН. Какое отношение? Я не понимаю.

МАРИНА. Не понимаешь? Ну хорошо, давай попробую по-другому. Какие у тебя были отношения с родителями?

БЕН. Нормальные.

МАРИНА. Нормальные? Что такое *нормальные*?

БЕН. Я... Я поздравлял их с днями рождения. Мы присылали им открытки на праздники. Они мне звонили под Новый год, говорили, что это русская традиция – родным и любимым звонить.

МАРИНА. А когда ты их в последний раз навещал?

БЕН. Ну... По-моему... В...



МАРИНА. То есть, нормальные отношения, но не помнишь, когда навещал.

БЕН. Но я их любил.

МАРИНА. В каком смысле «любил»? Что такое любовь?

БЕН (*Руки на сердце*). Вот здесь я их любил.

МАРИНА (*Пауза*). Интересная какая любовь... Ладно. Хорошо. (*Еле сдерживает себя*.) Вернее, плохо, но этот вопрос мы закроем. Галочку поставим. Идём дальше. (*Нервно поглаживает диван*.)

БЕН. Диван... Какой-то странный...

МАРИНА. Да, вещь! Мама твоя его очень любила, а папа очень любил маму. Этот диван – тоже о любви. Прибегает ко мне твоя мама в восторге. «Я такое сокровище нашла, такую красоту в антикварном! Идём, посмотришь тоже. Резьба уникальная!». Иду. Смотрю. Истлевшая обивка. Внутри одна труха, и три пружины торчат. Как любил говорить твой папа: «Выкрасить и выбросить». Но мама твоя не сдалась. Нашла реставраторов. Всё сделали по первому классу и доставили на дом. Несут в спальню. И так стараются просунуть, и сяк, а он не влезает. Папы твоего в этот момент дома не было. «Наташка», – говорю ей. – «Мало тебе не будет от Бориса», а она только отмахивается. «Ты что, Борю не знаешь? Найдёт вариант. Он всегда находит». И что ты думаешь? Таки нашёл!

БЕН. Я уже все варианты перебрал, как его можно вынести. Или почти все? (*Детально изучает стену за диваном. Проводит пальцем, пытаясь нащупать стык в штукатурке*.)

МАРИНА. Сказать?

БЕН. Обождите. Ну я же папин сын. (*Продолжает изучать стену*.)

Звонок в дверь.

БЕН. Что-то я сегодня популярен.

МАРИНА. Это, наверное, Анечка. С тобой хочет познакомиться. Приехала делами наследства заниматься. У меня остановилась. Кстати, с папой и мужем приехала. Мать наотрез отказалась.

БЕН. Анечка, муж, папа, мать наотрез... Кто такая Анечка? Ваша племянница?

МАРИНА. А тебе адвокат не сказал?

Ещё один звонок в дверь.

БЕН. А! Анечка! Anna Braun. Сразу не сложилось. Я собирался ей звонить. (*Уходит открывать входную дверь и возвращается с Аней. Смотрят друг на друга*.) Вы на моего папу очень похожи.

АНЯ. «Ты».

БЕН. Что я говорю! Вы... Ты на своего папу похожа, а твой и мой были очень...

АНЯ. А ты знал моего биологического отца?

БЕН. Ещё как! Он меня плавать научил.

АНЯ (*Убитым голосом*). А меня нет. Расскажешь мне о нём?

БЕН. И фотографии его покажу. Только с диваном разберусь сначала.

АНЯ (*Смотрит на диван с интересом*). Надо же – стиль викторианской готики. Ни у кого в доме раньше не видела. Очень элегантный.

МАРИНА (*Протягивает Бену подушку*). Хорошо, что вспомнила.

БЕН. Вы эту подушку хотите?

МАРИНА. Мама твоя любила в подушки засовывать всякие «секреты». Я в детстве тоже увлекалась. Под стёклышко в ямку в земле прятала что-нибудь приятное: то пуговичку интересную, то фантик яркий. (*Нажимает на подушку*.) Здесь что-то есть внутри.

БЕН (*Берёт подушку и достаёт из неё пластиковую пакку. Открывает*). Мой кусочек! (*Вынимает ветхий кусок ткани с детским рисунком*.) Это с моего детского одеяла. Я без него ни на шаг, а когда болело что-то или страшно было, я губами до кусочка должен был дотрагиваться. Кусочек... (*Вынимает фотографию*.) Хм. А это мы на Аляске в рыбном инкубатории. Мама чем-то расстроена была. (*Вынимает листок бумаги. Читает, сначала про себя, горько усмехаясь*.) Это сочинение школьное моё. Второй класс, наверное. (*Читает вслух*.) Бен. Моя семья. Я люблю маму и папу. Моя мама очень красивая. Она всегда улыбается. Больше всего мы любим болтать и играть на пианино. Мой папа инженер. Он начальник. У него 100 электриков, а, может, 200. Все его уважают. Я его люблю. Он со мной смеётся. Мы запускаем модели ракет в парке. Мои мама и папа самые лучшие, потому что они меня любят. Когда я вырасту, я буду работать в суде и защищать бедных. (*Молчит. Теряет кусок ткани и подносит его к губам, потом отворачивается в сторону и плачет*.)

МАРИНА. Бен, Бен, а ты не такой безнадежный, как казалось. (*Пауза*.) Пойду я обед готовить. Бен?

БЕН. А? (*Поворачивается, вздыхает, прячет кусок материи в пакку*.)

МАРИНА. Квартира 802. К семи вечера. Помянем твоих родителей. С Бенечкой, с их собачкой, познакомишься. Он старенький уже. Пусть у нас в знакомом месте доживает, если не возражаешь. Так рассказать, как диван попал в эту комнату?



БЕН. Стоп! Во-первых, я уже вычислил, как папа его внёс, а это значит, что, во-вторых, мы его вынесем тем же макаром. Но, в-третьих... Я его собирался на свалку отвезти, но после вашего рассказа... Не выбрасывать же его в самом деле. Куда его?

АНЯ. А мне он нравится.

БЕН. Мне эту подушку, а тебе диван. Пойдёт?

Аня кивает.

МАРИНА. Смотри, сообразил-таки! Точно, как Борис. Ну вылитый Борис... И Наташа. Нет, наверное, всё-таки Боря. Или Наташа?

БЕН. Так. Окончание сделки отложим на несколько дней. Ничего, ничего. Небольшие неудобства, но это только вопрос денег. Завтра найду подрядчика. Вырубим дыру в этой стене и спокойно вынесем этот диван преткновения из спальни, а потом дыру заделаем. Да? *(Подмигивает Марине).* Начнём здесь. *(Берёт нож со стола и втыкает его в стену сбоку от дивана. Царапает вертикальную линию.)* Потом сверху. *(Царапает горизонтальную линию.)* И потом здесь. *(Царапает вертикальную линию сбоку от дивана.)* Вот. Прорубим окно в будущее.

КОНЕЦ

Халландейл Бич, Флорида, 2019

БОРИС ВОЛЬФСОН

КОГДА БЫ ВЕЧНЫЙ ШУМ УГАС

ПОСЛЕ ПОСТМОДЕРНА

Сумбур – не вместо музыки, сама
гармония в обличии сумбура –
сводящая с беззвучного ума
в семь нот и семь цветов клавиатура.

Пространства прохуdivишийся мешок:
дождь льёт из дыр, дом чёрен и уродлив.
И гром, и голубой электрошок,
и дерева мгновенный пероглиф.

Какой непоэтический экстаз!
Какие Гойя, Фолкнер или Скрябин!
Гимн саморазрушенья, меткий сглаз,
но следопыт расхристан и расхлябан.

Под метроном в окно летящих брызг
проходит время точку невозврата
сквозь скрип и скрежет, сквозь разбитый вдрызг
мир звуков в форме чёрного квадрата.

И Пифагор квадратных чёрных дыр
не видит, где горит его лампада.
Нацелившись в зенит, летит в надир
безумная мелодия распада.

Со звоном осыпаются века,
но разлетевшись клочьями тумана,
вновь возникают из черновика
какого-нибудь Гриши Перельмана.

Чтоб сунув руку вечности в карман,
нащупал там иную партитуру
иных гармоний новый меломан,
отдавшись с упоением сумбуру.

ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ

дограница молится
заграница дразнится
и граница где хранится
между ними разница



там колиты целлюлиты
тут культурные элиты
заграница-старица
на границу зарится

но следят за ней из цупа
пёс ингус и карапупа
разделяет полюса
следовая полоса

хищно смотрит из-за мкада
кот на мышку в теремке
не взломать ему замка-то
раз граница на замке

АТЛАНТИДА

Жить не по лжи возможно не вполне.
Но если ложь навязана стране
под видом правды, рушится страна,
идёт ко дну, не достигая дна,
которого не видно в море лжи
сквозь ложь, её цветные миражи.

Беда же в том, что дно, конечно, есть, —
пусть многослойно и слоёв не счесть,
но тот, кто погрузился в этот ил,
солгать лишь может, что обратно всплыл.
Увы, приобретения свои
не отпускают донные слои.

Ну что ж, кто не обманет — не продаст!
Кого продаст? Да хоть родную мать!
На шее камень — это лжи балласт, —
со дна его не станут поднимать!
Там света нет и воздуха, лишь тьма —
последняя, посмертная торьяма!

Жить не по лжи возможно не вполне!
Мы тонем, тонет наш бессильный крик.
Лишь мусор и обломки на волне
расскажут про погибший материк
и как урок потомкам сберегут
всю правду, но, возможно, и солгут.

Я барабан, я даже не родня
творцам — лишь инструмент, пустая тара
для звуков, — я не то чтоб жду удара,
но отзываюсь, если бьют в меня!



Как жаль, что музыку светил,
кружащих по хрустальным сферам,
нам, верящим любим химерам,
наш опыт слышать запретил.

Точнее, мы её с собой
привычным фоном нудно тянем,
не слыша, как островитяне
не слышат волн морских прибой.

Поют, но не мешают снам
светила на своих орбитах —
на языках, давно забытых,
когда-то ведомых и нам.

Когда бы вечный шум угас,
мы б, вероятно, разгадали,
что с тыльной стороны медали
вселенной спрятано от нас.

Но отражением в волне
нам видится, а может, снится,
как сфер хрустальных колесница
летит в звенящей тишине.

ВОСПОМИНАНИЕ

И всё же это была любовь —
не такая, когда слиянье душ,
но заставлявшая усмирять
невыносимый глагол «хочу».

Летняя ночь молодым телам
плохой советчик: сознание спит,
а тормоза — будто их и нет,
причём у обоих; однако он,

вдыхая запах её волос,
касясь губами прохладных щёк
и даже лаская под блузкой грудь,
дальше зайти себе не позволял.

И она, и он понимали, что
роман их, конечно же, обречён.
А может быть, знал это только он —
вот и не делал последний шаг.

В их расставанье не было слёз —
лишь осознанье — пришла пора.
Всё же она вздохнула, а он
помнит её до сих пор, хотя

минула жизнь, но когда июль
снова под вечер шумит листвой,
будто расслышав далёкий смех,
он говорит себе: вот дурак...

НЕГАТИВ

Тень проявляется светом, а свет превращается в тень, –
и чем ярче, тем глубже, как тысяча лье под водой.
Бело-чёрной осой на сознание садится мигрень
и впиивается в мозг, и сияет погасшей звездой.

Тайна, ставшая явью, пугает и режет глаза,
невозможно вдохнуть затвердевшего знания газ,
бесполезно звенит, растекаясь по древу, фреза,
и не знаешь, что делать с согласьем, сменившим отказ.

Омывает волной налетевший извне суховец,
дождь слепой прожигает холодной слезой изнутри,
и чужая тарелка себя объявляет своей,
и пульсирует боль, как часы по команде «замри».

Новой истиной стал очевидный и наглый фальшак,
и квадраты по рельсам стучат на манер колеса.
От любви к нелюбви незаметный мы сделали шаг,
и ступившийся мозг проедает мигренью оса.

МОЛИТВА

Господи, в свой дом не зови,
ты ведь сам приходишь ко мне.
Знаю я: ты имя любви,
а не эта груда камней.

Что иконы? Смотрят из рам
в сон, который душен и сер.
Господи, зачем тебе храм?
Может, лучше всё-таки сквер?

Летний вечер тих и альтов,
вера трав и ветра проста.
Здесь я снова слушать готов,
что ты скажешь мне из куста.

Это время на нас клеветет:
мы пока не прельстились раем
и ещё не пакуем вещи –
только в стопочки собираем.

НАТАЛИЯ КРАВЧЕНКО

В ТИТРАХ ОГНЕННЫХ ЗВЁЗД

И тихо теплится окно,
чуть освещая жизнь,
что положила под сукно,
сказав ей: отвяжись.

Но даже в холоде и мгле
найдётся уголёк,
и будет снова на земле
светиться огонёк.

Светай, светай в моём окне,
пусть разойдётся тьма.
Как глубоко ты нужен мне –
не знала я сама.

И трубка пусть заморозит,
молчание поправ,
и доказав, что дальше – жизнь,
что был Шекспир не прав.

Зарыться в свою берлогу,
пытаться в твой влиться след,
забытой игрушкой бога
пылиться в шкатулке лет.

Мы были в единой связке,
и вдруг оборвалась нить...
Не вышло, увы, как в сказке,
в один с тобой день свалить.

Висит над моей кроватью
и светится по ночам
связавшее нас объятье,
как плач по твоим плечам.

А кожа имеет память,
такую же, как душа,
в волнах твоих глаз купая,
теплом твоих рук дыша.

Как шарики трепетали,
запутавшись за карниз...
Как будто из смертной дали
последний твой мне сюрприз.

И шифр неземного слога
читался легко губой...
Но ты подожди немного,
я буду опять с тобой.

Рыдает безмолвно слово,
не сказанное в свой час.
Отчаянней, чем живого,
люблю я тебя сейчас.

Смерть-охотник в зайчика стреляет,
умирает милый зайчик мой...
Пусть ещё на свете погуляет,
каждый день я жду его домой...

За меня цеплялся слабый пальчик,
но разжался, ускользая в рай.
Зайчик моей жизни, солнца зайчик,
не погасни, будь, не умирай!

О прости, что я не защитила,
пулю на себя не приняла.
Я судьбе по полной заплатила.
Я с тобой счастливою была...

наш город которого в сущности больше нет
который остался на контурной карте лет
кукушка в часах разевает голодный клюв
мне нечем кормить тебя птица уйди молю

всё пожрала кукушка лет больше нет
любимые души взирают с иных планет
рассвет в окне заливается краской стыда
за то, что не вытянет в небо наш день уже никогда

Смерть кровавым зрачком
смотрит со светофора.
Опрокинет ничком
или даст ещё фору?

Переждать не хочу
желтоглазую морось,
я на красный лечу —
ничего, что мы порознь.



Твои знаки ловаю –
ты ведь знал, что поймаю.
Я всё так же люблю,
в тёплых снах обнимаю.

Жизнь как чьё-то авто
пусть пронесётся мимо.
Настоящее то,
что бесцельно и мнимо.

Из улыбок и слёз
нашу повесть сплетаю.
В титрах огненных звёзд
твоё имя читаю.

Мою голову клал ты себе на плечо,
нежно глядя, прощаясь, слабей...
На душе от запёкшихся слов горячо.
Сколько их не сказала тебе я...

Я живу без тебя – ни жива, ни мертва,
ночью шарю рукой по кровати.
Если раньше была перед Богом права,
то теперь нет меня виноватей.

Шёл, качаясь, бычок по короткой доске –
обернулась доска гробовою.
Почему за тобою в едином броске
я не кинулась вниз головою...

Я иду на твой голос, на свет, по пятам,
я к твоей прижимаюсь одежде.
Милый, бедный, родной, ты услышь меня там,
я люблю тебя жарче, чем прежде.

На могиле твоей всё теперь для двоих –
нашей общеною станет норою.
Твоим косточкам будет теплей от моих,
когда я их собою укрою.

Ты меня обязательно помни и жди,
посылай мне счастливые вести.
Спи спокойно и верь сквозь снега и дожди,
мы с тобою опять будем вместе.

Как обернулись близкими стволы,
чтоб ветки я их гладила как руки,
когда голы, пусты мои тылы,
и ни души не слышится в округе.

Ты сможешь эту истину понять,
сорвав с души последние отрешья.
И если стало некого обнять –
то обнимай собак, детей, деревья...

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ

КРУГ РАЗОРВАТЬ

ТРИ СОЛНЦА

Присущие миру, как выдох и вдох,
три пламенных солнца по небу идут.
Являет планете тройную звезду
незримая тайна, единая в трёх.
В исконном порядке, который вменён
законом вселенной и мерой земной,
тройным циферблатом в трельяже времён,
сияющим цугом плывут надо мной.

Три Света скользят по упругой дуге.
И первый, белее полярного льда,
в лучистой короне алмазный брегет
из будущей жизни восходит сюда.
Нездешнее солнце, блистающий дух
прозрений, наитий, пророков, жрецов,
японская астра в небесном саду
потоки времён заплетает в кольцо.

Вторая звезда – изумрудный портал,
светило, которое видят в раю –
в идей и событий согласный хорал
вливает глубокую ноту свою.
Пространства прошиты спиральной волной,
мгновенны послылы сквозного луча.
И дело творения смысла полно,
и солнца галактик синхронно звучат.

А третьего солнца пресветлый фантом,
ласкающий душу и внятный глазам,
встаёт и уходит немного потом.
И протуберанцев горит органза,
и крутится-вертится спелый ранет,
где джунгли и люди, гранит и вода,
блаженно вбирая божественный свет...
И третий закат наступает, когда
отстав на полтысячи здешних секунд,
даруя вечерней зари благодать,
уже окунается алый корунд
лицом утомлённым в багровую гладь.



ПРОЛОГ К ЗОЛОТОМУ КЛЮЧИКУ

Он сидит на стуле, греется у огня.
От него ложится тень на щербатый пол.
За стеной метёт. Но событий лихой сквозняк
никаких щелей в мастерской себе не нашёл.

И, однако, холодно. Только он да очаг
согревают друг друга. Тюбиков скорлупа.
На гвозде куртка – нет ни жены, ни чада,
потому и азбуку некому покупать.

Он почти старик. Ладони ловят тепло.
Интерьер скупой из темени по углам
и словых подрамников. Верный ему оплат
не пускает сюда лишний и праздный хлам.

Он прошёл сквозь жизни пожар и успеха дым,
он видал и гари, и блики ночных костров,
он глядит туда, куда не попасть другим –
уроженец вольного города Мастеров.

Ничего нигде никогда не сторит дотла.
Приручает пламя зыбкий ночной рубеж.
На полу палитра, кисть, и её краплак,
как язык огня, горяч, своенравен, свеж.

Он устал, но не это важно – щедры дрова.
Он успел сегодня сделать, что захотел.
Допотопный свитер добротен и мешковат,
и пылает жаркий очаг на его холсте.

СТРОКА

Посыл! Стрела скользит из колчана,
ещё не зная, *что* стрелок увидел,
какая цель соединится с ней.
Движением могучего ума
Гомер, Экклезиаст или Овидий
сумели бы смелее и верней.
Но лучник дерзок, лучнику дано
заметить то, чего не видит ближний.
Он чует цель, и лук его упруг,
и острия горячее зерно
способно зачинать стихию жизни,
не истреблять, но сеять новый звук.
Её судьба мгновенна и полна.
Она права в стремительном полёте,
её освободил мятежный дух.
И воли напряжённая струна
звучит на ей одной суждённой ноте
во исполненье роли этих двух.

МАССАРАКИШ

У несчастья свои назойливые резоны.
 Человек, человечество – только вопрос числа.
 ...Сумасшедшая женщина с личиком искажённым
 подбирала мусор и в урну его несла.
 Из чего родился этот комок печалей?
 Кто убил её детство, кем силкок снаряжён?
 И глаза её извинялись, звали, искали,
 а гримаса улыбки резала, как ножом.
 Измождённый подранок, пыталась мало-помалу
 разгрести пространство для жизни иной, большой,
 исполняла дело, как его понимала
 обнищавшим разумом, скорбной своей душой.

В океане есть острова из плавучей дряни,
 исполинские, не влезающие в окоём.
 Из трясины цветной, из продукта людских стараний
 поднимается солнце над мокнущим лишаём...
 Чуть поменьше Гренландии и побольше Суматры,
 где ни ряби, ни рыб летучих, ни рыбаков –
 в колыбелях течений находкой для психиатра
 размещаются и вольготно, и широко.

Массаракиш. Накрывают пески, что саванной было.
 Где жила антилопа – сегодня ползёт змея,
 и суда в солёной пустыне на ровном киле,
 на ржавеющих днищах обморочно стоят.
 На поверхности рек проступают барханы мелей,
 астматически дышат целые города.
 Орбитальный хлам, миллионы гектаров пней ли –
 чем сумеешь чёрный промысел оправдать?
 Ты, гарант, профессионал из мусорной лиги.
 Ты, гельминт из сената, конченное жульё.
 Господин олигарх из обоймы других олиго.
 Сумасшествие этих – большее, чем её.

Выбирай: или дети индуса, сакса и росса –
 или власть отброса, который себя плодит.
 Выбирай, не задавая детских вопросов,
 в силу права, определившего твой вердикт,
 ради жизни, уничтожаемых тихой сапой,
 ради женщины, искупавшей нашу вину...
 Гоминид эректус, пока никакой не сапиенс,
 прибери за собой планету свою, говнюк.

ПРИГТЧА О СТРАХЕ

Ранним утром в колодцы стекает мрак,
 горизонт выталкивает светило,
 и саванну, насколько глазам хватило,
 заливает его пламеносный зрак.
 Чередой плывут кувшины с водой,
 и мужчинам тоже найдётся дело,
 и один из них, разминая тело,
 налегке устремляется за едой.



Тот мужчина ловок и полунаг,
он силён уверенностью индейца,
он недаром хочет, не зря надеется,
он владеет Секретом и знает – как.
Где равнины вибрируют от копыт,
он найдёт положенную добычу,
и обычай охоты – его обычай –
существо намеренья подкрепит.

Он давно и до кочки знает дорогу,
и теперь, замыкая её в кольцо,
не спеша трусит со своим копьём
к аккуратно выбранной круторогой.
Та не видит в этом большой беды
и срывается с места. Но так и надо.
Он бежит, отделяя её от стада,
накрывая ступнями её следы...

Он бежит не час, не два и не пять,
огибая кустарник, форсируя вади,
он бежит убийственной цели ради,
отнимая надежду за пядью пядь.
Он заставит фатальный итог принять,
предъявляя жертве свои резоны,
появляясь вновь на её горизонте,
возникая в зрачке опять и опять.

А о том, что можно круг разорвать –
быстроногой издревле знать не положено.
И она, сиротливой тоской стреножена,
принимает погибельной доли кладь.
Не желая видеть, не в силах смечь,
антилопа падает на колени,
и глаза её застилает тенью
краснокожий ужас, а следом – смерть.

Нам повезло, что в этом мы не лжём,
что можем дать и взять, не оскорбляя,
что позвоночник прям и не виляет,
не егозит испуганным ужом.

Пусть чувство своевольно и свежо,
Восьмая и тем более Седьмая –
они вины за нами не признают –
не унижаем душу дележом.

Черновиков поправить не вольны,
но снег в ложбинах, след морской волны
и запахи альпийские густые –

как лучших строк обетованный свет,
как терпкий вкус вина негласных лет,
как золото вечерней Византии.

«СЕТЧАТКА»

К 125-летию А.И. Цветаевой

НАТА ЕФРЕМОВА

«ЛЮБОВЬ ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО НЕОБХОДИМАЯ»
библиографические заметки о жизни и творчестве А.И. Цветаевой

«В несчастной жизни моей была счастлива!»

«Любовь есть начало и основание всех христианских добродетелей... Взаимная между собой любовь для всех и каждого», – так говорил в своей проповеди священник отец Владимир, дед сестёр Цветаевых. Для них постижение этой заповеди стало «дорогой к Храму». Правда, Марина Ивановна прервала этот путь насильственной смертью. Марина сделала это тоже во имя любви, безграничной любви к сыну. Что же касается Анастасии Ивановны, то она в самых тяжких испытаниях нашла для себя спасительную формулу: «Жизнь трудна, но она прекрасна и потому жизнь надо терпеть до конца».

Анастасия Цветаева рано начала вникать в смысл собственной жизни. В какой-то степени на неё повлияло духовное наследие цветаевского «священнического» рода. О его корнях и ветвях читателям поведала краевед Г.К. Кочеткова в исследовании «Дом Цветаевых. – Иваново, 1993». Эта книга явилась как бы летописью выполнения Цветаевыми не только церковного долга, но гораздо более глубокого – общественного служения культуре, просвещению. Никто из потомков священника Владимира Васильевича Цветаева не выпал из ряда достойных продолжателей его подвижничества.

Отец Марины и Анастасии Цветаевых – Иван Владимирович в тридцать лет стал всемирно известным учёным, посвятил четырнадцать лет созданию прославленного Музея изящных искусств в Москве. На этот храм науки и искусства его супруга Мария Александровна завещала значительную часть личного состояния, не пожалев «урезать» долю собственных наследников. Своих детей супруги Цветаевы хотели видеть целеустремлёнными, и главное – живущими честно. «Во все дни и годы жизненных испытаний память о таком отце, о такой матери говорила в нас полным голосом», – писала о себе и сестре Марине Анастасия Ивановна.

Наследие Анастасии Ивановны долгое время было мало изучено и библиотекарям 1990-х годов приходилось работать «по живому», извлекая из разных источников драгоценные крупинки нравственных уроков. Сразу замечу, что биография А.И. Цветаевой – это *не жизнь схимницы*, и её нельзя выставлять в ореоле традиционной святости. Жизнь Анастасии Ивановны, по-моему, интересна как процесс накопления умения поступить по-христиански, как процесс освоения применения десяти христианских заповедей к современной жизни.

Благодаря отцу и матери Марины и Анастасия Цветаевы сёстры приобщались к культуре разных стран. С ним они путешествовали, жили в Германии и Италии, познакомились с зарубежным литературным миром. Юность сводила сестёр с людьми разнообразных увлечений и убеждений. Об этих встречах Анастасия Ивановна поведала в своих «Воспоминаниях», издававшихся несколько раз. Книга объёмна, насыщена интереснейшим историко-культурным материалом, читатель разного возраста найдёт в ней пищу для плодотворных раздумий.

Анастасии Ивановне запомнилось посещение в 1914 году дома цветаевских знакомых – сестёр Евгении и Аделаиды Герцык. Запомнилось тем, что там «прочно жило уважение к религии». В этом московском доме состоялась встреча юной Анастасии с Львом Шестовым, мыслителем-философом,



посвятившим несколько десятилетий разработке оригинальной концепции отношений между Богом и человеком. Анастасия испытала понятное сомнение, давая Шестову на прочтение рукопись своих глубоко атеистических «Размышлений». В них были такие строки: «Какое Бог имеет право создавать людей?.. Мы для него не более, чем для нас муравей, которого давим ногой, не замечая. И странно, что Бог нас не раздавил!». К удивлению Анастасии, Шестов не отверг дерзкого молодого автора. Искренность чувства и оригинальность некоторых размышлений Цветаевой о сложных вопросах бытия показали Шестову заслуживающими внимания, и он рекомендовал Анастасии Ивановне опубликовать её сочинение, предложил помочь в этом деле.

В том же году в Петрограде у Анастасии Цветаевой произошла встреча с известным публицистом, религиозным философом В.В. Розановым. И повторилось то же, что с Шестовым: «Он не ополчился на мой протест против его веры... Он берёт мои руки и смотрит в глаза, и его усталый голос говорит мне о том, какие ещё перемены меня ждут». Для Анастасии эти две встречи запечатлелись, как урок на всю жизнь – урок веротерпимости. И с тех пор она сделала для себя неизблемым принципом – принимать человека не по приверженности к той или иной вере, а по отношению к другим людям, по степени устремлённости к добру. Она научилась принимать несовпадения со своими мыслями и чувствами настроения и мировоззрения других людей. Она научилась принимать жизнь в её противоречивости и неделимости на чёрное и белое. Не потому ли, пройдя через многие испытания, Анастасия Ивановна не потеряла интереса к окружающим, не ожесточилась?..

Ей довелось пережить уход первого мужа, смерть второго, потерю младшего сына Алешки. Прошла через бедность и скитания по чужим углам, через предательство некоторых друзей. В голодные и холодные послереволюционные годы не поддавалась отчаянию: мастерила кукол, надеялась их продать, преподавала в школе грамоты, шила из веревок и парусины обувь, осваивала бухгалтерскую премудрость и канцелярское дело. Всё давалось тяжёлым трудом, но зато она с гордостью могла сказать, что «от бедности Цветаевы не умирают».

В самые трудные минуты она верила в то, что найдёт поддержку свыше и всем советовала: «Неважно, верующий вы или нет... Когда тяжело, всегда просите о помощи. Адрес есть и просьба дойдёт». Ей вспоминалось, как отец наставлял старшую дочь Валерию (от первого брака): «Помни, что те, кто ни во что не верит, в тяжёлую минуту кончают самоубийством».

У Анастасии Ивановны испытания оказались долгими: годы заключения, – тюрьмы, лагерей, ссылки. Однако жизнь духа не была сломена. По возвращении Анастасию Ивановну спрашивали, что ей помогло преодолеть такие тяготы. Она отвечала: «Только вера. Я верила в Бога, в судьбу, в справедливость. Это спасло меня». За умение сопротивляться обстоятельствам, за верность нравственным принципам её прозвали «Марфа Посадница», справедливо сравнивая её с легендарной женщиной, не побоявшейся выступить против всемогущего царя Ивана III. Достоинна преклонения сила характера Анастасии Цветаевой, сумевшей закалить себя духовно, взрастить свой художественный талант вопреки обстоятельствам: в тюрьме писала стихи, в лагере создала роман «Апог», в ссылке – рассказы о животных. Она поняла, что творчество спасает, что её размышления нужны другим людям и что ей было что сказать и репрессированным, и тем, кто находились на свободе.

«Ничто не трудно для любящего сердца»

В 1994 году (после смерти автора) вышла подборка сказок А.И. Цветаевой. «Сказки» изданы небольшим тиражом и содержали всего три «новеллы». Но как много дали они для расширения нашего представления о жизни и творчестве А. Цветаевой! Её личность раскрылась в уникальном триединстве: мастер мемуарного жанра и публицист, а после выхода сказок она предстала перед читателями и как мудрая рассказчица, достигшая философских вершин в толковании нравственных основ мироустройства. Её повествование свободно от пространных утомительных рассуждений, от наукообразных построений. Всё рассказываемое доставляет удовольствие светлой простотой, чарующей образностью, проникновенностью мысли.

Читатель, неравнодушный к тайнам бытия, с особым интересом воспринимает притчу «Лесной учёный». В ней повествуется об отшельнике, который долгие годы бился над извечной проблемой – сделать мир счастливым. Ему удалось открыть секрет получения золота. Но в конечном итоге это открытие не принесло ему радости: волшебник понял, что «золотой дождь» не осчастливит человечество, потому что не изменит в лучшую сторону самих людей. Надо было придумать, как освободить их от всего, что мешает им быть в гармонии с миром и друг с другом. Возможно ли завершить этот труд? Вот вопрос, переходящий из цветаевской сказки в реальную жизнь. Вопрос, который наследует одно поколение за другим. И возможно ли вообще его разрешить?..

Готовя сказки к публикации, Анастасия Ивановна писала: «Чудом уцелевшие три сказки... Где они все? Сожгли в НКВД? А было их не меньше двух томиков – волшебные, символические, восточные тартарские (живя в Крыму)...».

В одной из пропавших сказок высвечивался, как мне кажется, образ Марины Цветаевой, предугадывалась линия её трагической судьбы. Это была сказка о Каменной королеве с такой концовкой: «Не пережив разлуку с любимым, когда он ушёл на войну, не дождавшись его из безвестной дали, она (королева) превратилась в камень... Памятник ожидания, в вечность перешедшую память о нём...».

В перипетиях цветаевских жизней часто случалось так, как заметила Анастасия Ивановна: «Это было, но и она – сказочно». После 1927 года сёстрам Цветаевым не суждено было больше встретиться. Но в 1943 году в тюремном лагере Анастасия Ивановна получила вполне осязаемый и сказочно удивительный последний привет от сестры. В новелле «О Марине, сестре моей» читаем: «Я увидела у одной вскоре освобождающейся женщины... цветок, любимый Мариной, разросшийся в комнатное дерево – серолист. Я сказала о Марине владелице дерева и она подарила его мне». И однажды случилось следующее. Я рисую Марину. Было совсем тихо, никто не шёл по мосткам, ведущим в маленький наш барак, и не было за окном ветра. Внезапно, как бы в порыве сильного ветра, все ветки серолиста всплеснулись шумно. Все мы поражённые смотрели друг на друга, молча, я – оторвавшись от маринино портрета. Дерево медленно успокаивалось. Марина дала знать о себе?»...

Но вернёмся ещё к сказкам. В этих маленьких шедеврах *человековедения* есть открытый нам источник лучших людских свершений: «Ничто не трудно для любящего сердца». Это звучит как напутствие читателю. Вот в чём главное: если душа будет добрее, может, и наш век, «слезам не верящий», станет хотя бы немного уютнее для тех, кто не оказался на вершинах нового уклада жизни. Но воспитание в себе человеколюбия – это поистине подвижнический труд, мало кем в собственной жизни завершённый!

На едином дыхании прочитывается сборник А.И. Цветаевой – «О чудесах и чудесном», напечатанный в Москве фирмой «Буто-пресс» в 1991 году. Анастасия Ивановна рассказывала мне, что испытывала определенные сомнения: стоит ли издавать рукопись. «Сначала я думала, – говорила Анастасия Ивановна, – что это можно давать только верующим, ведь я пишу о фактах с материалистических позиций необъяснимых» (*Авторская запись Н.П. Ефремовой – ред.*). Позже её сомнения рассеялись. Стало ясно, что сборник занимателен для верующих и неверующих, потому что за всем чудесным автор открывает нам главное чудо – самого человека.

В жизни тех, о ком повествуют новеллы, чудесно-необъяснимое начиналось тогда, когда они осознавали свою общность с другими людьми, своё единство с земной и космической явью. Персонажи новелл запоминаются своей устремлённостью к творению добра. Такова старица Ефросинья. В свои сто лет она сумела выкопать колодец-купальню для лечения больных и многих там исцелила.

Об утверждении добра заботится и безымянная вещунья, предупреждающая прохожую женщину, чтобы она не обходилась плохо со своими близкими, не ссорилась ними. Особо душевно повествует Анастасия Ивановна о её давней знакомой – Верочке Молчановской. Эта подруга Цветаевой все десять лет, что Анастасия Ивановна томилась в дальневосточном лагере, слала ей помощь, отказывая себе во многом необходимом: так она понимала высокую обязанность дружбы!

Есть новела и об удивительном случае с самой Анастасией Ивановной, которая в молодости дала себе слово – никогда не лгать и долгие годы не изменяла этому принципу. Но однажды его нарушила: сказала грабителям, что они напрасно ищут у неё деньги. Сказала, забыв, что у неё на поясе висел мешочек с деньгами. Грабители её обыскали, но ничего не обнаружили! Кто знает, чему приписать этот счастливый исход – случаю или провидению.

Говорить правду и только правду для Анастасии Ивановны было нормой повседневной жизни. И в этом смысле она заботилась не только о собственной репутации. Перед лицом потомков она хотела уберечь от искажений и дорогой ей образ сестры Марины, исправить любую неточность, допущенную Мариной Ивановной, любую бестактность. «Марина не всегда была справедлива в оценке людей», – замечала Анастасия Ивановна. И в этом признании звучала и боль сожаления о непоправимом, и уверенность в том, что надо предостеречь читающих цветаевское наследие от заблуждений. Во имя истины она не боялась нанести урон авторитету Марины Ивановны, ради этого не щадила и себя, осуждая за любые случавшиеся с нею нравственные погрешности и просчёты.

«Чудесна жизнь, если есть такие люди»

В повести «Моя Сибирь», законченной ею в 1976 году, Анастасия Ивановна многие страницы написаны как покаяние. Анастасия Ивановна вспоминала с неизжитой болью, как однажды не могла ничем накормить голодную собаку («но не было даже корки хлеба»), как не почувствовала приближение расправы над подружившимся с ней гусем-калекой (сколько раз заступались за него!), а однажды не нашла в себе сил, чтобы в холодной избе подняться с постели и открыть дверь знакомым детям («хотя и не по делу пришли, а движимые только желанием общаться»). На первый взгляд всё это вроде бы мелочи, не достойные воспоминаний. Но только не для Анастасии Ивановны – для человека, завещавшего нам



«жить по правде», как когда-то завещала ей мать.

Заголовок «Моя Сибирь» – вызывал ожидание современников, что в книге прежде всего состоится разговор о том режиме, который называется «сталинским», о политической атмосфере того времени, о репрессиях. Но такого в книге было менее всего. Почему? Наверное, для Анастасии Ивановны это не представляло интереса, не содержало ничего, подлежащего открытию и обдумыванию. Зато во всём другом, прежде всего в людях, она видела необходимое пространство для осмысления.

В Сибири, в экстремальных условиях, когда легко было огрубеть и даже «озвереть», А.И. Цветаева предстаёт перед читателем человеколюбивой Асей из интеллигентной русской семьи, наделённой неизбывной душевной щедростью. Вот она стоит перед выбором: занять место на подводе или преодолеть пешком немалое расстояние, причём по распутице и в самой неподходящей обуви. Вопреки здравому смыслу она вызвалась идти пешком, потому что видела тех, кто обессилел больше неё. Рядом были женщины, стойкостью которых она восхищалась. Одна из них – Антонина Константиновна Топорнина, бывшая заведующая библиотекой в Сызрани: улыбочивая, не оробевшая от унижений, мужественно выполнявшая изнурительную работу на кирпичном заводе. Или Дора Исаковна Тимофеева, ставшая лаборанткой в местной амбулатории: просьбы пациентов она исполняла «с такой весёлой добротой и терпением, точно дала себе слово – не обидеть». Эти женщины жили, не культивируя в себе отщепенство за свои сломанные судьбы, не растравляя себе душу памятью о причинённом им зле.

Сибирь встречала поселенцев суровыми условиями, но и по-своему гостеприимно, добрыми обычаями – не запирает двери, не отказывать в просьбах, помочь прибывшим уроками выживания. Сквозь годы сибирского бытия у Анастасии Ивановны проходила эпопея обретения своего жилья – «рождения очага». Дом её вырастал как олицетворение терпения и силы духа: «Заказала новую дверь... Без сладкого поживу до зимы», «хлеба затем не ела девять месяцев, молока не видела полтора года». Уныния она не допускала, испытания воспринимала как способ познания нового для себя мира. «Как сладко и роскошно учиться простой, дикой человеческой жизни!». Ей радостно было видеть, как приживаются посаженные ею растения. Радостно было приютить у себя бездомную кошку, познать собачью преданность.

Но что за дом, если в нём – одиночество, нет близкого человека? За эту «кару», выпавшую на её долю, Анастасия Ивановна искала свою вину в прошлом. И, покаявшись, будто искупила давний грех. Завершением сибирского отшельничества стал приезд к ней внучки Риты. На Анастасию Ивановну легла новая радостная забота – вырастить образованного и доброго человека. Перед ней встал вопрос, мучительный для каждого наставника: не слишком ли сильно воздействие, не чрезмерны ли требования, не ущемляются ли права детства? Но в итоге ждала отрада: цветаевские традиции прививались светлой детской душе, прорастали в будущее.

Когда внучке исполнилось пять лет, Анастасия Ивановна начала рассказывать о своём детстве, о себе и о сестре Марине. Так стала зарождаться книга «Воспоминаний». В ней, по словам автора, «всё было документально, правдиво». Анастасия Ивановна подчеркивала, что воскрешала бывшее с почти педантичной точностью, – читатель чувствует честность в каждой строке: о неприятных ситуациях в семье, о сложных отношениях с окружающими, об увлечениях и разочарованиях... Первые читатели «Воспоминаний» отмечали, что автору удалось передать атмосферу детства, рассказать о семейных праздниках, о часах, проведённых за книгами, о поездках на природу. «Как хорошо это было, каким маленьким раем это предстаёт мне теперь», – писала А.И. Цветаева. И сегодня, если кому-то доведётся устроить семейное прочтение этой книги, – она написана без прямых нравовучений, без прописной морали, но искренне, – слова писательницы будут добрыми спутниками каждому, независимо от возраста.

«Есть смысл. Есть масса смыслов»

Десятки людей встают на страницах «Воспоминаний». Эти люди вызывали у автора разные чувства. Но никогда в повествовании читающий не встретит безысходной неприязни или полного отторжения. Всегда Анастасия Ивановна пыгается понять и хоть в чём-то оправдать того, кто нанёс ей душевную рану. А сколько в жизни Цветаевых было если не влюбленностей, то восторженного любования едва ли не каждым новым знакомым, желания «утопить в другом свою душу», «жажды служения другому»!

О том, как много значила для неё *любовь*, А.И. Цветаева поведала в романе «Амор». Эта книга – проза вперемежку со стихами, хроника жизни в лагере, где первоначально досуг она делила между мытьём полов, стиранием, починкой одежды и другой – добровольной – помощью обитателям барака. Но главным содержанием жизни стала борьба за своего «героя». Она не питала иллюзий: знала, что он её не полюбит. Ну и пусть! Разве ей это нужно? Ей необходимо было гораздо большее – добиться понимания, открыть другому человеку *лучшее, что в нём есть*, сделать это явным для всех других. Она призывала героя к ответу «за каждую неверную интонацию», боролась за его душу, а для себя находила важным, что обрела ещё один опыт: чувство любви не было бы ею изведано во всей полноте, если бы в него не вписалась *безот-ветность*. Так она рассуждала и потому «не ломала себе крыльев», а растила их.

Казалось, уже всё было в жизни изведано, познано. Когда-то юная Ася призналась себе: «Я дня не могу прожить без любви». Но сколько тогда перед ней возникало неразрешимых вопросов: «Где мудрость, а где безумие? Все сметь... или сковать себя по рукам и ногам». Она принимала все «ярлыки», готовые прилипнуть к ней: «Я холодная? Так. Безнравственная? Так... Добрая? Чистая? Сошла с дороги? Ах, вступаю на путь? Так. Так. Так). Её эссе «Королевские размышления» и миниатюры, объединённые под заглавием «Дым, дым и дым», – это обнажение женской натуры без боязни показаться нескромной, без ханжества, но вместе с тем с утончённым чувством меры и вкуса в описании самого сокровенного. В итоге вывод: «Я ни за что не скажу, что любовь всё, иного нет смысла. Есть смысл. Есть масса смыслов».

К 36 годам она выбрала аскетизм как основу личной жизни и вегетарианство как осознанный отказ от истребления «братьев меньших». В юности она упрекнула себя за то, что «прошла мимо служения человечеству», в зрелые годы поняла, что по-христиански надо «служить всем, как служит сестра милосердия», что не может быть реализована любовь к человечеству без проявления любви к ближнему и к отдельному человеку, нуждающемуся в поддержке.

Но даже на исходе жизни она не решилась бы сказать, что на всё найдены ответы и верные решения есть для всего: «Волшебство театра, дивные звуки флейты, – зачем это было? И зачем всё будет?». Меньше всего ей бы хотелось, чтобы читающий откровения юной и «умудрённой» жизнью Аси схватился за голову, «не зная, как же теперь жить, что же делать». Ей было уже важно подарить собеседнику вдохновение, чтобы жить, и напутствие – искать и искать смысл существования.

В последние годы жизни А.И. Цветаевой мне довелось побывать в её однокомнатной квартире, где за ширмой стояла кровать, а над кроватью был иконостас: лики Христа, Божьей Матери, святых. Вера её была «не на показ». Только самые близкие знали, как она молилась на сон грядущий, произнося молитвы не только по-русски, но и на нескольких европейских языках. Литературный помощник А. Цветаевой Станислав Айдинян вспоминал: «Сколько бы раз среди долгой молитвы ни задремала, – проснётся и продолжает молитву до конца».

Вера уживалась в ней с критическим отношением к церковному устройству. В интервью «Московскому церковному вестнику», которое она дала в 1989 году, Анастасия Ивановна отметила, что в религиозном воспитании она не приемлет отстранённость от обыденной жизни, чем это воспитание грешило в прошлом, и от чего не освободилось и в настоящем. Наиболее привлекательной чертой православия ей представлялось его жизнеутверждающее начало, восхождение к радости, к празднику души. Анастасия Ивановна посещала церковь, причащалась, но главным для неё были не внешние проявления веры. От неё я не услышала объяснения, как Марина Цветаева, будучи воспитанной в религиозном духе, смогла покончить жизнь самоубийством. Или она не была верующей? «Марина была по-своему верующей, – ответила А.И. Цветаева. – Но она не была “церковным” человеком, не соблюдала обряды». Нельзя сказать, что этот ответ объясняет поступок М.И. Цветаевой. И никто не может претендовать на исчерпывающее постижение случившегося, ибо сказано, что человек есть тайна великая. И не случайно Анастасия Ивановна писала о невозможности только рационального понимания мира: «Верьте мне! – обращалась она к читателям – Если уж я, так любящая всё делать ясным, доводить контуры вещей до лоска... если уж я говорю, что тут загадка, значит, так».

О самой Анастасии Ивановне нельзя сказать, что её многогранная натура раскрыта историками, литературоведами во всей полноте. Стороны её характера только намечены и в этих заметках...

Хоронили А.И. Цветаеву в Москве на Ваганьковском кладбище. Был пасмурный день, но когда гроб с её телом опускали в землю, вдруг проглянуло солнце. Мне подумалось, что мы получили от Анастасии Ивановны последний привет, и небо ей улыбнулось.

АНАСТАСИЯ ЦВЕТАЕВА

МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ В СТАРОСТИ

очерк

Поэт и переводчик Евгения Кунина – мой ближайший друг. Дружбе этой, начавшейся с первой встречи, исполнится – если я поживу ещё немного, – серебряное двадцатипятилетие.

Мы встретились в старости, но нет сомнения, что, встретиться мы на столько же лет ранее, – цвет серебряный мог бы смениться на – золотой.

Евгения Филипповна Кунина родилась в Москве в 1898 году. Несмотря на чувство своей принадлежности к литературе, гимназию окончив с золотой медалью, отличалась качеством сочинений, – по недостатку средств в семье, с 1924 года, после ранней смерти матери, стала, сменив её, зубным врачом. Однако не смогла забросить литературный труд. Окончила Московский университет, лингвистическое отделение, Высший литературно-художественный институт (Брюсовский). Она училась поэзии у Валерия Яковлевича Брюсова, у Аделины Адалис, скоро ставшей её подругой.

Тридцать четыре года помогая семье, она совмещала литературное творчество с работой у зубо-врачебного кресла. Нестандартно! Находила свои способы облегчать боль и сохранять трудноизлечимые зубы, средствами гомеопатии изыскивая возможности утешать мучения при воспалении надкостницы и при других воспалительных процессах.

Характерен рассказ о маленькой девочке, наградившей её таким комплиментом: «Я тебя не боюсь, ты ведь не настоящий доктор, ты не делаешь больно».

И вся семья Куниных отличалась столь же редкими свойствами, высокой интеллигентностью. Привычно шла от них помощь в чём-то нуждавшимся – книга, лекарство, посещение в больнице, совет – на всё они щедры. Кунины примечательны для меня не тем, что они творчески связаны с искусством, а тем, что их нравственный уровень позволяет им общаться с каждым – будь то пожилой профессор, известный художник, плотник-книголюб из их дома или неграмотная домработница. В перенаселённой Москве в течение шестидесяти лет Кунины мирно жили с соседями по квартире, где теснились шесть семей и после расселения по отдельным квартирам умудрились сохранить тёплые отношения со всеми соседями. Тоже ведь нестандартно...

Та же высокая человечность, оптимизм, восхищенность природой, радость запечатлеть всё увиденное, отличают и многообразие стихотворных тем Евгении Куниной. Её цикл крымских стихов замечателен. В её стихотворениях об Эстонии дана не только природа берегов и лесов, но и люди, черты её истории, там живописно рассказано о детях Эстонии, о её обычаях. Свежи стихи её юности, тонко психологичен цикл любовный; и мудростью жизненного опыта пленяют нас стихи о старости. Никто из слышавших поэму Куниной «Франческа да Римини» не забудет высокий драматизм трактовки автора, превосходный слог поэмы, написанной в форме писем. Или перевод «Оды к Италии» Леопарди: как передан благородный пафос его вдохновенных строф! Евгения Филипповна превосходный переводчик с английского; французского, итальянского. Из опубликованного хочется похвалить переводы Гюго, Мюссе, статьи Роллана и Арагона, стихи греческих поэтов.

Она – автор прекрасных статей. В журнале «Молодая гвардия» печатались её статьи о Данте, о Ромене Роллане, о «Слове о полку Игореве». В сборнике перевода «Слова...», имеется её переложение русским стихом «Плача Ярославны».

В данное время передан в издательство «Советский писатель» сборник стихов Евгении Куниной – за много лет, рекомендованный в печать Ларисой Васильевой и Евгением Винокуровым.

Заканчивая говорить о литературной деятельности Евгении Куниной, может быть можно сказать, что главным выражением её жизни, её радости, её личности была и остаётся поэзия.

МИХАИЛ КУНИН

ИОСИФ ФИЛИППОВИЧ КУНИН – СУДЬБА, ПИСЬМА, СНЫ, СТИХИ, ВОСПОМИНАНИЯ...

В 2019 году исполняется 115 лет со дня рождения Иосифа Филипповича Кунина (1904-1996) – историка, литератора и мемуариста, автора книг о Чайковском, Римском-Корсакове, вышедших в серии «Жизнь замечательных людей»; книги о Мясковском...

Сохранился его бюст работы известного скульптора Исаака Менделевича, выполненный в 1913 году, а также его живописный портрет работы художника Анатолия Толоконникова, выполненный в конце 1950-х годов.

Мы хотели не только попросить близких ему людей рассказать о встречах и беседах с ним, но постараться сделать так, чтобы звучал его подлинный голос – посредством прочтения нами его воспоминаний, фрагментов его книг, статей и писем – того, что он принёс в этот мир.

Разговор о Иосифе Филипповиче ведёт его внук, Михаил Кунин:

С ранней юности Иосиф Филиппович был причастен к тому кругу московской интеллигенции, к ко-

тому принадлежали поэт Борис Пастернак и филолог Константин Локс. В зрелом возрасте он близко дружил с Анастасией Ивановной Цветаевой и о его участии в подготовке и выходе в свет её «Воспоминаний» мы скажем сегодня. Вот почему совсем неслучайно то, что вечер его памяти проходил в стенах дома-музея Марины Цветаевой.

В начале 1990-х годов Иосиф Филиппович, будучи уже тяжело больным, продиктовал мне свои воспоминания о Москве 20-х годов, своих дружбах и литературных течениях того времени, а также о литературной и музыковедческой среде в Москве 1930-х – 70-х годов. Эти воспоминания открыли целый пласт культурной жизни Москвы XX века. Поразили глубиной восприятия и энциклопедизмом знаний моего дедушки и создали мощный основной мотив книги «Дом Куниных», посвящённой семье Иосифа Филипповича и изданной через годы после его ухода.

Интересно, что И.Ф. начал писать свои воспоминания с одной странички, отправленной мне в армию. Когда я был призван, то дедушке и бабушке было уже около 85 лет. Я очень любил их и боялся потерять за два долгих года моего отсутствия. Я настойчиво просил дедушку написать о своей жизни. И вот, представьте себе мою радость, когда, совсем незадолго до моей демобилизации, я получил треугольный конверт с драгоценным листком, исписанным родным для меня почерком. Вскоре я вернулся, застав моих любимых стариков ослабевшими, но радостными, и с тех пор редкий день проходил без того, чтобы мы с дедушкой не выходили на прогулку с ручкой и тетрадкой, в которую я записывал его рассказ. Он говорил безупречным литературным языком, который не нуждался ни в малейшей правке или редактировании и нам отпущено было достаточно времени для завершения этой увлекательной работы.

Он прожил ещё несколько лет, но только после его смерти по мере увеличения интереса к мемуарной литературе его воспоминания начали публиковать. В 2006 году вышла большая книга «Дом Куниных», включающая интереснейшие воспоминания всех троих представителей семьи, живших вместе как «нераздельная троица», а в этом году, году 115-летия со дня его рождения, переизданы его основные музыковедческие произведения о жизни замечательных русских композиторов.

Из воспоминаний Иосифа Кунина:

Я родился в Москве 15 апреля 1904 года. Тогдашняя Москва была мало похожа на нынешнюю. Она не была столицей громадного государства. Дух чиновничества и дух армии, очень характерный для Петербурга, здесь слабо давал о себе знать. Мой город был силён культурой (достаточно всё же тонкого слоя) интеллигенции, славился Университетом, Малым театром, ставшим для многих вторым университетом, где блистала гениальная Ермолова, выступали талантливые Садовские, Южин, Остужев, веял аромат недавней старины. Художественный театр, полный сил и молодой энергии (он ведь и возник всего за шесть лет до моего рождения), вызывал страстные споры своими «нетрадиционными» спектаклями. До него театр от театра отличался репертуаром, крупными артистами, а теперь прибавился (и вызывал негодование староверов) совсем непривычный стиль постановок. Начинаясь эра режиссёрского театра (много позже его поразительно ярким выразителем стал Мейерхольд, тогда ещё артист Художественного). Восторженной аудиторией Общедоступного художественного театра, таково его первоначальное имя, была студенческая молодежь, но также и солидное московское купечество. Из аморфной массы Тит Титычей времён Александра Николаевича Островского уже выделился слой инициативного, весьма деятельного склада. Из этой среды вышел и Станиславский (подлинная его фамилия Алексеев), и широкие благотворители и деятели культуры Солдатенковы (ими создана нынешняя Боткинская больница), Третьяковы, Мамонтовы. Над ними подтрунивают люди старой дворянской культуры (их ещё много в Москве), охотно видя в них черты «сиволапства» или показной лошечности, за которой хочет скрыться вчерашний купчина-самодур. Про купца Солодовникова, на деньги которого выстроен на Большой Дмитровке громадный театр с вместимостью больше, чем у Большого, рассказывает, будто на сожаление какого-то почётного посетителя, что несовершенна акустика, он находчиво ответил: «знаю, знаю... к следующему сезону я уже выпишу из Парижа другую, получше». Савву Мамонтова, создателя замечательного оперного театра, не без насмешки именовали, по примеру флорентийца XV века, Саввой Великолепным. А другой Савва – Морозов, приятель Максима Горького, отвалил в партийную кассу большевиков какую-то очень крупную сумму. Короче, московские купцы были заметны и сделали тогда немало хорошего... Что было, то было.

А вот как Иосиф Филиппович описывает музыкальную атмосферу его семьи:

Мама пела. У неё было чудесное серебристое сопрано широкого диапазона, так что она пела дома и Снегурочку, и Лизу из «Пиковой дамы», и даже песню Войславы из «Млады» Римского-Корсакова.

Не говорю уже о множестве романсов Чайковского, Глинки, Рахманинова, которые она исполняла с такой проникновенностью и любовью, что, мне кажется, я и сейчас могу внутренним слухом услышать мамино пение. Она училась одно время в классах Линевой – знаменитой собирательницы русских крестьянских песен, бывавшей изредка и у нас дома.

Акомпанировал маме обычно мой двоюродный брат Борис Савельевич Яголим.



Позднее, уже не в детские, а в мои подростковые годы огромное впечатление производила на меня игра папиного сослуживца М.О. Коварского, бывшего ученика Петроградской консерватории.

Он ввёл нас с сестрой в совершенно новый для нас мир музыки Баха, Вивальди и других великих полифонистов, а также Вагнера, о котором мы до этого очень мало знали. Это была музыка каких-то космических масштабов, великолепно звучащая под его пальцами и на нашем рояле.

Из воспоминаний Иосифа Кунина:

Весна и лето 1922 года были для нас с сестрой временем какого-то счастливого, опьяняющего подъёма. Это – знакомство, быстро перешедшее в дружбу с Борисом Пастернаком, это – крепнувшая день ото дня дружба с Борисом Лапиным, делившимися с нами всеми своими литературными начинаниями, будь то великолепные переводы стихов и сказок Брентано, Гика, меньше – Ленау и Киплинга, это, наконец, – счастливое совместное сочинение рассказов (а всего интереснее – фантастической повести «Октаэдр»).

Из воспоминаний сестры Иосифа Филипповича, Евгении Куниной:

Мы были тогда полудетьми, невероятными домоседами, в которых дух семьи сохранил житейскую и жизненную неискренность, даже наивность. Мы учились в 1-м МГУ и одновременно в Брюсовском высшем литературно-художественном институте. Жарко, и притом сообщая, воспринимали всё, чем интересовались. Влюблялись в Андрея Белого, с восхищением слушая его поэму «Первое свидание» в чтении автора, и в Блока, III том собрания сочинений которого только что вышел в первом издании; благоговели перед Валерием Брюсовым, нашим учителем и наставником; дружили с Борисом Лапиным, 16-летним начинающим и потом нашедшим собственный путь поэтом. Мы, конечно, сами писали стихи. Пастернаковская поэзия перевернула для нас землю и небо, заново открылась нам их прелесть, неповторимость, стремительность их музыкального воплощения.

Случилось это сразу и внезапно. В марте 1922 года к нам впервые пришёл в гости Теодор Маркович Левит, до того наш преподаватель и соученик в Высшем литературно-художественном институте, который теперь перевёл нас с братом в разряд своих личных знакомых. Для начала он просидел у нас часов пять. Он любил говорить и был неистощим в развёртывании любых тем, сообщении любых литературных сведений, излишнии потока мыслей. А мы – мы были жадными слушателями. На этот раз он читал стихи Пастернака, нам почти совсем незнакомые.

Левит читал их по памяти, одно за другим. Это были стихотворения из книги «Поверх барьеров»: «Баллада», «Скрипка Паганини», «Конькобежцы», «Петербург»... Словно океанские волны вздымались перед нами одна за другой, заливая восторгом, захватывая дыхание немыслимой бурей меняющихся, мчащихся ритмов, внезапными столкновениями неожиданных и, как стрелы, попадающих в цель образов. Водопад метафор, лавины их бурным весенним половодьем обрушивались на нас.

Да, чтобы так опьянить и заморозить, чтобы стать стихией, чтобы раскрыться «до самой сути», эти стихи должны были сперва прозвучать, прежде чем быть прочитанными глазами про себя. И Левит дал им эту свободу.

Он кидал их нам, подчёркивая артикуляцией, мимикой подкрепляя выразительность звукового воплощения. Мы сидели и слушали, поражённые, как бы ввергнутые в самые недра вдруг творимого в поэзии мироздания. Нам было не до автора. Только до этой поэзии было нам дело. И даже не то: нас ничего не интересовало, кроме этой поэзии.

Памяти Валерия Брюсова Иосиф Филиппович посвятит впоследствии такие строки:

*Треть века. Смена поколений.
А кажется мне, Мастер, лишь вчераша
Я видел Ваш высокий мудрый лоб
И скул крутой могучий поворот,
И желтизну прокуренных усов
И взгляд, то детски-робкий, то горячий,
Сухой и пламенный, усталый и летящий.*

Сестра Иосифа Филипповича, Евгения Кунина продолжает:

Брату всегда везло на книги. Через несколько дней он принёс «Поверх барьеров» (у букинистов тогда возможны были такие находки). Мы без конца читали и перечитывали книгу вслух друг другу, перебарывались целыми кипами запомнившихся почти с ходу строф, открывали всё новые клады с изумлением и восторгом.

Вся природа, хотя и городская, но самая настоящая – всё было новое, пастернаковское, им как бы созданное заново, через него осознанное. Шла весна. Зачётная сессия в двух вузах висела на волоске. Мы с трудом возвращали себе вменяемость. Но брату посчастливилось купить «Близнеца в тучах», и мы немедленно лишились реальности вновь...

Из дневника Иосифа Кунина:

1922 год

7, среда.

Борис Леонидович Пастернак. Как это покажется? Борис, значит, Леонидович пригласил нас, то есть с Женей в гости! В гости! К себе! Пастернак!

И Москва-река не повернулась вспять (я наблюдал из его «окна на Софийскую набережную» – нет, ничего, течёт. И гром не разразил нас, клянусь скрипкой Паганини! А как раз наоборот: мы шли шальные, целовались к вящему негодованию прохожих, бегали по переулку за музеем, декламировали его (!!!) стихи, имеющие какое либо отношение к происходящему. «Может быть не поздно. Брось, брось! Может быть, не поздно ещё. Брось!» и прочее. Ах, как хорошо...

А вот как Евгения Кунина вспоминает об их первом визите к Пастернаку:

В назначенное нам по телефону время мы с братом, взволнованные и готовые от робости пуститься вспять от самых дверей, стояли у квартиры № 9 на втором этаже дома 14 на Волхонке.

– Звонить? Страшно!

– Звонить... ну да, звонить!

«Может быть, не поздно? Брось, брось!..» – эта строка из «Поверх барьеров» была прервана тут же. Борис Леонидович открывает нам дверь.

С самого начала, с раздомашнего, заспанного вида хозяина, впустившего нас, – «у меня не прибрано, пойдёмте в комнату брата», с этой его первой фразы исчезло наше парализующее, не дающее ни думать, ни говорить, волнение. Просто нам стало хорошо.

А вот рассказ Евгении Филипповны о поэтическом вечере Пастернака в Тургеневской читальне, организованном Куниными:

Вечер Пастернака состоялся 13 апреля 1922 года. К нашему удовольствию, зал был переполнен молодёжью. Как было радостно напоить чаем Бориса Леонидовича тут же, в читальном зале, у столика. И родителей своих мы уговорили прийти и познакомили их с нашим божеством. Услышали от него потом: «Что вы своих родителей мучаете?».

Может быть, эта фраза была отголоском того непонимания поэтического дара сына, с которым собственные родители встретили его уход в поэзию от других его дарований?

– Боря – прекрасный музыкант, мог бы хорошо рисовать... Но почему-то пишет стихи! – говорил, недоумевая, Леонид Осипович Пастернак (а я слышала это в передаче Сергея Павловича Боброва, друга молодости Бориса).

И снова из воспоминаний Евгении Куниной:

Пастернаку с нами дружилось весело и легко. Возможно, отдыхалось от собственных сложностей беззаботней, чем с другими. Не этим ли объяснялось радостное: – «А-а, Кунины!» в телефонном его ответе на мои как старшей из нас звонки – «Кунины? Дома, дома, заходите!».

Иногда мы заставляли его одного (что было счастьем!), иногда он собирался куда-нибудь, и мы шли его провожать.

Раз, назначив брату свидание у подъезда дома № 14 на Волхонке, я шла из университета Шереметьевским переулком и далее Большим Антиповским и встретила Бориса Леонидовича, шедшего в обратном направлении. Сказала, что не хочу задерживать. Но он взял меня за локоток и повёл обратно, к себе домой. И вдруг, пересекая переулок, я увидела на Волхонке моего брата, медленно выпягивающего за углом и, как мне показалось, уставшего меня дожидаться и решившего идти домой.

– Ах, мой брат уходит! Вон он! – вскрикнула я, бросаясь вперед, вдогонку.

– Да стойте, куда вы, – я его сейчас к вам приведу!

И Борис Леонидович, как мальчишка, кинулся, к моему ужасу и восхищению, во всю прыть наперез моему брату.

Не помню, вошли ли мы втрём в подъезд и поднялись в квартиру – или ограничились свиданием на улице, – а вот бегущего по-мальчишески Бориса Леонидовича, такого молодого и юношески непосредственного, вижу как запечатлённого киносъёмкой.

Из дневника Иосифа Кунина:

23, вскр. Москва.

В пятницу были в последний раз у Бориса Леонидовича. Прощались; до будущего года не увидимся. А увидимся непременно. Обратился к нам с трогательным обращением: давайте напишем за год что-нибудь очень хорошее, обязательно надо!



Иосиф Филиппович продолжает:

Всё это круто оборвалось с моим арестом. Когда я вернулся в Москву, уже не было доброго гения нашего дома – мамы, Женечка встала вместо неё к зубо­вра­че­б­но­му креслу, я на год потерял способность не только писать что-либо, но даже и читать. Да и, видно, время было уже не то – невесёлое и к шутливости не располагавшее.

Не будь вмешательства Бориса Леонидовича, я, несомненно, оказался бы автоматически втянутым в круговорот последующих арестов и ссылок вплоть до смерти в каком-нибудь из лагерей сталинской эпохи. Никогда я не говорил об этом с самим Борисом Леонидовичем. Сам не знаю, как это случилось. Его письмо к О. Фрейденберг, где он упоминает о «совершенно невинном мальчишке», ради спасения которого он ходил в Кремль, разом напомнило мне обо всём значении этого похода.

И.Ф. был арестован за участие в меньшевистском социал-демократическом кружке, который он посещал в юности как человек, симпатизирующий взглядам людей, в него входивших и принадлежащих, по сути, близкому к семье И.Ф., к его кругу.

Вспоминает сын Бориса Пастернака, Евгений Борисович Пастернак:

Зимой 1923 года мои родители находились в Германии и только по возвращении узнали, что произошло у Куниных. После нескольких месяцев, проведённых в тюрьме, Иосиф Филиппович был выслан на два года. Зимой 1924 года Пастернак написал повесть о безуспешных хлопотах матери за своего «не­винно осуждённого мальчишка», который вскоре был расстрелян. Сюжетом повести «Воздушные пути» стали события современной обыденности, которые Пастернак в стихотворении 1923 года назвал «тру­по­едскими пирами».

В этой связи находится запомненный И.Ф. Куниным резкий ответ Пастернака на вопрос о стиле современной литературы: «Какой стиль? – Палаческий! – Какой может быть иной стиль у нас?!».

Из воспоминаний сына Иосифа Кунина, Михаила Иосифовича:

И. Ф. обладал редким даром политического предвидения. Незадолго до войны, в 1941 году, увидев на улице колонну солдат, марширующих и поющих «Когда нас в бой пошлёт товарищ Сталин», он сказал: «Скоро, скоро пошлёт нас в бой товарищ Сталин». Работая примерно в то же время в редакции над июньским номером журнала «Советская музыка», отец поделился с сотрудницей: «Грустно работать над номером, который никогда не выйдёт» – «Почему??» – «Потому, что начнётся война». Поразительно!

Вот как Иосиф Филиппович вспоминает о начале войны:

Яркое впечатление оставил у меня и Розы первый воздушный налёт немецкой авиации и бомбёжка Москвы 22 июля 1941 года. Мы провели эту ночь под открытым небом около южного порта Москва-реки, проводив нашего близкого друга, Галю Филатьеву, в эвакуацию. В небе скрещивались лучи прожекторов, «ловивших» вражеские самолёты. Патефон на теплоходе, увозившем Галю, пел популярную песню «Любимый город может спать спокойно». После отбоя мы возвращались домой по пустынным улицам, не зная, уцелел ли наш дом. К счастью, папа и маленький Миша были ещё за городом, на даче. Какое-то необычное чувство свежести воздуха, тревоги и надежды не оставляло нас.

Эпизод военного времени, запечатлённый женой Иосифа Филипповича, Розой Марковной Куниной-Гевенман:

Это поразительная была волшебная ночь, я поехала, – в теплушке, в вагоне. Буханка хлеба. Это из тех чудес, которые бывали во многих случаях у многих людей. Это ночная встреча поезда. Он не знал, когда я вернусь с Альдиком. Он пошёл на всякий случай. Что-то ему подсказало, какая-то телепатия. И он всегда вспоминал, и я вспоминала, как ночью, когда я с Альдиком выходила, – а ведь не было освещения, в те времена же всюду затмение было, – затемнение, затемнение, затемнение, из-за войны. И вдруг он услышал мой голос, и Альдика. Это было поразительное явление. Но таких случаев, говорят, довольно много было в те годы. У людей бывали такие совпадения. Ну вот, это было совершенно поразительно.

Стихи Иосифа Филипповича, посвящённые жене в конце войны:

ЛЮБИМОЙ

*Ни во сне, ни в огне, ни на смертном одре
Не забыть никогда наших горьких разлук
Никогда не забыть наших светлых ночей,
Пусть их жизнь размела как песок золотой.*



*Мне из сердца не вынуть сияющих глаз,
Быстрый шёпот ночной, теплоту твоих щёк,
Пусть Война, как железная жатва прошла
И не прежним я нынче вернусь домой.*

*Но, как прежде, звенят по ночам соловьи,
И, как прежде, тоской моё сердце горит,
И журчит о тебе неумолчный ручей,
И звезда со звездой о тебе говорит.*

Из воспоминаний Иосифа Кунина:

Кончилась война. На октябрьские праздники 1945 года мы выехали в Москву. Первое стихотворение, написанное в Москве, как бы подытожило всё пережитое:

*Я понял в жизни многое:
Великое, убогое,
Надменно-эпохальное,
Напористо-нахальное;
И таинство венчальное,
И торжество печальное...
И всё, и всё мне кажется,
Что мир умней окажется.*

ФРАГМЕНТЫ ПИСЕМ И.Ф.

Письмо И.Ф. литературоведу Константину Григорьевичу Локсу (июнь 1954 г.):

«...Теперь о Тютчеве. Мне кажется очень верным то, что Вы пишете о его необычайно тонком и женственно-нежном восприятии поэзии будней, одухотворённо-физиологическом ощущении самого процесса физического бытия – жары, вечерней прохлады, веянья ветерка! Откуда же в мирном и изысканно-зрелом культурном кругу, где настой русской усадебной, уловленной скорее в «Детстве» Толстого, чем в романах Тургенева, прелести быта, смешивался с рафинированным европеизмом, откуда там возникало трагическое ощущение космоса, бездны, безысходных противоречий, раздирающих человеческую душу?

Лет тридцать назад Борис Леонидович обращал моё внимание на поразительную близость мыслей и даже образов-мыслей Тютчева к идеям Шеллинга. Действительно эпоха романтизма была одним из величайших событий в умственной и художественной истории человечества и кризис просветительского рационализма был в то же время огромным шагом в познании мира и человека.

Глубина Тютчева не могла быть результатом чисто книжного усвоения идей немецкой философии. Иначе, чем для Бакунина, Герцена, Грановского, Каткова, эти идеи и для него были в какой-то мере ключом к накрепко до этого замкнутой сфере жизни – личной и общественной. Самое понятие и ощущение «тайны», непознанности, составляло огромное приобретение после всепонятности и чрезмерной наглядности мира Гольбаха, Дидро и Ламетри. За этим ощущением раскрывалось богатство и разнообразие, противоречие и движение не остановленной и не окаменевшей жизни.

Простите сумбуурность и нечистоту слога – в комнате почты, где я пишу, шумно...».

Стихи, обращенные И.Ф. к внуку Михаилу, ушедшему в армию:

*Благоуханный цветок распустился
На сухой ветке Осени.
Малю чудо – продлись.
Но он вянет на моих чуть увлажнённых глазах.
Прощай, мой маленький, прощай, мой любимый.
Прощай.*

Осень 1987 г.

Вот несколько фрагментов из писем И.Ф. внуку в армию:

«...Ты спрашиваешь о В.Б. Шкловском – ты м.б. не забыл, как я рассказывал о его беседе с нами (собственно, это была не беседа, а живой рассказ о Циолковском, жившем ещё на окраине Калуги, на улице Всемирной коммуны, об Эйзенштейне, о Блоке). Это был яркий, одарённый человек, много знавший, остроумный, но чуть легковесный, умный вширь, а не в глубину. Тем не менее, он сыграл крупную роль в становлении новой теории литературы, в раннем нашем кино, и прожил долгую жизнь, умер не так давно» (июль 1987 г.).



«...Была вчера у нас Наталья. Поговорили о рассказах Бунина и сошлись в главном: то, что отталкивает сперва – обилие «эротики» и некоторая жёсткость лаконичного изложения – находит объяснение и оправдание даже в том, что тема любви (физической обычно) у него тесно переплетается с темой смерти. Её тень ложится на самые яркие и значительные рассказы: «Солнечный удар», «Чистый понедельник», «Лёгкое дыхание». Без этой горькой примеси они были бы заурядными повествованиями о жизненных случаях...».

«...Очень интересуюсь исследованиями Фобоса 2, который на этих днях долетел до просто Фобоса и вертится около него, ожидая, когда удобно будет подойти поближе и опустить целых два спускаемых исследовательских аппарата. Кто мог об этом мечтать даже 20 лет тому назад? Ещё несколько лет назад талантливый астрофизик, математик И.С. Шкловский объяснил неправильности в движении Фобоса по орбите его искусственным происхождением (его-де построили марсиане), но теперь, как думают, дело проще – воинственный Марс захватил слишком близко подошедший к нему астероид неправильной формы и сделал своим спутником. Теперь это узнаем уже наверняка...».

Вот письмо, написанное И.Ф. в конце 1990 г. главному редактору газеты «Русская мысль» Ирине Иловойской в Париж, которой он отправил хранившуюся у него рукопись:

«Уважаемая Ирина Алексеевна!

Так сложилось, что мы рылись в наших залежах чужих и своих бумаг и обнаружили кое-что интересное.

Это «Русская сказка». Её автор, Лев Александрович Лазарев-Станищев, нигде не печатавшийся человек не совсем обычной судьбы. По своему происхождению он принадлежал к старинной дворянской фамилии, был участником октябрьской революции, из партии вышел в 1921 году, не приняв НЭПа, стал инженером-электриком, работал в ЦАГИ, представил свою «Сказку» в Союз писателей, печатно и пристрасно раскритикован А.Н. Толстым весной 1941 года, вскоре арестован (предполагаем, не без содействия авторитетного рецензента) и умер в лагере. «Сказка» была задумана широко, в четырёх частях, написана только первая, но мне кажется, по достоинствам языка, своеобразию фантазии и интересным фольклорным корням имеет все права на самостоятельное существование. Мы всей семьей были коротко знакомы с автором. Это был обаятельный, очень даровитый человек.

Не мне судить, где и в каком издании суждено появиться («Сказке»), только не здесь (не в России)...»

Диалог Иосифа Кунина с отцом Александром Менем:

Когда вышла из печати моя первая книга о Римском-Корсакове (в серии «Жизнь замечательных людей»), я послал её для прочтения очень дорогому мне человеку – о. Александру Меню. Он ответил не скоро, но обстоятельным письмом, которое я здесь же привожу.

«Дорогой Иосиф Филиппович!

Прочитав его, Вашего «Корсакова», я хотел бы попытаться поделиться с Вами своими впечатлениями. Конечно, мои заметки по своему значению не могут идти ни в какое сравнение с тем значением, которое имели для меня Ваши отзывы. Я буду всегда Вам благодарен за ту неоценимую помощь, которую Вы мне оказали. Вы были для меня «литературным учителем», критиком, советчиком, а я Ваш простой рядовой читатель, да вдобавок не слишком-то разбирающийся в Вашей области. Тем не менее думаю, автору небезынтересны письма любого читателя.

Прежде всего скажу, что прочёл я книгу залпом, а потом несколько раз перечитывал с настоящим увлечением. Спасибо Вам за хорошую книгу. Особенно поразило меня, как мастерски Вы справились с труднейшей задачей: воплотить образ столь трудный. Насколько можно судить по Вашей траговке, Р.-К. не был человеком ярким внешне. Весь его огонь скрывался внутри. У меня и до чтения книги было такое впечатление, поэтому Вашу траговку я воспринял совершенно естественно и с полным доверием. Действительно, о многих его современниках как о личностях можно сказать в двух словах что-то определённое, пусть не исчерпывающее, но характерное. Такого «штришка» у Корсакова, видимо, не было. И тем не менее этот суровый, сдержанный и даже как будто суховатый человек у Вас – живой. У Вас естественно переплетаются и личность, и судьба, и исторический фон, и анализ произведений. Правда, глядя на портрет Н.А. (который меня поразил), хочется узнать о нём побольше и вообще хочется увидеть Р.-К. больше в кругу близких во время повседневного течения жизни. Но, в общем, тех скупых, но ярких замечаний, которых немало в книге, достаточно для того, чтобы разглядеть печальный, если не трагический мотив в семейных отношениях Корсаковых.

С тонким мастерством воссоздана у Вас обстановка старинного Тихвина, и уже с первых страниц угадывается исток корсаковских тем. То, что окружает в детстве, накладывает печать на всю жизнь, и это очень убедительно у Вас показано.

Читая Вашу книгу, я впервые осознал глубокую внутреннюю связь Р.-К. и Врубеля. Эта связь как бы показала мне Р.-К. в новом свете, сделала более понятным и близким (я люблю Врубеля). Мне кажется,

что упор на малоизвестные (мало ставящиеся) оперы может оказать полезное воздействие. Корсаков действительно недостаточно ставится и (кроме «Садко» и «Снегурочки») недостаточно популярен. Недавно по телевизору показывали постановку о Р.-К. Там давались отрывки из «Петушка», «Кашея» и «Шахерезады». Это обращение к теме Корсакова, быть может, явилось не без влияния Вашей книги».

Вторая половина 1950-х – начало 1960-х – это время «выжженной земли», почти уничтоженной культуры, время, когда только начинает открываться правда о сталинских репрессиях. Иосиф Филиппович в это время пишет такое стихотворение:

*Это мир, в котором звери
Претворяются людьми.
Снят в постелях, входят в двери,
Объясняются в любви»*

Памяти МЦ.

*По улицам столицы,
По плацу площадей
Течёт поток безлицый,
Сто тысяч нелюдей.*

*Их мысли поубиты
Разящей пустотой,
Глаза их призакрыты
Куриной слепотой.*

*Они идут как тени
Или Бирманский лес
Эпохи преступлений,
Свершений и чудес.*

*По улицам-проспектам,
По плацу площадей
Проходит торопливо
Сто тысяч нелюдей.*

Апрель 1963 г.

В начале 1960-х из ссылки возвратилась А.П. Цветаева. Я попросил Ст.А. Айдиняна, литературного редактора и секретаря Анастасии Ивановны рассказать немного больше об этом времени и о том, как Иосиф Филиппович стал первым редактором её широко известной книги «Воспоминания».

Свидетельство Ст.А. Айдиняна

О семье Куниных

Самой близкой подругой Анастасии Ивановны Цветаевой в последние годы её жизни в Москве была Евгения Филипповна Кунина, которая неразделима в нашей памяти со своим братом, Иосифом Филипповичем. Они прожили последние годы вместе, под одной крышей с братом и его женой, Розой Марковной, она была официально замужем за Дмитрием Михайловичем Чаплиным в период с 1940 г. до его смерти в 1963 году. У неё был в судьбе человек, его страстно любимый, с громкой фамилией, но их окончательному соединению были непреодолимые препятствия.

Также вместе брат и сестра Кунины появлялись у Анастасии Ивановны в 1980-ые годы в её квартире в доме на Большой Спасской, а до реабилитации, когда в Москве у неё не было ещё своего жилья, она останавливалась у самых близких своих старых друзей и у Куниных, с которыми однако в довоенной Москве, до своего ареста, знакома ещё не была, о чём очень сожалела.

Анастасия Ивановна ценила поэтический талант Евгении Филипповны, поместила немало её стихов в свой большой журнальный очерк «Моя Эстония» («Радуга», 1991). В Эстонии, в Кясму много лет проводила летние месяцы Анастасия Ивановна и туда же ездила Евгения Филипповна. Вспоминаются её чудесное стихотворение «Сосны Рейндорфа», написанное в июле 1976 года, посвящённое памяти эстонского художника-графика:



*А сосны Рейндорфа шумят и шумят величаво,
Печально шумят, величальную песню поют.
Они понимают: бессмертна посмертная слава,
А нам остаётся утраты таинственный труд...*

Вместе, в одном «номере» они временами жили и в Переделкине, в Доме творчества писателей. С Анастасией Ивановной и с Евгенией Филипповной однажды мы ходили в гости к Вениамину Каверину, которому Иосиф Филиппович написал письмо, узнав из «Литературной газеты», что тот пишет роман, где одним из прототипов главного героя – их друг, писатель и поэт, друг их юности, погибший в войну, Борис Лапин.

Кунины многим помогали, и Анастасия Ивановна тоже старалась им помочь, выделяла им со своей скромной пенсии какие-то небольшие деньги. О Евгении Филипповне у неё есть очерк, названный «Мы встретились в старости...», который послужил предисловием к публикации стихов подруги в 1985 году в альманахе «Поэзия».

Когда впервые зашла речь о публикации мемуарной прозы Анастасии Ивановны о детстве, Иосиф Филиппович взялся помочь Анастасии Ивановне с редактурой текстов. Сохранились напечатанные на папиросной тонкой бумаге экземпляры машинописи самых первых глав «Воспоминаний». И я видел на одной из страниц автограф старейшей писательницы, обращённый к Иосифу Филипповичу и его жене, Розе Марковне, – в память работы над текстом. Иосиф Филиппович мне говорил, что некогда сотрудничал с «ЗиФ»-ом, то есть с издательством «Земля и Фабрика», как редактор. А тут была задача – выпрямить импрессионистичный, модернистский стиль первых глав «Воспоминаний», сделать его более проходным в журнале или в издательстве, чтобы пропустили те, кто привык к одному только советскому стилю, к социалистическому реализму... В наиболее полное, двухтомное издание «Воспоминаний» Анастасии Ивановны, выпущенное в издательстве «Бослен» в 2008 году вошёл именно тот, ранний вариант первых глав первого тома, которые редактировал Иосиф Филиппович.

Живо помню, как Евгения Филипповна мне рассказывала, – однажды она шла по улице в Москве вместе со своим уже очень пожилым отцом. Издали она увидела, что летящей походкой прямо навстречу им идёт поэт Андрей Белый.

– Папа, посмотри, это Андрей Белый!.. – обратилась к старику-отцу Евгения Филипповна.

– Что, что?! – не расслышал отец.

– Папа, нам навстречу идёт Борис Николаевич Бугаев, он поэт, Андрей Белый!..

– Что, что? – вновь не расслышал её почтенный старец.

Зато Евгению Филипповну, её слова, услышал сам Андрей Белый, который, поравнявшись с ними, улыбнулся и приветственно поднял шляпу...

Его поэзией, как и поэзией В.Я. Брюсова они с братом тогда увлекались.

Семья Куниных была открыта друзьям. К Евгении Филипповне до последних её дней приходили молодые женщины, подруги, советовались с нею – как жить... Прямо как до революции к самой Анастасии Ивановне приходили молодые читательницы её второй ранней книги «Дым, дым и дым», изданной в 1916 году. Но в этой книге, отданной выражению чувств молодой женщины, многие страницы были проникнуты всё же трагической нотой. А подруги Евгении Филипповны к ней хаживали, чтобы поговорить о литературе, поэзии, о жизни; поговорить доверительно... Впрочем, и у Анастасии Ивановны неостановимо звонил телефон, и приходилось часто открывать дверь людям, приходившим к последней представительнице Серебряного века, к сестре Марины Цветаевой... За Евгению Филипповну, помимо дружеской привязанности, Анастасия Ивановна чувствовала духовную ответственность, ведь она была её крестной матерью...

Из воспоминаний Иосифа Кунина:

За неделю до смерти отец Александр (Мень) сказал мне: «Никого не слушайте. Идите своей дорогой – куда вас поведут ваше сердце, разум и совесть». Они привели меня ко Христу.

Приводим сон Иосифа Филипповича, записанный его женой, Розой Марковной:

Сон И.Ф.К., осень 1991-го

Передаю его рассказ, как мне запомнилось.

Сумеречным утром, на границе сна и бодрствования, услышал звуки настраиваемого (или ремонтируемого?) рояля. Пошёл на эти звуки – взглянуть – и увидел, что настройщик вместе с какой-то скорее обобщённо, чем конкретно знакомой женщиной склонился над педалями – они же одновременно – как бы собрание, *ж и в о е* хранилище симфоний, концертов, ораторий – несметных даров Музыки. Спросил у невидимо присутствующей публицистики Евгении Филипповны: «Женечка, а что будут играть?» – и тут увидел, что из *о т в о р я е м ы х* педалей разливается всё нарастающее сияние – и в то же время вступил, справа и слева попеременно (антифоном) ликующий чудесный хор, повторявший на разные голоса, кажется одно только слово: «Счастливые! Счастливые!»

Во сне И.Ф. ясно понял, что определение это относилось именно к КУНИНЫМ, но когда проснулся (вернулся в обыденное сознание), и потом, рассказывая, недоумевал: «Разве ж мы счастливые?»

Ну а я восприняла смысл сна как простую истину: да, именно счастливые, – тем, что *светящие другим!*

Мария Витальевна Тепнина была близким другом Куниных и человеком, воспитавшим отца Александра Меня в духе веры с детских лет. Приводим здесь два её письма к Иосифу Филипповичу:

«На днях я пришла в состояние, заставившее меня почувствовать, что мой час пробил». Не берусь определять это каким-то числом дней, но знаю, что нахожусь на краю границы с вечностью.

Я так давно люблю Вас и не могу примириться с мыслью, что между нами есть разделение. Я имею в виду не только себя, но и таких близких вам людей, как Розочка, Верочка, Женечка...

Я постоянно помню, как Верочке, а потом Розочке необъяснимо трудно было переступить какую-то тайную границу для того, чтобы сделать последний шаг навстречу путеводной звезде всей своей жизни. Не хватало какого-то непонятного усилия. И в обоих случаях потребовалось, чтобы кто-то взял это решение на себя.

Для Верочки это был отец Серафим, для Розочки – отец Александр. Может быть, их молитвами и по их благословению, но у меня появилась дерзновенная мысль для Вас взять это на себя...

Пусть же совершится это великое таинство и мы все вместе переступим через границу с вечностью вслед за Верочкой, Леночкой, отцом Александром.

В ответ мне нужно только одно Ваше слово».

Ответное письмо Иосифа Филипповича Марии Витальевне Тепниной:

«Дорогая Мария Витальевна!

Все эти дни я нахожусь на каком-то рубеже, и может быть, Ваше слово сыграет главную роль.

Я колеблюсь, успокаивая себя тем, что все меня окружающие – христиане. Мне кажется, что какой-то большой шаг сделал и я к этому Учению. Целую Вас и благодарю за помощь, так мне необходимую сейчас. Мне даже снилось, что я перешёл эту границу, но наутро опять заколебался. Дорогая моя сестричка! Помолитесь за меня!

И я перешагну долину, отделяющую меня от Веры в Истинного Бога!

Ваш Иосиф Филиппович».

Второе письмо Марии Витальевны написано Иосифу Филипповичу после его крещения:

«Слава Тебе, Боже!

Слава Тебе, Боже!

Слава Тебе, Боже!

Дорогой Иосиф Филиппович!

Из дня в день просыпаясь утром и отходя ко сну на ночь, не перестаю я благодарить Бога за день, когда совершилось Ваше рождение от Духа Святаго.

Две тысячи лет тому назад в этот день старец Симеон от лица всего богонизбранного народа встретил Христа-младенца как обещанного Мессию, Спасителя мира и славу Израиля. Это событие теперь – христианский праздник Сретения Господня, которому посвящен храм в Новой Деревне.

И вот через две тысячи лет именно в этот день Вы приняли Христа от лица теперешних людей Израиля подобно старцу Симеону.

Это так знаменательно для нашего времени!

Пусть же совершаются над Вами слова Христа Спасителя, сказанные им о “рожденных от Духа”: “Ныне спасение дому сему...”

Звучат во мне слова Его, когда думаю о Розочке, Женечке и Вас вместе.

Мы все на грани с вечностью, и уже только с той стороны можем смотреть на всё происходящее вокруг, такое значительное и грозное.

Я ещё ни разу не выезжала в Москву после того дня, когда была свидетельницей Таинства, с Вами свершившегося. Но душой и мыслью постоянно с Вами.

Желаю Вам радости, преображения духовного и облегчения всех тягостей житейских.

Пусть наш дорогой о. Александр, радующийся за Вас, всем, что благовествовал он нам, ведёт Вас в радость Воскресения!

Обнимаю Вас всех!

Любящая вас Мария Вит.»



ПИСЬМО БУЛАТА ОКУДЖАВЫ Е.Ф. КУНИНОЙ

Глубокоуважаемая Евгения Филипповна!

Благодарю Вас за книгу. Я с большим интересом и волнением её прочитал. Для меня большая честь Ваш подарок.

Ваше поколение литераторов очень много дало мне в жизни. Очень многих из них я любил, со многими дружил, по многим горюю.

Желаю Вам долгих лет

Ваш Б. Окуджава

Москва
27.1.95

БЕЛЛА АХМАДУЛИНА

ПАМЯТИ ЕВГЕНИИ ФИЛИППОВНЫ КУНИНОЙ

Стихи! В них вся моя судьба...

Е. Кунина

Издана книга Евгении Филипповны Куниной. Сочинениям Евгении Филипповны возрадуются просвещённые читатели. В этом издании их предваряет предисловие Анастасии Ивановны Цветасовой. Так что моё послесловие как бы совершенно не нужно. (А суесловие – пошло).

Я люблю эту книгу, нежным, музыкальным, талантливым её содержанием.

Я знала, видела, любовно соотносилась с Евгенией Филипповной, и не изменила правилу: восхищаться её прелестным, кротким образом и обликом, совершенным нежеланием печататься – всё только для души, для изъявления сердца.

Книга называется «Самое дорогое» – в названии есть важный дорогой смысл. Вы поймёте.

Всегда ваша – Белла Ахмадулина.

19 октября 1988 года.

ЕВГЕНИЯ КУНИНА

ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

СТОЛЕТИЕ ОТКРЫТИЙ

И.Ф. Кунину

Мне ведомо теперь, с каких высот
Летят зарницы счастья и откуда.
Мне обозримо, сколько в мире сот
Чудес и какова природа чуда.

Открыла, что душа способна бить
Ключами вдохновенья, – и узнала,
Что женщина, рождённая любить,
Во мне и жить ещё не начинала.



Но заглянула я в её лицо
И поступь видела, и понимаю –
Она блаженна, словно деревцо,
Листвою оперившееся в мае.

Росинки для неё – родней сестёр,
Как братья, с нею сходны водопады,
В её крови пылает не костёр,
А солнце. И другого ей не надо.

1931

Всё нынешней весной особое...

Б. Пастернак

Вы – прежний: свиток запечатанный,
Разгадываемый молчаливо.
Откуда же то непечатое,
Что делает меня счастливой?

Оно во мне самой скрывается, –
Скрывается, но не таится, –
И в письма, и в стихи врывается
И даже Бога не боится.

Но этой буйной лучезарности
Ни стих, ни проза не опишут:
Она не стоит благодарности,
Хоть ею движется и дышит.

О, если б на одно мгновение
Вам очи ослепило б это
За долгою весной осеннею
Расцветшее, как солнце, лето!

Так нет же. Поверьте, поверьте, –
Я Вас ни за что не отдам
Ни старости Вашей, ни смерти,
Ни холода злого годам.

Страданья ли, скрытого ядом,
Тревоги ль бурливой рекой
Я к Вам прорывалась. Я рядом,
Я тут, я у Вас под рукой.

Я с края могилы обратно
Верну Вас на землю. Вы мой:
Двойник мой, любовь моя, брат мой,
Суждённый судьбою самой.

Примите ж меня, как подарок,
Взгляните с доверьем в ответ, –
И вспыхнет, и ясен, и ярок
Доверчивой радости свет.



Из цикла «Живым и ушедшим»

ПАМЯТИ АДАЛИС

I

Ты не была ангелом, Аннька,
Но музам была ты сродни.
Взволнованная, неприкаянная,
Неистовая, как они.
Огромно-зеленоглазая,
С прекрасным пушкинским лбом,
С пылающим бюсовским разумом,
Богиней была и собой.

II

Цвела наша дружба в шипах и бутонах,
Усохнет и свежего сока нальётся.
И вдруг тебя нет. И никак не уймётся,
И что-то во мне прорывается стоном.
«Адалис» – волшебное некогда слово,
В поэзию мне приоткрывшее двери.
– Адалис! – шепчу иступлённо снова
Шепчу, и поверить не в силах потере.
Мы после разлуки любой, долголетней,
С тобой – как наавтра – встречались родные,

Смеялись, ругались и сыпали бредни
Стихами и прозой, опять молодые.
Полвека! Так много! И – мало полвека.
Ну как тут поверить, что нет человека.

1969

БОРИСУ ПАСТЕРНАКУ

Угол стекла надбит,
В комнате тусклый свет.
Там за столом сидит
Самый большой поэт.

Мимо его окон,
Мимо его забот
Тихо плетётся конь,
Бодро трамвай идёт.

Не замедляя шаг,
Не изменяя путь,
С шапками на ушах
Люди бегут.

Но умолкает дождь,
Делая ветру знак:
– Здравствуйте, брат и вождь –
Борис Пастернак!

1928



МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ

Ты раскрывалась розою,
Тебя кружили беды...
Боярыня Морозова!
Крылатая Победа!

Взошла ты славой русскою,
Багряною зарёю.
Жизнь проходила узкою
Меж пропастей тропею.

Ты шла по ней, отважная,
Когда же сил не стало
От равнодушья каждого –
Рукою смерть достала.

Сестра Марина, боль моя,
Векам ты будешь сниться,
Марина, птица вольная,
Морская Царь-Деввица.

1962

ГОЛОС АХМАТОВОЙ

Ахматова! Глубокий терпкий голос.
В рубцах и ранах голос. Не поёт,
А сдерживает боль. Марии Стюарт голос.
Державный голос воли и неволь.

Да, королева! Да, лишилась трона!
Трон потеряла. Сына потеряла мать...
Будь наш надгробный плач тебе короной
И данью – горе умершей внимать.

БЕЛЛЕ АХМАДУЛИНОЙ

I

Тревожный зыбкий взгляд глубоких тёмных глаз,
Капризная краса летящих крыльев носа –
Как угадать мне Вас? Как уберечь мне Вас,
Печаль глубоких глаз, дыханье тёмной розы?

Узоры лун и зорь, узор мерцанья слов,
Тарусы и Оки с черёмухой сплетенье,
В словесных кружевах сокрытое значенье, –
Не в нём ли смысл игры и замысел стихов?

1984

II

Какой же Вы сложный цветок, Моя тёмная роза!
Его лепестков, и живых, и поблеклых, не счесть.
Вам рифма любая к лицу – и «морозы» и «грезы»,
Но только не проза. О счастье, Вы всё-таки есть!



И я Вас узнала. Коснулась душой и глазами,
 Я Ваших стихов самый скрытый шила аромат,
 И самый печальный, печальнейший лили Вы сами,
 Вот этот тревожный, тоскующий, ищущий взгляд.
 Нет, Вы не Марина. Не Анна. Вы ближе нам, Белла.
 Вы поздний, Вы дивный цветок в этом скорбном ряду.
 Когда б я умела, о если б я только сумела
 Стихами Вам радость воздать в нашем тёмном саду.

ПАМЯТИ Г.Н. ПЕТНИКОВА

Я вхожу в немоту опустелого дома.
 Ваша комната столь отчуждённо тиха!
 В ней не стало поэта – смертельно больного,
 Но волнуемого вечной жизнью стиха.

Помню наши беседы – мгновенья победы
 Над недугом, над немощным страхом конца;
 Трубный глас Ваших строф – через боль, через беды,
 Величавую львиную лепку лица.

Нам осталось нетленное. Счастье слиянья
 С тем прекрасным, что Вам открывала Земля,
 Навсегда сохраненные утра сиянье
 И любимой отчизны леса и поля.

1971, Старый Крым

ЛЕОНИДУ МАРТЫНОВУ

Когда-то звался он «Мартынов, Лёнька»,
 Был угловат, и строен, и высок;
 Не по-московски – по-сибирски звонко
 Бродяжеский гудел его басок.

Он пел нам «Далеко до Типерери»,
 Читал поэму «Красноводск-Баку»;
 Писали, водку пили... кто б поверил,
 И кто измерил бы его «могу!»

Могучим деревом, – а может, лесом, –
 Разросся он и корни нарастил.
 Себе он может сниться Геркулесом, –
 Орлиный сон его не обольстил.

Земная зрелость тяжелит... Маститым
 Стал прежний вольный, ветренный, шальной;
 И всё ж в его гуденьи ледовитом
 Есть призыв светлый, веющий весной.

Нет, слава не нужна мне. А стихи
 Хотела б я отдать посмертно людям
 В отраду им... Я вижу как светлеют
 Их лица, вижу добрый блеск в глазах,
 Когда простая музыка души,
 Стиху доверяясь, их коснётся слуха.

1981

ТАТЬЯНА КАНДАУРОВА

И МУЖЕСТВО, И ЧУДОТВОРСТВО... очерк

В нашей семье слова юг, море, Коктебель воспринимались как одно понятие. Сначала туда ездили в сопровождении дедушки Леонида Васильевича Кандаурова, спутника Макса Волошина в странствиях по Италии и Греции, затем уже со своими детьми. Поэтому в Доме Волошина мы были своими людьми – в первой половине дня идёшь в Мастерскую Макса, там читаешь его стихи, статьи, и книги, которых там было бесчисленное множество. Иногда, по просьбе Марии Степановны проведешь экскурсию...

Когда мы были там в июле 1964 года, Виктор Андроникович Мануйлов, или кто-то ещё из бывших в то время в Доме сказал, что приезжает Анастасия Ивановна Цветаева. В то время ничего конкретного я не знала об Анастасии Ивановне, но чувствовала по окружению и неясным высказываниям, что существовало в её судьбе что-то большое, что связывало её с Коктебелем. В то время я как бы «принадлежала» к младшему поколению и меня «не допускали» ко всем событиям Дома.

Однажды утром, ожидая выхода Марии Степановны, все обитатели Дома собрались в столовой. Дверь отворилась и вместо Марии Степановны на пороге мы увидели сухошающую скромно одетую женщину. Её руки: одна – придерживала дверь, другая – опиралась на притолоку, как бы сдерживали её внутренний порыв, который передался присутствующим. Окинув взглядом комнату и не услышав приветствия или тёплого слова, она закрыла дверь, не переступив порога. Пронёсся шёпот: «Анастасия Ивановна приехала...». Удивительно, но она не была похожа на обитателей Дома творчества писателей. У меня это её появление запечатлелось на всю жизнь – оно как бы возрождало в памяти картину В. Поленова «Возвестила плачущим о Воскресении Христа».

Мария Степановна теперь была занята и, чтобы ей не надоедать, мы отправились путешествовать по Карадагу, ночевали в его пещерах, спускались в бухты, плавали к Золотым Воротам. Возвратившись через несколько дней, мы узнали, что Цветаевой уже нет в Доме Волошина, так что лично познакомиться с ней в этот раз мне не пришлось. Теперь, уже зная Анастасию Ивановну, мне трудно представить её с её неиссякаемой энергией «сидящей» в Коктебеле, где мёртвый сезон зим сменяется суетой лета...

И вот у меня в руках первое издание «Воспоминаний» Анастасии Ивановны. Эти мемуары перечитывались в нашей семье, так как многое в них напоминало нашу жизнь – моё старшее поколение принадлежало к художественной и научной интеллигенции Москвы. Мой прадед Василий Алексеевич Кандауров (1830-1888) – выходец из дворянских «древних благородных родов» – писатель, театральный деятель. Его дети, а мои деды – Константин Васильевич (1865-1930) – художник Малого театра, организатор выставок «Мир искусства» в Москве; Павел Васильевич (1869-1919) – балетмейстер Большого театра (его дочь Маргарита – прима-балерина 20-х годов); Леонид Васильевич (1887-1962) – астроном, учился в Университете параллельно с Андреем Бельм и Максом Волошиным. Художник В. Поленов называл его «мой молодой друг». Кроме того, ещё будучи студентом, Леонид Васильевич был спутником Макса Волошина в его странствиях.

И вот, прочитав и зачитавшись «Воспоминаниями», я почувствовала острое желание лично познакомиться с Анастасией Ивановной... однако мне сказали, что она избегает лишних встреч – это несколько остудило мой пыл. В течение нескольких лет я не решалась звонить. Наконец, после появления второго издания «Воспоминаний», в которых упоминалась и наша фамилия, я решилась. Это был февраль 1985 года.

Я позвонила, но согласие получила не сразу..., затем мне был дан подробный адрес – как доехать и по каким улицам идти...

По дороге к Анастасии Ивановне я думала о её книге, которая напоминает мне роман: передача в живой и увлекательной форме общественных событий, человеческих отношений, личных переживаний. Каждое её слово, предложение отточено и сверкает. Это напоминает картины старых мастеров, в которыеходишь и путешествуешь настолько детально и красочно они написаны:

«Звук слов, до краёв наполненный их смыслом, доставлял совершенно вещественную радость».
(с. 57, 3-е издание).

«У каждого человека – своё безумие, горькое от его одиночества и мне не к кому пойти и сказать!..»

Я стою одна в лесу. В нём тарусские ветки, в нём – мама... ветки меня понимают, кланяются» (с.496).

Всё это сопровождало меня по пути, указанному Анастасией Ивановной. Дом, подъезд, третий этаж. Звоню в дверь – три раза, как было сказано. Открывает маленькая хрупкая женщина... и первое жела-



ние – обнять, поцеловать, поддержать. Но она сразу же твёрдым голосом предупреждает: – «Поцеловать – можно, но не руки; встать на колени – нельзя!».

Раздеваюсь, и мы проходим в комнату.

Наша беседа о моих предках, художнике Василии Поленове, Тарусе, о моей семье. Да, она помнит Коктебель, лето 1914 года – они вместе с Мариной наблюдали: чем кончится роман между балериной Большого театра Маргаритой Кандауровой и Алексеем Николаевичем Толстым. Я рассказываю Анастасии Ивановне со слов Маргариты Кандауровой (она ещё была жива в 1985 году и помнила девочек Цветаевых), что её дядя Константин Кандауров, будучи другом А.Н. Толстого и С. Дымшиц, увозит её сначала к художнику Константину Федоровичу Богаевскому, а затем – в имение к Ивану Константиновичу Айвазовскому. Но это не мешало стать ей одним из прообразов Даши в начале романа «Хождение по мукам».

Анастасия Ивановна предлагает мне прочесть две её последние публикации – о польской певице Анне Герман и эстонской художнице, друге Анастасии Ивановны по Кязму, Ирине Бржеской, чтобы услышать о них моё мнение.

Так, в непринужденной беседе мы как бы узнавали внутренний мир собеседника, его мысли... Первое, что меня поразило – ум и исключительная память Анастасии Ивановны. Благодаря своим мудрости и такту, она встретила незнакомого ей человека без предубеждения, чутко воспринимала его жизнь и моментально давала свою оценку, советы и приводила примеры из своей жизни.

Все перипетии своей жизни Анастасия Ивановна рассказывает легко, не заостряя внимание на тяжёлых моментах – возможно, так скрывает от посторонних свою внутреннюю боль? А когда я попыталась коснуться некоторых трагических моментов в её жизни, то получила резкий ответ: – «Больше того, что сказано в “Воспоминаниях”, знать нельзя...».

Хочется ещё сказать не столь о религиозности Анастасии, сколь об её умении тактично, ненавязчиво передать свою веру другим: общая молитва перед едой, без которой из этого дома не уйдёшь, поцелуй и благословение «Храни Вас Бог!» (это я уже отметила при своём первом посещении) – при прощании на дорогу и напутствие: быть внимательным и осторожным. (Однажды я сопровождала Анастасию Ивановну в Храм, а по дороге призналась, что боюсь исповеди и причащения из-за греховности – крестилась в 20 лет и с тех пор ни разу не причащалась.)

– Возможно, я ещё более грешна, чем вы, – ответила она, а потом спросила: – Вы сегодня ели? И услышав отрицательный ответ, Анастасия Ивановна сказала: – «Тогда будете исповедоваться и причастие».

Так был снят грех и страх, тяготивший меня многие годы.

Случилось так, что первая моя встреча с Анастасией Ивановной имела продолжение – она жила несколько дней в моей квартире – которое было ею описано в очерке «У новой подруги» (очерк был опубликован в октябре 1993 года в газете «Миссия», № 1, сент.). В нём Анастасия Ивановна с присущей ей чуткостью передала мои переживания: «Да, это тот мир, детский, заповедный, непознанный, что любопытством неутолённым жёг всё детство у выхода из парадного трехпрудного дома...» (а у меня – тверского дома – Т.К.).

И ещё, что приковывает, это – неостывшие следы чьей-то прожитой жизни, память о чём тесно связана со словами: «на том свете»... До сих пор без боли не могу читать этот очерк...

Встреча произошла в феврале 1985 года.

Кандаурова-Чернышева Татьяна Андреевна (1929-2003), принадлежала к старинному дворянскому роду древнетатарского происхождения, по легенде она была из потомков ханов Даурских. Родилась в Твери. Там же закончила в 1951 г. Педагогический институт, по специальности – математик. Работала на кафедрах математики нескольких московских учебных заведений. В 1970 г. защитила диссертацию на степень кандидата математических наук. При защите диссертации её хотели не утвердить, на том основании, что тема не актуальна. Однако научный руководитель, старик-профессор, некогда сам встречавшийся в ранней юности с В.И. Лениным, рассказал, как тот ценил книгу английского математика, анализу которой была посвящена диссертация. Ведь защита была при СССР. Диссертацию её приняли и утвердили единогласно. Работала Татьяна Андреевна долгие годы в качестве доцента кафедры прикладной и вычислительной математики.

АНАСТАСИЯ ЦВЕТАЕВА

У НОВОЙ ПОДРУГИ

очерк

Эта «новая подруга» – по возрасту – дочь. Нас связывает давняя дружба её дедов и моя с Максом Волошиным. Собственно Таня Кандаурова могла бы быть мне даже внучкой – между нами около 35 лет расстояния. Она – женщина средних лет...

Оставшись одна в её квартире, она уже ушла на работу, я, чем отличающаяся от себя – в детстве?.. – 90-летняя девчонка, – брожу по незнакомым мне комнатам, дивясь своему – и не знала, что ещё жив, думала – умер давно – интересу к чужой жизни, к чужому уюту...

Иду, одиночеством наслаждаясь, по двум, необычно в обе стороны протянувшимся комнатам – каждая сажень пять длиной, от западного окна к восточному – десять саженей ходу! Мимо стен с картинками в рамках, книжных полок – на иных книги, а вон на той – фарфоровые маркизы с маркизой, белоснежная островерхая раковина, кусок полевого шпата, деревянный стоячий медведь, крошечная группа костяных слоников, кус горного хрусталя... Сколько детских сокровищ! Сиянье светло-зелёного яйца с золотой тенью, а рядом – гранёное синее и – совсем маленькое, всего мне сейчас драгоценнее, тёмно-зелёное, сказочный талисман...

Может быть, это и есть то, что зовётся «впадением в детство»? Но тут весь «остаток» моего интеллекта бунтует: это не *возраст* ходит по комнатам, потому что так я и в 17 и в 25 бродила бы – это *душа* моя занята бродяжничеством, она прицепилась к чужим стенам, к голым приведённым деревьям за восточным – перелёт взгляда к западному окну. И косые лучи из восточного перерезали узкую комнату, шкафы, диван, зажгли золотой обод барометра, маленький кинжал в футляре с кистями – и во всю стену, непомерной величины, в раме – фотография: чьё-то восхождение на снежные горы. Где они высятся?

Монблан? Альпы, по которым Марина и я в детстве шли с французским пансионом? – или Бештау? Эльбрус?.. Стою и глотаю головокружительный спуск на верёвке по отвесному краю скалы!

А добротные выдвижные ящики обезглавленного буфета зовут вниз, в прочность домашнего очага. Предполагаю, что в них одно поколение за другим – тома старых, старинных журналов, не имеющих понятия о партийных съездах, о взятии Зимнего, а рассуждавших о роли земских врачей, о реформах.

Шагание по солнечному лучу уводит меня взглядом вверх – к недостижимым в высоте небольшим квартирам в рамках прошлого века, чья-то жизнь простёрлась там, зримая зрячему, мне по близорукости – непонятная...

Но вот я держу в руках маленький – побольше, чем миниатюра – женский портрет, красками, и под стрелкой бровей – синева глаз, смотрит немо, в мои. Тонкий нос, кроткие ноздри и – или это мне чудится – страдальческий рот. Я жожу тут как близ кратера над погасшим огнём, чьим-то.

А это что? Ф-у-у... череп искусственный – в роли-пепельницы. Вазы, вазы цветочные. Керамика, Фарфор.

Оборачиваюсь – круглый стол. Кто и сколько за ним радовались, утоляя весёлый голод? Но – весёлый ли, лет 60 назад, в годы разрухи? – А над ним – можно ли примириться, что опять – по близорукости никогда не увижу, *что* за глыбы синевы обрамляют невидимый пейзаж? Кто писал за этим маленьким столом, когда прислонённая немая гитара слушала тишину?..

Да, это тот мир, детский, заповедный, непознанный, что любопытством неуголённым жёг всё детство у выхода из парадного трехпрудного дома...

И ещё – что приковывает, это – неостывшие следы чьей-то прожитой жизни, память о чём тесно связана со словами: «на том свете». Не забыть бы мне в этом моём странствии по чужим жизням, что – в углах обеих сливающихся, как реки, комнат – золотая темень икон.

Я долго молюсь.

Надо присесть?

Иду к дивану. На этом, широком, буду спать я, на другом, узком – хозяйка жилья, Таня... Меж диванов, меж нас – раскрытая дверь. Шаг за неё – коридоры. Я встаю и ноги ведут меня в третью комнату, похожую на ту, что в «Маринином доме» в некогда Борисоглебском, которую я назвала – «комната отщепенцев».

В ней жили, наверное, те, с кем поссорились, кто приехал внезапно...

Отражённый в двери зеркальный шкаф угол стола, и на нём – пачки книг, нот, журналов – кто когда разберёт их? Дверца шкафа – третье «окно» самой последней, маленькой комнаты. В ней не живёт никто.

Я пришла к концу моего путешествия.

Я устала.

Я, должно быть, *должна* поверить, что мне 90 лет...

ГАЛИНА ЯВОРСКАЯ

ПОЧТИ ВЕК ЖИЗНИ очерк

НЕРАЗЛУЧНОЙ В ДОРОГУ

*Стоишь у двери с саквояжем.
Какая грусть в лице твоём!
Пока не поздно, хочешь, скажем
В последний раз стихи вдвоём.*

*Пусть повторяет общий голос
Подольше общие слова,
Но сердце на два раскололось
И общий путь – на разных два...*

*Пора! Завязаны картонки,
В ремни давно затянут плед...
Храни Господь твой голос звонкий
И мудрый ум в шестнадцать лет!*

*Когда над лесом и над полем
Все небеса замрут в звездах,
Две неразлучных к разным долям
Помчатся в разных поездах.*

Эти стихи написала Марина Цветаева и посвятила своей родной сестре Асе – Анастасии Ивановне Цветаевой.

Пророчески у гадала она, что у её родной сестры, всего на два года младше, у её «неразлучной» и «одноколыбельницы» будет совсем другая доля...

Марина и Анастасия родились в Москве, в профессорской семье. Их отец, сын сельского священника из села Талицы Владимирской губернии, благодаря великим способностям и трудолюбию стал профессором-филологом Московского университета. Именно ему принадлежит идея и полное её осуществление – Музей изящных искусств – нынешний Музей имени Пушкина. «Наш колоссальный младший брат» – называла музей поэтесса Марина Ивановна Цветаева – столько заботы ушло у родителей на время строительства, организации этого «Московского Эрмитажа». Иван Владимирович Цветаев был много лет директором и Румянцевского музея.

Их мать Мария Александровна (в девичестве Мейн) была очень образованной женщиной – настоящей помощницей мужу. И талантливой пианисткой – ученицей Рубинштейна.

Атмосфера высокой культуры, профессорский быт, обучение в частных пансионах (и в Москве, и за границей), детские и юношеские поездки в Европу и, увы! – раннее сиротство – формировали жизнь обеих сестёр.

Обе рано вышли замуж за избранников сердца – недоучившихся гимназистов. Обоих много страдавший, вторично овдовевший Иван Владимирович успел благословить семейным «образом» Казанской Божьей Матери и даже дождался внуков. За год до его смерти Марина родила свою дочь Ариадну Сергеевну Эфрон (1912-1975), у Анастасии родился сын Андрей Борисович Трухачёв (1912-1993).

Марина Ивановна Цветаева после своего раннего поэтического успеха в России – в 1922 году уехала к своему мужу Сергею Яковлевичу Эфрону в Париж. После его возвращения на Родину, после ареста мужа и дочери Марине Цветаевой пришлось выехать с писателями в Елабугу, где она в 1941 году покончила жизнь самоубийством.

Анастасия Цветаева жила долго. Она была последним писателем серебряного века. Первая её книга «Королевские размышления» вышла до революции и была философской. В 1916 году вышла её вторая книга «Дым, дым и дым». За несколько лет, предвосхищая прозаическое творчество своей сестры, Анастасия посвятила её «моей сестре Марине». Будто она предугадала, в чьей тени и в лучах какой славы предопределено ей жить долгие годы.

Книга была столь необычной, что её заметили особенные люди.

К ней приезжал Лев Шестов, приглашал к себе другой корифей того времени – Василий Розанов...

А дальше – как у многих: революция изменила прежний уклад жизни, скончался второй муж, одновременно умер второй сын. Работала в музее, который основал её отец. И потом попала вместе с сыном на 22 года под каток сталинских репрессий.

Первый раз Анастасию Ивановну арестовали в 1933 году. Два месяца и четыре дня она провела в Бутырской тюрьме.

О том, что была освобождена по ходатайству А.М. Горького, узнала во время второго ареста от своего следователя. В тюрьмах и лагерях за 10 лет побывала в 25 местах Дальнего Востока.

В 1937 году при повторном аресте пропал целый сундучок с рукописями. Поиски его в архивах и канцеляриях НКВД после освобождения, после возвращения в Москву, после 22 лет отсутствия, безрезультатны. А там писательница хранила «астрономический» роман «Созвездие Скорпиона» в двух томах. В том же сундучке – дневники, зеркальное отражение жизни, изломы женской судьбы, счастье и горе молодости, блеск солнца и погашенные звезды... Там же бесценная документальная книга об Алексее Максимовиче Горьком, которого знала с детства, у которого прожила полтора месяца в Италии, в Сорренто, в 1927 году.

«Рукописи не горят», – сказал Булгаков. «Горят, ещё как горят», – говорила Анастасия Ивановна. Да мы и сами это знаем. Даже в недавние времена многие рукописи спасал просто случай.

Кое-что спаслось и на этот раз – рукопись романа «Амор». Его Анастасия Ивановна писала в лагере. В спасении рукописи участвовали многие люди. В том числе и дочь Марины Цветаевой Ариадна Сергеевна Эфрон, также с 1939 года по 1956 годы находившаяся в лагерях и ссылках.

В 1949 году Анастасию Цветаеву из дома сына, оторвав от внучек, от семьи, отправили в ссылку в Сибирь; в конце 1950-х годов она возвращается в Москву. Здесь 33 месяца не могла прописаться, один раз ей едва не пришлось заночевать на улице...

Все испытания, выпавшие на её долю, не сломили духа этой замечательной женщины, она не потеряла своего великого дара – дара человечности, любви к жизни.

В сентябре 1985 года в Крыму, в Коктебеле, я впервые услышала, к своему стыду, что сестре гениальной трагической поэтессы Марины Цветаевой Анастасии Ивановне перевалило за 90, но она жива. И даже отдыхает здесь, в Доме творчества писателей. Случайно издала увидела её: она спускалась на светло-бежевом фоне горы Сююря-Кая, в черном костюмчике с тростью, и хохотала... Но подойти там к ней, автору несравненной книги «Воспоминания» – я не решилась. С тем и вернулась в Москву.

Декабрь 1985 года. Книга «Воспоминания» прочитывается снова и снова, открывает всё новые и новые сокровища. И вот я пишу Анастасии Ивановне письмо.

И вдруг – ответ: «Галина Ивановна, письмо вошло в сердце, надо увидеться!» и приглашение позвонить. Бодрый, своеобразный голос пригласил меня домой, чётко объяснил, как проехать. А на открытке – пометка: «4 декабря – Введение в Храм...». Это надо же так написать: «...письмо вошло в сердце!»

Стандартный дом на московской улице с добрым названием Спасская. Третий этаж запущенной лестничной клетки. На условленный звонок нет ответа. Я стою в растерянности перед дверью. И тут по лестнице поднимается вверх немолодая женщина: «Извините, мы торопились. Мы проводывали приятельницу Анастасии Ивановны, больную...». И по лестнице на третий этаж поднялась сама Анастасия Ивановна: «Подумаешь, третий этаж».

Радость, что она бодрая, крепкая – в её-то годы: посещает больных, ходит по лестницам. Потом слышала, когда ей в порядке комплимента говорили: «Хорошо ходите по лестницам!», она отвечала: «Конечно, мне ведь ещё не 100 лет, а только 94!».

В дом я вошла с робостью, но через минуту – всё здесь начинает нравиться: самовар на столе, часы с кукушкой в кухне, рояль и портреты в комнате. Как-то очень «по-писательски»: бумаги, ручки. Старинные шкафы забиты книгами. Тёмный кювет с иконами повернут к дивану, на котором Анастасия Ивановна спала...

В первый же вечер я познакомилась с её сыном – Андреем Борисовичем Трухачёвым. Сын старомодно учтивый, щеголеватый, обращается к Анастасии Ивановне: «Асенька, Вы»...

И когда все разошлись, и мы остались вдвоём, она сказала слова, которые свели воедино какие-то незримые нити. Она два раза сказала: «Вас привела ко мне моя судьба».

И ещё: «Я осенью Вас крестом – я всех благословляю на прощанье». Мне кажется, я не ехала тогда домой, а летела. В памяти – свежий голос, изысканность речи, красота повседневно разговора. Реальность случившегося со мной подтверждает её голос из телефонной трубки: «Доброй ночи!», надпись на книге – «На добрую память о семье Цветаевых и старой-престарой России...», и приглашение – «В следующий раз приходите с дочерью». И я стала часто бывать у неё.

Каждый день, абсолютно каждый день – работа. Она была очень занятой человек. В свои годы – неустанная труженица: собирала то, что удалось сохранить сквозь годы бедствий... писала новое – и по заказу редакций, и то, о чём давно хотелось написать.



Главное для Анастасии Ивановны – её семья: внучки Рита и Оля со своими детьми, сын «Андреюшка», невестка Нина, полная в последние годы почтительности к своей свекрови.

«Нет моей заслуги в долголетьи – это Бог!» – говорила Анастасия Ивановна. Но мы-то знаем, что она после 22 лет тюрем, лагерей, ссылки, уже после шестидесяти лет начала оздоравливать себя: обливания, диета, гомеопатия. И – сражение с болезнью до победного. Если дыхательная гимнастика «по Стрельниковой», то предписанные 400 упражнений во что бы то ни стало. И никакого лежания. Если приляжет дома, то ставит будильник – и встанет, как надумала, – через 15, через 20, через 30 минут...

Время экономилось во всём – ради работы: она писала, рецензировала, переводила. Читали ей друзья вслух, а она, как прилежная ученица, записывала в школьную тетрадку: страница такая-то, то-то и то-то.

Она была недовольна, если удивлялись неиссякаемости её творчества: «Для писателя – это норма». На комплименты отвечала скромно: «У нас все всегда хорошо писали – и мама и папа, и говорили. И потом, когда её снимали для газеты, на телевидении, видели часто только старого человека. С первого захода, конечно, не всегда поймёшь, что это – полный жизни, активный человек. Ожидая врача или друга, она делает винегрет, сварит овощной суп или кисель. Устраняя чаепитие, она последит, чтобы чашки и блюдца не были разрозненными, а «сервизными», чтобы для печенья и для варенья стояли нарядные вазочки.

Западногерманский фотограф-художник Ханс Зивик составил книгу из своих фото «Женщины России». Дважды он по два часа работал с Анастасией Ивановной. Прислал портреты не только высокого технического уровня, но сделанные с любовью и почтительностью – и к возрасту, и к женскому естеству, и к жизни, перед которой хочется преклонить колени.

Много времени Анастасия Ивановна отдавала православной церкви, веруя самым глубоким и искренним образом. На трёх страницах записаны имена тех, о ком она молилась по поручению церкви: «Мне это дано, – в моём роду несколько поколений священников». Дважды в неделю – по средам и пятницам – у неё постные дни, общепринятые для всех православных. Ежедневно – чтение Священного Писания.

В доме много икон, и она рассказывала о том, как та или иная «пришла» к ней после тюрем, лагеря, ссылки, когда всё приходилось начинать заново.

«Пусть решает судьба!» – эта фраза Анастасии Ивановны по многим поводам. Могла ещё сказать: «Ведь на все воля божья!». Потому и не судила строго и беспощадно – ни людей, ни власть, ни жизнь, себя только, быть может, например, за лень, за то, что, скажем, проспала...

За девяносто – без помощников не обойтись. Но хаоса не было ни в чём, и беспорядок в комнате – деловой творческий, ей очень понятный.

Более двадцати лет Анастасия Ивановна Цветаева была связана с родными, друзьями по Москве только перепиской: из лагерей, из тюрем, из ссылок. Добавьте – этапы, болезни.

Бывая у неё, каждый видел: никаких ценностей в доме, никаких редкостей, никаких реликвий. Да и как им было сохраниться в этих житейских смерчах, которые косили – под корень, сжигали – дотла, вытравливали – напрочь. В то же время эта хрупкая женщина отстояла «привычный модус жизни», если воспользоваться её же собственным выражением...

В сочельник – праздник после общепринятого Нового года – Анастасии Ивановны дома нет. Она – в семье сына, в Орехово-Борисово, где собираются его дочери с внуками. Зрелище трогательное – обмен подарками.

Хватало и на правнуков. Каждый год «у баба» – рождественская елка для детей. Их привозят на Большую Спасскую, для них снова приготовлены подарки, зажигаются настоящие свечи. Мерцающие живые огоньки освещают сладости и фрукты, пахнет шоколадом, апельсинами, мандаринами, ванилью. Кажется, что Анастасия Ивановна не меньше правнуков радуется Рождеству.

Ещё одна традиция – обычно в день Рождества она приглашала в гости своих друзей. В свете живых огней слушали стихи, вели, как правило, очень интересные разговоры – о литературе, о жизни, о прошлом и настоящем, пили хорошо заваренный чай со сладостями.

И такая во всём этом красивая традиция, и такая добрая обрядность, что один такой праздник западет в душу всякого.

– Какая радость жизни – смотреть на цветы, – говорила Анастасия Ивановна Цветаева, любясь нарциссом, гвоздикой, розой, ромашкой – пышным оранжерейным или подзаборным и сорным цветком. Она очень любила цветы. Обычно расставляла их по банкам, зная, кому с кем лучше соседствовать, и никогда не выбрасывала начавшие вянуть. Ставила увядающие цветы в отдельные банки, которые называла богодельней. А однажды сказала: «Не хочется рвать цветы в букеты, ведь это каждый раз маленькая смерть».

Анастасия Ивановна очень гордилась тем, что в сибирской ссылке занималась «огородным делом», научилась выращивать двадцать две культуры.

Людей у Анастасии Ивановны на Спасской бывало очень много, приходили и совсем молодые. Среди них – и совершенно душевно неустроенные. Им она помогала обрести равновесие беседой, своим мудрым пониманием жизни.

Когда Анастасия Ивановна получала свои книги, то отправляла их в Калинин, в Латвию, в Ленинград, в Саратов, в Крым, – своим старым друзьям. Иногда вечер уходил только на надписывание книг. Надо сказать, что Анастасия Ивановна этим не тяготилась, а с радостью писала самые добрые слова в адрес даже и незнакомого человека, спросив только: «Она (или он) милая?». В доме был целый список, по которому книги непременно раздаривались.

Многолюдно отмечались её последние дни рождения. В день её 95-летия – 95 розовых роз подарили ей в Музее изобразительных искусств.

А прожила она почти 99 лет! – в светлой памяти, добром здравии, на своих ногах. За год перед этим побывала на международной книжной ярмарке в Амстердаме, «Юность» уже после её смерти напечатала «Мою Голландию». Целый автобиографический ряд выстроился: «Моя Сибирь», «Моя Эстония», «Зимний старческий Коктебель», «Моя Голландия».

Умерла она 5 сентября, в день отдания праздника Успения Божьей Матери. Между прочим, на этот день приходится и дни рождения её племянницы Ариадны Сергеевны, скончавшейся в 1975 году, дочери Марины и ровесницы её сына Андрея, и Надежды Ивановны Катаевой-Лыткиной, которая сохранила для жизни, истории и литературы дом в Борисоглебском переулке Москвы. Его называют теперь Дом Цветаевой.

В 1988 году в Доме творчества в Переделкино жила известная писательница Ирина Владимировна Одоевцева. Ей было за 90 лет, она приехала из Парижа, больная и одинокая. Её возила девушка в инвалидной коляске, которая ей перешла «по наследству» от Марии Кювилье – подруги молодости: Анастасии Ивановны по Крыму. Мария Кювилье стала потом женой Романа Роллана.

Я не видела Цветаеву и Одоевцеву вместе, но они общались. Светская Ирина Владимировна, в истинных синтетических кружевах, с ухоженными маникюренными ручками, в крашенных «перманентных» волосах и аристократка Анастасия Ивановна, коротко постриженная, в простеньких фланелевых халатиках и сибирских паутинковых шпалях.

Анастасия Ивановна дала мне для перепечатки 4 странички, посвящённые Ирине Владимировне Одоевцевой. Один экземпляр А.И. Цветаева – редкостно и великодушно – подарила мне 8 апреля 1989 года...

Галина Ивановна Яворская (1935 – 2019). Журналист. Окончила факультет журналистики МГУ в 1958 году. Член Союза журналистов СССР с 1963 г. Долгие годы работала в Москве в многотиражной газете «Сварзовец» вагоностроительного завода СВАРЗ. В этой газете 9 января 1986 (№ 2486) впервые опубликовала символично-философскую новеллу А. Цветаевой «Черепашка», написанную в довоенный период. Очерки об А.И. Цветаевой напечатала также в журнале «Наука и жизнь» – очерк «В Спасском переулке» (1989, № 6), «Почти век жизни» в журнале «Берегиня дома твоего» (1999, № 6) и «Жизнь на высокий лад» в многотиражной газете «Кировец» к 95-летию писательницы (1989, № 73, 74, 75, 76). Г. Яворская – автор книги воспоминаний «Фамильные и персональные истории» (М., «Готика», 2007).

ЛЕОНИД ВОЛКОВ

О ЧУДЕСАХ «ЧЕТЫРЁХЛИСТНИКА»¹ очерки, повествующие о сёстрах Цветаевых, их творениях и об их времени

*Посвящается Станиславу Айдиняну,
 писателю, критику и поэту.*

*Пред ним – все клонятся клинки,
 Все меркнут – яхонты.
 Закон протянутой руки,
 Души распахнутой.*

Марина Цветаева, «Чужому», 1920

Итак, благодаря взлёту творческой мысли и многолетним трудам последовательно-верного цветаевской теме Станислава Артуровича Айдиняна, на небосклоне литературных исследований появилась звезда под названием «Четырёхлистник».



Беру книгу – и передо мной оживают «руины романа», главная героиня которого – Анастасия Ивановна Цветаева.

Словно *по хрустальной лестнице*, всхожу в быт и бытние семьи Цветаевых... Ведёт Станислав. Я же, пользуясь находками его как ступенями, следую за ним – к *вечным маякам неизречённого света*.²

ВО ВЕСЬ ГОЛОС

Читаю: *сплошной запой... не оторвёшься... закружит...* Автор «Четырёхлистника» приближает нас к старейшей в России писательнице.

Энергичность жеста... Наделена интенсивностью личности, талантом взволнованности и сопереживания... – пишет он о А. И. Цветаевой.

– *Не чудо ли*, – вопрошает, – *после пятидесяти лет (!) забвения – с 1916-го по 1966-го – творения Анастасии Ивановны (а они неисчерпаемы) оказались востребованными... С 1980-х и вовсе расходятся сотысячными тиражами?!*

Читаю – и вижу: оба (даром, что Анастасия и Станислав – имена однокоренные) пишут *во весь свой душевный мах...*

Так, из пересказа одного из лагерных рассказов Анастасии Ивановны – о столкновении с «грозой барака» уркой Наташей, и «каэровки», в знак протеста (против невыносимой жары, исходящей от печки) с силою *подставившей голову под полено, которым её та хотела убить...* – следует: **ЗЛО МОЖЕТ ОТСТУПИТЬ** перед волевым шагом... В данном случае – мужественной, бесстрашной Цветаевой, перед лицом смерти не побоявшейся свою незащитность переплавить, претворить в силу...

Стать на миг Выше... *Бессилия Цветаевы не выносят, не их «стать»...*

Сила – и ещё какая! – духа и слова... Анастасия Ивановна (*далее – А.И.*) как в воду смотрела, в 1921-м сочинив сказку про девочек-великанов, в ней поведала (пророчески!) о двух сёстрах, обладающих *колдовской силой души и мощными голосами*, – о Марине и себе («лирическом МЬ»)...

ЧУДЕСА ТОГО ВРЕМЕНИ

Помимо того, что «Четырёхлистник» предстаёт и как аннотация или, скорее, как введение к книгам А.И. Цветаевой, и как летопись (наиболее ярких моментов) семьи Цветаевых, её современников, лично я воспринял многогранный сей сборник очерков ещё и как уместное повествование о необычных явлениях...

Кажется, воочию вижу, как наставник учителя Анастасии Ивановны, Борис Зубакина, – Григорий Оттонович Мёбес, на допросе в НКВД вертит в руках электрическую лампочку – и та на глазах у следователя внезапно ярко зажигается... Там сказано и о том, что – благовестник, знающий цену слову, – Борис Зубакин (чьи лекции по «этическому герметизму» А.И. записывала в течение семи лет) мог левитировать в молитвенном экстазе, то показывать чудеса гипноза...

Представляю (как если бы был свидетелем описываемых событий): Анастасия Ивановна мысленно *вызывает* Зубакина (обходился же без – столь необходимой ныне – сотовой связи: ей достаточно – *«остро»* *подумать о нём, вызвав в воображении его образ*). *И вот – звонок в дверь, на пороге – Зубакин: «Вы меня звали?»*.

Чудеса, – узнаю от Ст. Айдиняна, – сопровождают сестёр Цветаевых с детства: их мать Мария Александровна – благодаря *вещим снам* – нашла то золотую брошь, потерянную ею в Камергерском переулке, то... обрела седобородого учителя игры на гитаре, которого явственно видела во сне...

Обе сестры, – пишет Ст. Айдинян в главе «Незамутнённый источник», – подобно близнецам, случалось, *видели одни и те же сны* (однажды – поляну розового вереска).

«...Я стала верить снам, – пишет в дневнике 13-летняя Ася... – Любовь сильнее смерти». И далее: «Если верить в невозможное, оно станет возможным... Надо сильно желать... – и преграды разрушатся...».

Чудеса продолжают – об уходе из жизни Марины (вавое меньше Аси прожившей) «становится известно» Анастасии Ивановне, находящейся далеко в заключении, в лагере, *благодаря... комнатному растению, бегонии*. 31 августа 1941 года растение в кадке дало ей знать о беде, *всплеснув, как в ветре, ветвями...*

Станислав рассказывает о людях, сумевших выработать в себе способность выходить из тела – как при жизни, так и после... *По мере удаления от «грустных берегов» – реже... А также – о тех «природных» – восприимчивых, подготовленных – людях, кто в состоянии узреть призраки, «лептонные тела», духовные монады...*

Сама же А.И. Цветаева видела, как над гробом Андрея Белого, когда того хоронили, «клубился покой»...

Да и само по себе не чудо ли – тонкий, мистический крут друзей, в котором А.И. оказалась в 1920-х?!

Я, в свою очередь, – в дополнение к сказанному – признаюсь: в течение примерно месяца после ухода моей мамы, самого близкого мне человека, явно, хоть и фрагментарно, ощущал «лептонное» её присутствие. Особенно – когда оставался один на один с природой...

А сколько раз в жизни (не менее раза в год) «высчитывал» наугад – и благодаря интуиции находил, вслепую идя «на зов сердца» (особенно – когда был нужен... когда звали) – притягательного для меня человека, местонахождение которого было мне неизвестно!..

Заведомо предвкушал (ожидая всем сердцем) нечаянную, но желанную встречу с кем-либо, мне не безразличным...

Бывали и случаи, когда безнадежно опаздывал (на самолёт ли, на поезд) – и время или ситуация «играли мне на руку»...

Случалось, во сне всплывали образы людей, участвующих в событиях (связанных с каким-либо местом... например, с заброшенным базовым лагерем в одном из геологических «полей»), мне ранее не известных, интересные ситуации... Да много чего!..

ОБ УВЛЕЧЕНИЯХ МОЛОДОСТИ И ОБЕТЕ

*Целовалась с нищим, с вором, с горбачом,
Со всей каторгой гуляла – ничоём!..*

Марина Цветаева

Анастасия Ивановна отличалась свободолобием. Как в раннем, дошедшем до нас лишь фрагментом, стихотворении Марины Цветаевой «Аллеи дремали...»: **«Свобода – дорожке любви!»**.

Желание «быть вольной птицей» несла, преодолевая чувство одиночества, через всю жизнь.

Ранее – при всей своей влюбчивости – «держалась», а тут – благодаря данному ею *обету аскезы* – стала непреклонной, неспиаемо-стойкой...

И, что характерно, – вопреки «моде!» Как ни парадоксально, – как раз в пору разгара (разгула) принятой сексуальной раскованности, učinённой социал-активистами в «подростковой» стране Советов!..

А что за обет? Впору – схимнице. Поклялась *не лгать, не поддаваться зову низменной, греховной составляющей человека...* *Запрещала себе пить вино, есть мясо, курить*, – и, как пишет Ст. Айдинян, – прочие мирские соблазны... (При том, надо отметить, что перед революцией Анастасию Ивановну, бывало, окружали люди другого плана: *привлекали те, кто освободил себя от запретов... кто не покаянен был ни перед кем!*)

Очевидно – если иметь в виду, что после двадцати семи лет ни с кем не собиралась связывать свою жизнь (а сколько признаний и предложений – до и после – обращено к ней!), – помимо религиозного чувства, сказывалось, видимо, и *нежелание А.И. ограничивать свою свободу*, а также эгоцентризм, который прозвучал в её книге «Дым, дым и дым»:

«Никогда не полюблю человека больше своей души. Я люблю: вечность, тьму, тишину, тихое движение времени – и среди всего этого – себя...».

«Обожаю тишину и себя в ней... жить вдвоём нельзя...».

В то же время очаровывается:

«Я обманываю... всех... тем, что не могу остановить своё очарование, к ним идущее... как если бы каждый из них был единственный... Каждому я хочу добра – и каждому несу страдание...»

Увы, в юности её и сестру не покидало чувство одиночества, так как казалось – «Нас бросили в мир и забыли»...

Однако в том-то и дело, – пишет автор «Четырёхлистника», – *юная Анастасия была способна забыть отчаяние брошенности, отдаться возвышенному чувству, налить до краёв солнечную чашу. Но вино молодое, хмельное, бурное выпито, и на дне вновь осадок горечи...*

С юности привлекали её одновременно и уединённость, и насыщенная бурными событиями жизнь: «...Как я рвусь от каждого горя – скорее в тепло, к себе!.. Я так восхищённо встречаю галоп событий!..».

Как пишет Станислав Айдинян, отмечая *художественный френ в искренность* автора «Воспоминаний», *в юности сёстры Цветаевы искали и находили человека... на какое-то время... Потом жизнь менялась... наступали сломы тех... а душа всё ждала новых надмирных встреч, новой любви...*

Читая «Воспоминания», понимаешь, что, невзирая на данный обет, А.И. Цветаева, *как никто, воплотила жажду любви, столь печально и высоко свойственную человеку...*

Воплотила (ещё до аскезы) – в недолгом браке «по необходимости» с «холодным и одиноким» Борисом Трухачёвым, первым своим мужем... Ещё – когда *налетел шквал чувств* к Николаю Миронову, *самая роковая её страсть* (которую в 1930-х Ася «топила» в *рояльных звуках*): *томный бархатный голос, гитара, нрав порывистый, цыганский, «юности девятый вал»...*

Увлекла (платонически) и кончившаяся трагедией дружба со студентом-химиком Борисом Бобылевым, на могилу к которому долго ещё ездила – «целовать влажный песок холмика»...

Воплотила жажду ту – отчасти (на полтора года, как и в первом замужестве) – зажив под одной крышей с любящим её вторым мужем – Маврикием Минцем, *самым преданным из друзей*... которому Марина Цветаева посвятила стихотворение «Мне нравится, что Вы больны не мной»...

Ну вот в поздней юности её, кажется, «по-крупному» – и всё... если не считать – вспыхнувшей зарницей на миг – в 1921-м «встречи-прощания» с Владимиром Нилендером – «виновником» Марининого «Вечернего альбома», старинным другом очарованных им сестёр...



Впрочем, весь этот «перечень привязанностей» в молодые её годы (в основном – до 1919-го – *трагические «трения» души о души*) не характеризует Анастасию Ивановну как любвеобильную героиню, а скорее – как душу, не вполне удачливую в земных исканиях...

Увы, А.И., ссылаясь на стихотворение Семёна Надсона «Только утро любви хорошо», быстро разочаровывалась, особенно – когда в процессе общения *телесное начинало превалировать над духовным...*

(Наверное, многие из нас, – выскажу собственное мнение, – не очень-то умеют быть долго вместе... Иначе счастливых – да и просто пар – было бы намного больше!)

КОКТЕБЕЛЬСКИЕ УВЛЕЧЕНИЯ И ЗНАМЕНА НЕБЕСНЫЕ

Со временем А.И. не только обрела веру, но и научилась *побеждать желания (ничего не желать для себя), и в этом помогли ей молитвы к Сострадательному Верховному Существу.*

Вот вкратце одна из них – «*молитва спутницы*», которую приводит в своей книге Ст. Айдинян:

«Господи! Ты, который всё можешь, Чьё Сердце... бьётся чудесами... Сделай со мной маленькое чудо – чтобы не искушалась я искушениями... Я ведь знаю, что мы получаем только когда отдаём, знаю и то, что надо жертвовать, не рассуждая... Научи меня побеждать себя!».

И всё-таки, как и все грешные, «искушалась». Тема увлечений А.И. (поздних) – спустя почти столетия после данного А.И. обета нестяжания, неедения мяса, целомудрия и запрещения лжи – присутствует и в посмертно изданной её повести «История одного путешествия».

...Случилось это в 1971-м *в гористом, морском, ветровом уголке Восточного Крыма* – Коктебеле. Очарованная молодым поэтом Валерием Исаянцем, показавшимся ей поначалу «ангелом» (в кои века растаял лёд её одиночества), А.И. *взялась выпрямлять ввысь душу этого человека.*

Попытка не удалась... К тому же, по свидетельству Ст. Айдиняна, *последнее земное своё очарование* А.И. было дано испытать годом позже – к 60-летнему переводчику и поэту Алексею Шадрину, о чём можно прочесть в её очерке «Зимний старческий Коктебель».

Из дневниковых записей 10-15 ноября 1988 года (с «перешагом» в 1911-й и 1960-1970-е годы), *отличающихся исповедальной искренностью*, узнаём, что в Коктебель А.И. приехала со своим спутником, врачом, которому она читала стихи, – кардиолог Юрий Гурфинхель; в её описании это выглядело так: – «они вдвоём – на фоне Коктебеля» – как часть природы...

С Коктебелем у неё связано немало воспоминаний. Так, 8 августа 1914-го Анастасия Ивановна вместе с обитателями Дома Волошина наблюдала солнечное затмение: «Половина неба была тёмной, светила луна, а в другой половине неба было солнце»...

А как-то в разговоре со Станиславом Айдиняном вспомнился ей эпизод, случившийся в Коктебеле.

В сумерках стояла она в компании писателей на берегу и зачарованно смотрела в небо на встающую над морем *жуткую какую-то луну*, когда один из присутствующих – Алексей Толстой, воскликнул: «Вообразите – мы последние люди на земле, и это конец света!...».

Кстати, воспоминание это переключается с тем, о чём годом раньше, 8 июня 1913-го, писала её сестра Марина в письме, адресованном Михаилу Фельдштейну (именуемому ею «Волчьей мордой»):

«Ах, вчера было чудно! Огромная жёлтая луна над морем, прямо посреди залива, и под ней – длинная полоса грозно-летящих облаков. Луна то исчезала, то вспыхивала в отверстиях облаков, то сквозила слегка, то сразу поднималась. Казалось, всё летит: и луна, и облака, и Юпитер. Всё небо летело... Говорили о конце света...» (Марина Цветаева «Неизданное. Семья. История в письмах»).

НАЧАЛО МЫТАРСТВ

Апокалипсиса, слава Богу, не случилось, – по прошествии нескольких лет был **слом эпох**: новое время поставило существование многих живущих на шестой части суши с ног на голову... Заставило иначе взглянуть на мир...

И если б не вера... Только глубокое религиозное чувство помогло Асе – *идеалистке, не скрывающей убеждений*, – перенести *страшные провалы* в аресты, лагеря, ссылки... находясь порой буквально «головой вниз – в котёл: в кошмаре кухонной работы» вынуждена была пребывать в лагерном аду...

Впрочем, мытарства для неё, как и для её сестры, начались раньше. Вот что о том житье-бытье писала М.И. Цветаева осенью 1918-го:

«У нас с Асей роман с чёрной работой... Мытьё пола у хамки. – „Ещё лужу подотрите! Повесьте шляпку! Нет, я совсем не умею мыть пола, знаете – поясница болит. Вы наверное с детства привыкли!“ ... Молча глотаю слёзы».

С присущей сёстрам иронией и А.И. вспоминала о своих «похождениях» спустя семьдесят лет – надиктовала на магнитофон Ст. Айдиняну, включившему затем тот монолог в «Четырёхлистник» в виде главы «Анастасия Цветаева в Судак», – о переезде поздней осенью с маленьким сыном из Коктебеля в Судак в 1919 году.



А дело обстояло так. Елена Оттобальдовна (Пра), мать М.А. Волошина, у которой до осени она жила, сказала ей с наступлением морозов:

– Ты тут зиму, Ася, не проживёшь... ребёнок на руках /семь лет Андрею/... а мы с таким трудом достаём дрова... поговори лучше с Герцыками... поезжай в Судак...

«И решила я туда поехать, – рассказывала А.И., – а мы с Пра в это время уже посолили капусту на зиму. Муки достала. Купила пудовую канистру подсолнечного масла. Которую, между прочим, подняла, приехав в Судак, одним пальцем, потому что она стукнулась о какой-то болт на телеге и улила этот пуд на всю дорогу...

Со мной поехал возницей молодой человек, и так как он был не татарин, не еврей, то начал пить с того времени, как мы тронулись, и в каждом месте, где только была какая-нибудь возможность... пил и пил, бедняга, а мне приходилось ждать... И когда мы до гор доехали, он был уж совершенно пьян...

И вот когда мы... Ночь была, а выехали мы днём... Корыто с посоленной капустой... хлопалось так, что её сок пролился на муку... Потом мешок картошки, где-то там разорвавшись, высыпался в осеннюю грязь... и мы её собирали и клали в подкладку шубы, которая была бархатной... Так вот, когда мы доехали до Коз, где была какая-то таверна, он /кучер/ полез – как он не свалился, не знаю – наверх... где, когда выпил, вероятно, уснул...

Луна взошла, холодно, лошади копытами разбивают ледок, а мы с Андреем сидим в мажаре /телеге/ – и он /сын/ вздумал утешать меня:

– Но ведь это когда-нибудь кончится...

Сама же я в это время мечтаю, чтобы “зелёные” на нас напали, выпрягли бы коней... Всё-таки спустившись под утро, кучер заявил:

– А как ты есть жидовка, то я тебя дальше не повезу!».

Далее А.И. описывает, во что была одета и как выглядела: серый, похожий на пальто, халат с кистями, на голове – ермолка с рюшем, а из-под неё – кудри до плеч...

В общем, никак не хотел везти их пьяный возница дальше. И пришлось А.И. вынуть из-под халата и показать крест... После чего с горем пополам доехали они до Судака, к Алчаку... где кучер пошёл стучаться в дом Кржижановских (А.И. суждено было провести там зиму) и снова заснул, а А.И. пришлось проявлять чудеса храбрости и решительности, чтобы усмирить злобного пса, который («может быть, презирал, что я женщина, не знаю»), растрясти возницу и чуть не на себе везти его к телеге... После чего ехали они ещё километра четыре – до двора, где жило семейство Герцык.

ИМЕЮЩЕЙ СВОЁ СУЖДЕНИЕ – НЕ МЕСТО НА ВОЛЕ

В то время испытать подобное пришлось не только ей...

Но... Тогда ради чего – революция?!

И какво маленькому её сыну, вынужденному так с ней маяться!

Как видим, мальчик держался... Утешал даже...

Сама же А.И. какое-то время после этого живёт случайными заработками, пишет... В мае 1921-го А.И. получает официальный вызов в Москву на работу, девять дней едут они с сыном в поезде... (Чуть раньше, в 1920 году, узнаёт о женитьбе Н.Н. Миронова).

В том же 1921-м по рекомендации философов Михаила Гершензона и Николая Бердяева вступает во Всероссийский союз писателей (состояла – до 1932-го).

В 1923-м Анастасия Ивановне удалось пристроить сына в неплохой детский приют у Девичьего поля. (Видимо, – в начале Малой Пироговки, у Новодевичьего... С 1950-х неподалёку жил и я.)

А раньше Андрей Борисович терпел те же, что и стойкая его мать, лишения...

В воздухе давно уже висела неизбежность... В очерке А.И. «Сон наяву, а может быть, явь во сне» (о временах Гражданской войны) читаем: «...И женщина в широкополой шляпе разносит прощальные записки»... (А.И. вспоминала, как извещала жён приговорённых к расстрелу белых офицеров!)

Трагедия несовершенного устройства общества объясняла она «эгонистичностью природы человеческой»: «большинство хочет блага лишь для себя, а гибель от этого – всем»...

Поначалу ей, можно сказать, повезло: прежде чем впасть в *свинцовую тяжесть лагерного забвения*, около восьми лет, с 1924-го по 1932-й служила (пусть – внештатно: заполняла библиотечные карточки) в музее, основанном её отцом, – Музее изящных искусств (всё ж – не на стройке лагерной!)... И – в том, что долго «продержалась» в Москве, хотя и предупреждали (в частности, писатель Протасов), что «таким – имеющим своё суждение – в столице не место»...

Всем было понятно – «слишком идеалист»... Впрочем, первый её арест (продлившийся 64 дня) был не за горами. Забрали Анастасию Ивановну в апреле 1933-го (в связи со знакомством с ранее арестованным Борисом Зубакиным).



Благо, её друзья-писатели, среди которых – Горький (к нему А.И. ездила в 1927-м в Сорренто) и Пастернак (друг преданный, всемилостивейший), хлопотали за неё...

Второй – неизбежный – и тоже по делу розенкрейцеров – арест А.И. (вместе со всеми её рукописями, канувшими в небытие) – когда никто уж не мог помочь – прогремел восемьдесят лет назад, 2 сентября злосчастного 1937-го. Тогда её вместе с сыном взяли в Тарусе (Андрея – тоже: на пять лет).

И – началось (Как говорил Борис Зубакин, – *Люцифер сумасшедший, он с божественной силой закрутил мироздание в обратную сторону*): Ночь в тарусском остроге... пять месяцев в Бутырской тюрьме... следствие... допросы – «конвейер» по 40–50 часов... лагерь... ссылка... Армагеддон!

Но надо было как-то выжить дочери заслуженного профессора там, в заключении, в лагере, оставалось разве что рисовать портреты эзков да писать (и то – когда миновала полоса тяжёлой физической работы), испиывая мелким почерком тонкую папиросную бумагу, которую затем она тайком передавала на волю (но которую, увы, частично «выкурили» вольнонаёмные)...

После освобождения – в 1954-м – о своих «приключениях», как сама А. И. называла тяжелейшие годы испытаний (вынесла – ибо признавалась: *основой опорой её с 27 лет было христианство*), Анастасии Ивановне и поведать-то особенно некому было. «По свежим следам» (в ссылке) рассказывала старшей своей внучке Рите, маленькой ещё девочке – обо всём, начиная с детства, – изо дня в день.

По памяти пыталась восстановить утраченное, чтоб поведать миру о судьбах тех, кто вместе с ней провёл годы в неволе. (Сидели в лагере люди главным образом, – «за шпионаж»... В связи с чем возникает вопрос: **что за страшную тайну** хранило молодое наше государство, если пришлось мучить: изолировать и расстреливать – столько «шпикинов»?!).

Итогом всех усилий – во многом благодаря редакторской помощи Ст. Айдиняна – помимо «Воспоминаний», в 1990 году увидел свет её автобиографический роман под названием «Атом» (то есть ЛЮБОВЬ в духовном смысле) – книга, посвящённая теме преодоления, возвышения... Да и много, много чего ещё...

СТРЕМИТЕЛЬНОСТЬ И БЛЕСК НА ФОНЕ ТРАГИЧЕСКОГО

Трагические доминант-аккорды (суровый безжалостный мотив), – считает Ст. Айдинян, – составляли канву её симфонии-судьбы: звучали с юности (когда *дымом, застилающим радости, стелилась тоска*) и позже, на протяжении всех лет её «приключений».

Отсюда – и трагико-романтическое мировосприятие столько пережившей Анастасии Ивановны, и этот «дым» тоски... Соответственно – и её эссе, *дымные горестью*...

«Моя жизнь, – писала она в “Дыме...” – это взлёты, падения, страшная тоска... Горечь без дна и без края...» Или: «Я жила на самом краю души... знала только слова “смерть, любовь, безнадежность... нестерпимая красота и смерть”»...

Перекликается с тем, что было у 16-летней её сестры Марины, призывающей «бороться за недостижимую свободу и за нездешнюю красоту», в письме другу-студенту Юркевичу: «Красота, свобода – мраморная женщина, у ног которой погибают её избранники... золотое облачко, к которому нет иного пути, кроме мечты, сжигающей всю душу, губящей всю жизнь...».

В дореволюционное время Ася доходила до рискованных суждений. Кто не верит в бессмертие души, удел того – тоска смертная, от которой спасает только любовь. Какой бы грешной она ни была...

Любовь грешная – как спасение? Запредельное что-то...

Но что за парадокс! – читаем у А.И. много лет спустя: «...Позади – революция, унесшая дым тоски, утопившая многие печали в лишениях, тяготах...».

Революция и обрушившиеся на неё одно за другим несчастья (в 1917-м с интервалом в два месяца умирают сын Алёша и муж Маврикий) «встряхивают» её – к 1919-ому году А.И. Цветаева возвращается к мыслям о вере, Боге...

Когда умирал сын Алёша, она в отчаянье уничтожила книгу о Василии Розанове, которую писала три года, дневники почти за пять лет, начатую книгу о России... «Невзирая на падения», становится позже *настойчивой в делании добра*... И вот, начиная с 1922 года, *сознательно-жертвенно старается служить людям*.

Была способна искренно, тепло им радоваться... врачевала души – советом, словом... Входила в боль другого... За многих молилась. От неё шёл незримый свет добра, честности – и прямоты, который бывает от людей искренно верующих...

Более того, сумела сохранить, пронести в себе – через всё – *стремительность, блеск*... Среди друзей бывала легка, весела – часто шутила...

«Шаг её был стремительный, – писала её подруга из Петрозаводска Наталья Ларцева (1930 – 2017), – она размахивала палочкой...», благодаря которой «одним взмахом переносила»... да хоть куда...

Когда писательнице перевалило за девяносто, Ст. Айдинян был свидетелем «превращения», случившегося в Коктебеле: оказавшись в двух шагах перед «капитанским мостиком» башни волошинского дома, отдала она своему спутнику, Станиславу, трость... и – *взрыв энергии – взбежала по лестнице на башню*...

В другой раз – на подходе к пустынному пляжу *юношески быстро сорвалась с места и побежала, как бежала некогда в Коктебеле ещё в 1911 году* (74 года тому назад), *когда впервые попала сюда...*

А однажды «схулиганила» – на 90-летний свой юбилей «удрав» от официальных торжеств (в Коктебеле писатели хотели устроить ей празднование).

Куда? В Феодосию, где со Станиславом посетили музей Александра Грина (писателя, которого в 1923-м однажды видела в Петрограде)... В Феодосию, где жили (полгода – до 1 июня 1914-го) Ася и Марина, читали стихи в унисон – стихи старшей сестры – «близнецовыми» голосами.

«Марина – выше, плотней, Ася – меньше, у обеих кудри до плеч, русые. Никогда не в одинаковых платьях, всегда в разных, и хоть похожи, но разны, и никаких нежностей телячьих, как в ходу у сестёр, – спартагство. Взгляд, неуловимый кивок, улыбка, каждая утверждаясь в другой...» – вспоминала в ноябре 1988-го 94-летняя Анастасия...

Да уж, можно себе представить – *сбежала* (пусть – на какое-то время) *в Прошлое*, о котором с пафосом писала ещё в 1916-м в «Дыме...»:

«...Не понимаю, почему все молчат – о прошедшем. Ведь жизнь больше никогда не повторится, это наше единое достояние!».

«ХОТИТЕ БЫТЬ ВОЛЬНОЙ ПТИЦЕЙ?»

Мой маяк – у вечности на краю...

Ада Якушева

Подошла к зрелой поре не просто неспиаемой – резвой... полной творческих сил. Окуналась в холодный святой источник (в Эстонии, в Пюхтицком женском монастыре), о чём писала в книге «О чудесах и чудесном».

А 1992-м (в 97 лет!) даже совершила заграничную поездку – на самолёте в Амстердам (на книжную ярмарку, где представляла на правах писателя Россию, нашу страну)!

«Самая блаженная пора, – писала она, – зрелость, когда... слышишь хрустальный голос истины».

Не парадокс ли: последние четверть века, несмотря на старость, жизнь её всё больше творчески радовала?!

Случалось, и хорошим сном радовалась...

В «Четырёхлистнике» Ст. Айдинян рассказывает об эпизоде, случившемся уже в близком к **краю** апреле 1993-го, на десятом году его работы в качестве помощника (вернее – литературного редактора и секретаря) писательницы.

Однажды вечером засиделись с работой. А.И. задремала, а Ст. Айдинян услышал сонные реплики в свой адрес. И тогда он спросил:

– Анастасия Ивановна, что Вам приснилось?

– Вы, – стала рассказывать А.И. свой сон, – *познакомились случайно с женщиной, а оказалось, – судьба.*

– Я спросила у Вас, какова она, – и ожидала – *Вы скажете: «О, это личность!..»*

– Но... – А.И. звонко, юношески рассмеялась. – *Вы не обязаны следовать моему сну!.. – Хотите долго быть вольной птицей?*

– *Что ж, пока есть возможность...*

И окончательно смирившись (не принимать же сон как судьбу!):

– *Да, пока не случилось, должно быть одиночество... Поздние встречи лучше ранних...*

Я всегда знал, что А.И. – за свободу, – резюмирует Ст. Айдинян, – *за одинокую свободу, прорываемую визитами родных...*

Да, самостоятельную жизнь она оберегала и ценила, как пролог к творчеству. Но жила не для себя, для других. Внимание её к человеку было безмерно...

И поразительна была в ней стойкость веры.

ЗНАК С НЕБА

...А Вечность бескрайним своим разливом затопляет мои берега.

Анастасия Цветаева, 1988

Завершая рассказ об Анастасии Ивановне и понимая, что работает с классиком *российского мемуарного жанра*, Станислав Айдинян пишет *о солнечной её лёгкости...*

Движения её быстры, – даёт портрет... – Облик – седая чёлка, высокие дуги бровей. Взгляд – не прямая открытость, а отражённая близорукостью глубина...



Увы, после кончины сына писательницы – 81-летнего Андрея Борисовича – её силы стали иссякать, – пишет Ст. Айдинян... – Но и тут А.И. не сдавалась, пыталась бороться.

«Старость – это усталость», – говорила. И – превозмогла...

Оборение. Мощь внутреннего света. Покаянность. Искренность... Неимоверная духовная тонкость, слух на человека, – читаем... – II – талант – передать пережитое «тонко растёртой пылью слов»...

Напоследок – картина: когда А.И. хоронили на семейном участке на Ваганьковском кладбище, над её могилой небо при ярком солнце, вопреки физическим законам природы, чудесно прослезилось, дождь пошёл, окропив лишь малый участок земли, где засыпали свежевырытую могилу...

Анастасия! Скончалась та, что по-гречески звалась *Воскресшая*³, 5 сентября 1993 года.

Смерти не боялась, не верила, что всё кончится, погаснет...

В сердце её хранилось много любви, оттого умела по-настоящему радоваться жизни...

О ТРУДНОСТЯХ СО ВРЕМЕНЕМ, О ЛЮБВИ

Я не сразу осилил «Четырёхлистник». Получив книгу в подарок от автора, бегло – между купаниями в проруби – пролистал её, не особенно вчитываясь.

Всё было НЕ ДО... Знаете ли, – время... Нынче так трудно с этим! Много – чтобы со вниманием – не подпускает... И идёшь дальше – мимо того, что, может, – как раз для тебя...

Что же нужно, чтоб **раскрылись глаза, дошло?** Особенный момент зрелости?..

Так или иначе, что-то всё ж заставило меня встать посреди ночи и взять в руки «Четырёхлистник»!

И вскоре мой вывод был: **повезло** же Анастасии Ивановне (не меньше, чем Айдиняну – с А.И.), что нашёлся человек, поделившийся тёплой памятью о писательнице... нашедший верные (в самую точку) слова... сделавший не только обзор её творчества, но и экскурс о людях её времени... сказавший светло и о великой её старшей сестре... рассказавший, наконец, *о двух уходях* – Марины и Аси!..

В прощальном слове об Анастасии Цветаевой Станислав Айдинян, ощущавший себя рядом с ней *ее современником* (особенно – во время работы с А.И. в уютном «храме прошлого» на Большой Спасской), пишет о переполнявших её творческом начале, любви к жизни. И этим многое – прежде всего, долголетие Анастасии Ивановны – объясняет...

И – О НЕ ВСЕГДА СПАСАЮЩЕЙ ЛЮБВИ

Нет, это не я, это кто-то другой страдает.

Я бы так не могла...

Анна Ахматова «Реквием»

А Марина Ивановна, с которой А.И. виделась за четырнадцать лет до гибели сестры – в 1927-м в Париже? Не хранилась разве и в её сердце любовь? Не делалась разве любовью с близкими своими, детьми?

Любила сверх меры!

Откуда же в таком случае у её сына Мура, в общем умного и воспитанного мальчика, по возвращению с мамой в СССР – вместо поддержки – та душевная глухота, раздражение, а временами и злоба к ней – смесь чёрной неблагодарности, которую так нестерпимо было Марине сносить?.. (В результате – и «освободила» его от себя, в отчаянье сказав что уж – «ничего не могу, только гублю сына»...)

И – даже если отбросить, что **жила им**, – как мог не понять он, вскормленный безмерной любовью, КТО с ним!.. – *Подростковая ожесточённость, яростный отрыв от родных – такой возраст!*..

А она – как могла – вместо надежды на лучшее – выпустить отравляющую мысль, что никому не нужна! (Если б наперёд могла слышать сказанное о ней Борисом Пастернаком спустя годы – в январе 1960-го: «Лучшая!»..)

Понятно: одиноко, страшно до паники во враждебном мире. «Не видела будущего и тяготилась настоящим», – писал о ней сын за полтора года до своей гибели... А она уже обречена была – на тот крик!..

Взвись и оттого, что жалеют не её – другую, Анну (пятьдесят дней спустя, кстати, тоже оказавшуюся в Чистополе):

– **Ахматова НЕ СМОГЛА БЫ... А я...**

Вскинулась накануне (где-то за пять дней ДО) – от замечания Лидии Чуковской... (Вспомним и автора «Любови Яровой» – приспособленца Тренёва, не сумевшего в судьбоносный момент – на бесстыдном собрании в Чистополе, куда ездила она **за сочувствием**, – простить Марине не отданный ею долг в сто рублей, а сестре Асе, по её рассказу, некогда приглянувшейся ему, – укора за малодушие его, подписанта расстрельного списка врагов народа... зато сумевшего обозвать нуждающегося в защите Поэта «жиди-венкой»...).

Вскипела: мало – что обманули (близкие – родные – дочь, муж), скрывая (чтобы не раздумала приехать в СССР... а то, если б знала, – в Москву бы не сорвалась) не написали до её приезда об аресте Аси... Обманули: скрыли... (Вместо неё – Анастасия, сестра, **смогла** пройти ад застенков, миновавший Марину! Ася осилила – чтоб долгим пребыванием на этом свете **и за неё** пожить?..)

Сироту, решила Марина (наивно), – «пожалуют» (хоть какое-то будущее для сына – не гиблая нищета)?

Здоровая, всё ещё привлекательная женщина (пусть с *«душою, больной отчаяньем»*, от которого, со слов Аси, глохла), – **как могла** она, стольких воспламенившая стихами, – погасить Жизнь?!

И вот ещё – не понимаю: где хоть одно плечо (напоследок) – тех, кого воспламеняла?!

Нет, не складывается. Даже при всегдашней готовности её «Творцу вернуть билет», там, в Елабуге, думается, было *что-то* в атмосфере...

Не случайно в Чистополе – за Мариной следом – «свела счёты» с собой и жена одного из поэтов... Совершил попытку самоубийства и сын одной детской писательницы, чудом спасшей его...

Поветрие, которое, как и в *годы Первой мировой охватило «культурный слой» общества*, о чём писал М. Арцыбашев в романе «У последней черты»? Ибо была тогда *надо всем тоска?*..

Мне, жителю Эвенкии с 1982 года, это напомнило череду добровольных уходов людей, полных сил, в конце 1980-х – начале 90-х.

Тоже вроде поветрия... На небе разыгрывались фантазмагорические сиянья, а в факториях случались «эпидемии» суицидов.

Бог знает, что (какая горечь или какое малодушие) на северян находило?..

Но в данном случае ситуация всё же прозрачнее: Марину Ивановну как на верёвочке привели (по сути – приволокли, зааркавив близких) следом за мужем (хотя и не трогали!.. Ждали – сама?) в «дом, который срыг». Где окружало её почти осязаемое зло. Начиная с родного сына: единственный человек, которого оставили ей («вертушке», как он её письменно величал), не только не постарался отогреть мать, но наоборот, «заботу принявший за насилие», отторг... Не ведая того, подвёл к тупику, сравнимому разве что с «путём Марин»... После чего только и оставалось – опрометчивое – «...вернуть билет»...

Принесла себя в жертву? Но ради чего? За незрячих нас – испить чашу?.. Самоустранение матери-эмигрантки, на её взгляд, должно было подтолкнуть окружающих к **осознанию жертвы** (в пользу «ни в чём не виновного» сына и, наконец, поэта, обществом отвергнутого)...

Так, – пишет Ст. Айдинян (присовокупив в «один столбец» и трагедии других судеб – поэтов Есенина, Маяковского...), – *из последней одинокой «точки», поставленной в жизни, возникают в людях родники сочувствия, особой бережности к памяти, к творчеству, воскрешает внимание к личности... чья жизнь и чья смерть были столь трагичны, загадочны... Память о них останавливается у порога тайны конца. А для этой памяти важно всё, каждая черта ушедшего, даже его «посмертье»...*

«Тайна конца»? Не вполне соглашусь, будто такое «посмертье» может украсить. Мне это напоминает: «...И в трагических концах есть своё величие. Они заставляют задуматься оставшихся в живых... В полумраке, в глубине и таится то, что придаёт остроту нашим чувствам...» – лукавый афоризм Евгения Шварца из «Обыкновенного чуда».

Неужели, – недоумеваю, – интрига от незнания «теневого стороны вещей» заставляет людей заглядывать в бездну около «остановки»?..

Память... Но кто из Маринино окружения оценил (поначалу, во всяком случае) «жертву»?

Сын – «под присмотром» Ахматовой, увидевшей в нём (после кражи) «убийцу», – едва не одичал (опустился в Ташкенте)... и – погиб (**склоняю голову: героем!**.. по отзыву однополчан: «В бою бесстрашен»)!..

Стихи «жены белогвардейца» ещё двадцать лет (срок Асиной неволи) не увидят свет... Затерянная могила...

Дочь? Пройдёт время – и Ариадна ответит уставшей звать её на поиски последнего пристанища Марины Ивановны – выбравшейся «без её ведома» в Татарию родной тётке Асе: «Знайте – в Елабуге для меня мамы нет!».

И что это значило? Что-то знала?.. Из ревности?.. Каприз?.. Или, в самом деле, жизнь матери-поэта для неё в Елабуге не заканчивалась (как и для её брата Мура, который не пошёл проводить мать в последний путь)?

«Очевидно, – пишет в защиту Ариадны поклонница М.И. Цветаевой Наталья Ларцева, – почему она не могла поехать в Елабугу».

Объяснение – в словах А.С. Эфрон: «Знаю, что мама умерла... а чувства конца её нет... Смерть не всегда и не для всякого означает конец».

Так писала на склоне своих дней дочь Поэта – Аля... Та, которой – ещё с детского «плача басом» – так гордилась Марина Ивановна... Аля, на долю которой выпало с лихвой мытарств (более



16 лет издевательств, лагерной неволи!), обладающая многими талантами (переводчика, литератора, художника)... красавица-Аля... остаток жизни посвятившая тому, чтобы обессмертить мать...

Мало того, «всю Марину Цветаеву мы получили из рук Ариадны Сергеевны», – считает Ларцева, имея в виду наследие творчества Поэта...

«Как Ариадна Эфрон длила жизнь своей гениальной матери!» – подводит она итог.

Так что, кто-кто, а дочь жертву оценила! Вот что в 1940-х писала сама Ариадна о своей маме в письме Анастасии Ивановне: «...С тех пор, что помню себя, у меня была только одна любовь – она. Пусть были затмения, отступления, собственная глупость и молодость – ни отца, ни брата, ни мужа я так не любила, а детей у меня не было и не будет»...

А вот – рефреном – её же запись весной 1975-го, перед собственным уходом: «Никого в жизни я так не любила, как маму /.../ Я любила маму всегда, но было время в молодости /.../ Тогда мама была мне не под силу, и нужно было столько пережить и перестрадать, чтобы дорасти до понимания собственной матери!».

Сильно сказано, с покаянием! Перекликается с тем, что – в посмертной записке Поэта: «любила их / Сергея Яковлевича и Алю, свой “лучший стих” / до последней минуты»...

А по поводу того, что «что-то знала», – здесь, думаю, уместно сказать словами Ст. Айдиняна: *Сколько ещё открытий... сулит будущее тем, кто соприкоснулся с ГЕНИЕМ /кавычки опускаю/ семьи Цветаевых* («генный» – ДУХ по латыни и по-французски)!

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

*...Мы все умеем падать, к сожалению...
Не все умеем руку подавать...*

Ирина Самарина «Лабиринт»

О жертвенности Марины Ивановны Цветаевой не буду... Неблагодарное это дело... (Увы, в наше время многие уж хором осуждают Марину за «преданную» ею, умершую в приюте дочь Ирину... Бог им судья!).

И Христос по пути на Голгофу не предполагал, что Ученье Его будут извращать во зло...

Как бы ни было, Поэта, которого звали *вершины*... *особого надмирного свечения*, – **не уберегли!**..

Случилось! А сколько было любовей, душ близких!.. Где все?!

«Господа! – писала она с укором осенью 1918-го. – Вы слишком думаете о своей жизни! У вас времени нет подумать о моей, – а стоило бы!».

*...Ещё бы немножко –
Да просто сошла б с петли
От силы присутствия
Заспинного. В час страстей
Так жилы трясутся,
Натянутые сверх всей
Возможности...*

Так – на грани – в струящейся «Поэме Воздуха» в 1927-м описала *пограничное миру иному состояние души*. (Заглядывала же!)

Но не будем о грустном. Не лучше ль завершить очерк призывом автора книги «Королевские размышления» (изданной А.И. более ста лет назад – в 1915-м): «Люди, будьте добрей! Будьте проще, не надо ни гордости, ни вражды! Не надо... К ненавидящему вас – простирайте руки! Оскорбившему – улыбайтесь влюблённо! Живите пламенней! Дышите глубже! Будьте, как птицы небесные!» – высказыванием двадцатилетней Анастасии Цветаевой (почерпнутого – и подчёркнутого – мной из книги Станислава Айдиняна «Четырёхлистник»)?

Или, быть может, – ещё более ранним воспоминанием Аси о карнавальном маскараде на Рождественские каникулы 1913 года: «...Мы танцуем... Марина в костюме паж, у Аси – такой же: шаровары, бархатные пелерины, береты со страусовым пером, чулки, туфли с пряжками – восхитительна. Её лицо... оживлено нежным румянцем. Она прелестно танцует вальс, преодолевая застенчивость... Вот отбрасывает привычно уже отросшие, на концах вьющиеся волосы... Её щеки похожи на лепестки роз... Мне чудится, за далью лет, Серёжа в костюме принца...?»

Пажи, принц... Они счастливы, и – главное – в них *цветёт будущее*... Запомним же их такими!

На исходе XX века Анастасия Ивановна, можно сказать, *оставалась последним «часовым» Серебряного века – на страже его памяти*...

Но вот страница перевёрнута, эстафета передана...



«С уважением к Вашей весьма нестандартной молодости и тёплым чувством благодарности за помощь моей старости...», – написала она Ст. Айдиняну в 1985 году экземпляр своей книги «Дым, дым и дым...». Как если бы отозвалась на «Четырёхлистник».

Конец 2017 г.

¹ В этом очерке, включённом автором в свою новую книгу «Удивляться красоте», – разбор лишь той части книги С.А. Айдиняна «Четырёхлистник» (издательство «Экслибрис-Пресс», М. – 2017), где речь – о Цветаевых, не касаясь К. Бальмонта и А. Виноградова.

² Здесь и далее сказанное Ст. А. Айдиняном выделено курсивом (кавычки опускаю).

³ Имя Анастасия – в переводе с греческого звучит именно так – Воскресшая.

«ОКОЁМ»

45-Й КАЛИБР: ДИАМЕТР И КОНКУРС

От редакции: Южнорусский Союз Писателей и журнал «Южное Сияние» уже не первый год являются партнёрами ежегодного международного поэтического конкурса «45-й калибр» имени Георгия Яропольского, организованного Международным поэтическим интернет-альманахом «45-я параллель» под руководством Сергея Сутулова-Катеринича (Ставрополь). II каждый год «ЮС» посвящает свои страницы победителям и лауреатам конкурса. В 2019 году победительницей турнира стала Анна Долгарева (Москва), а лауреатами – Евгения Босина (Назария), Никита Брагин (Москва), Анна Германова (Оффенбах-на-Майне), Анастасия Ефремова (Рига), Майк Зиновкин (Архангельск), Андрей Кац (Безр-Шева, Израиль), Виктор Кудрявцев (Рудня, Смоленская область), Елена Наильевна (Самафа), Светлана Носова (Брянск), Евгений Овсянников (Нижний Новгород), Алёна Овсянникова (Самафа), Полина Орьянская (Балашиха), Владислав Пеньков (Таллин), Светлана Пешикова (Липецк), Виктория Смагина (Томск), Елена Уварова (Алматы), Яна Юшина (Россия). Стихотворения семи авторов мы публикуем в «Южном Сиянии».

ВИКТОРИЯ СМАГИНА

Томск

ТОТ

в этом вечере – стылый ветер
и качание ивняка.
тот, кто знает про всё на свете,
не случился ещё пока,
не придумался во седмицу,
не откликнулся на «агу».

плачут песню свою зегзицы
и воробышки на снегу.
во путивле ли, во самарре,
на горе ли фернандо по
о непарном страдают твари,
колоколя «по ком, по ком».
открывают кассандры вежды,
христофоры – индийский след,
агасферы куют надежды,
несчастливый жуя билет.
бьются айсберги о титаник,
с челубеями – пересвет,
бьётся маня, готова манник
для нахлебника вредных лет.
зацветают морковь и донник
на страницах дисплейных книг,
на комоды отставший слоник
осалфечен и тем велик.

он трубит о своём, домашнем –
 киндер, кухне, рассада, кот,
 правда зеркала – «ты не краше» –
 и незыблемое «пройдёт».
 маргаритка – не маргарита,
 озаренье убей платком.
 протограбли и пракорыто –
 архиматрица точка ком.

тот, кто знает, случится тихо,
 смех и поступь его легки.
 вечер.
 ветер качает мифы,
 мироздание,
 ивняки.

ТОВАРКА

она прилетает, графитная с сединой,
 и с крыши сарая обкаркивает меня:
 мол, кто ты такая – с лопатою снеговой,
 тебе не досталось горячей избы, коня?
 ни алого паруса где-то в морской дали,
 ни алого цветика где-то в глухих лесах,
 ни туфельки – где там богемские хрустали,
 ни пэра, ни пёра...

лишь белая полоса
 огульного снега.
 кидай себе и кидай.
 растут терриконы, скрывая вишнёвый куст,
 бывалый штaketник, поленницы сырый край,
 ползут тихой сапой к провалу овражных уст.

ах, злая товарка по схиме снегов-лопат,
 не страшен мне ворох зерна из небесных сит

пока вьётся к дому расчищенная тропа
 и чайник на печке горячий мотив свистит.

СЕНТЯБРЬ УХОДИТ

сентябрь уходит. вянут георгины,
 махрово-жёлтый запах истончён.
 в авоське перелётной паутины
 жужжит билайном пара диких пчёл.

жу-жу, арахна-осень, хелицеры
 твои так цепки – голод по теплу.
 но всяк насельник выстывшего сквера
 о лете ворожит в своём углу,

его поёт, то громко, то чуть слышно,
 и рвётся из тенёт за облака,
 где золотится солнечная крышка
 прожжённого господнего горшка.

А СНЕГ ЗАБЫВАЕТ

а снег забывает, что был изумлённо-бел.
кукожится, никнет, стыдливо сползает с крыши,
бросается оземь.
ну где же твой джингл белс,
зайчата в колготках, лисички, чей голос ржж?
за снегом.

за снегом, которому нет конца.
качаются липы, встревожены и черны,
как старые девы, сбежавшие от венца
на край полусвета в древесные полусны.

качаются звуки – то ритм поездной, то стук
отбойного дятла, то пёсий брехливый батл,
то кары вороньи на перья своих подруг,
то женское трио – языческий бабий ад.

качается время от «минуло» до «вблизги»,
ссыпает петиты измятых газетных тем
за пшворот знак с комплектом энап-мезим
насильной манной холодных и злых морфем.

порхают обрывки заметок о том, о сём,
невнятных портретов на фоне бегущих дней,
и на развороте – «мы сами себя спасём» –
хорутвью для тех, кто молитвою всех сильнеей.

не зная молитв, не кроша голубям зерна,
не клея на тумбы анонсов про даждь нам днесь,
лишь стену разрушишь – за ней помощней стена.
и бьёшься,
и бьёшься
и раз-би-ва-ешься весь...

затёрт циферблат, онемел часовой движок,
посёлок оплал до развалин пещер «сим-сим»...

а я всё сжимаю в руке ледяной снежок,
ко мне прилетевший из века невзрослых зим...

ПАРИЖ

а нам с котом до городу парижу
как до китая киселя хлебать.
мы лучше здесь – понятнее и ближе,
свои шесток, рубашка, благодать.

свой бежин луг, подснежники в овраге,
кудлатый пёс в дозоре у ворот,
матёрый сом под илистой корягой
и пескаринный суетный народ.

полдневный зной с водою из колодца –
скрипучий ворот, цепь, гремит ведро...
подсолнух поворачивает солнце.

и дед адам клянёт своё ребро
 великим и могучим с перебором,
 а бабка ева шанежки печёт
 с морковкой и ревенем.
 за забором
 гудит пчелиный вылетный расчёт.

дни мелют новостийные смелн,
 а мы с котом глядим на окоём...

вот оценится найда на неделе
 и мы щенка парижем назовём.

МАЙК ЗИНОВКИН

Архангельск

ВЕЧЕРНЯ

Можно верить и в отсутствие веры...

Илья Кормилецев

(зр. Наутилус Помпилиус – «Скованные одной цепью»)

Под неспешный церковный гексаметр так задумчиво, так хорошо!
 Если плакать чужими глазами, то свои порастут камышом.
 Облака растекутся по далям, солнце красным мазнёт купола.
 Бросить нищему чёрствый рогалик – пусть разделит с бедой пополам.

Ожидание встречей чревато. Зря гадать по гудкам поездов.
 Если в сердце солома да вата, что за мыши там свили гнездо?
 Ветер прячется в кронах устало, дворник пьян и чертовски небрит.
 Кляксой сумерек в книгу кварталов угасающий день одарит.

Взбаламутятся сны и химеры, как клубок потревоженных змей.
 Если верить в отсутствие веры, то любить – и пытаться не смей!
 Фонари рассекретят редуты узких улиц. И первым из ста
 Сдашься вечности краткой минуты созерцания звёзд и креста...

ОЛАДЬИ

На синей наволочке неба
 Сверкает пуговица солнца –
 Её пришила мама Миши
 Взамен оторванной луны.
 А жизнь – большой и сложный ребус,
 Но ничего не остаётся,
 Как разгадать его и выжить.
 И выжать в наволочку сны –

Не ведать чтоб ни сном, ни духом,
 Что ждёт нас очень-очень скоро,
 А небу распахнуть объятия,
 Ведь в отражении стекла



Пижама в рыжих винни-пухах.
А за окном – любимый город,
И воскресенье. И олады
На завтрак мама испекла.

ДЕТИ ИГРАЮТ В БОГА

Дети играют в бога,
Их захватил процесс.
Детям совсем немного
Надобно для чудес:
В тайном собраться месте,
Мамам запудрить мозг.

Тот, кому выпал крестик,
Гвозди с собой принёс.

Всё любопытно детям,
Чтение – не порок.
Из глубины столетий
Смотрит воскресший бог –
Молча, без истерии –
Он узнаёт игру.

Та, что теперь Мария,
Тихо скулит в углу.

Действом доволен каждый:
Яшка, Петруха, Дрон.
Ночь незаметно сажей
Пачкает небосклон,
И по домам ребята
Шпaryт. Их жизнь легка.

Только на роль Пилата
Нет никого пока.

ДО ЁЖИКОВ ШУРШАЩИХ

До талого, до высохших болот, до первых белок в дуплах сизых сосен.
До «кто кого из нас переживёт», до взлёта в просинь и удара оземь.
До рыжей хвои, ссыпавшейся на изъеденную потом гимнастёрку.
До лета, до какого-то рожна, до памяти неряшливо затёртой.
До крови из прокушенной губы, до правды с оправданиями после.
До птичьих гнёзд, до топота копыт, до мальчиков, одетых не по росту.
До заповедных рощиц и чащоб, до просек, до берлог и до опушек.
До шанса, что упущен. А ещё – до воя, наполняющего душу
Серебряным сиянием луны. До облаков, нанизанных на ветви.
До «будто бы и не было войны», до некрасивых лиц красивой смерти.
До белых, мухоморов и маслят. До стука топоров лесоповала.
До быстрой самокрутки не в затыл, до двух «ку-ку», которых слишком мало.
До неба, уходящего в пике, до ласковой сестры из медсанбата.
До ёжиков, шуршащих налегке к пленительному яблоку заката.

МАМА ДОМЫЛА РАМУ

Август пропах шафраном, сеном и курагой.
Мама домыла раму. Папа ушёл к другой –
Взбалмошной и бездетной. Папа хотел давно.
Ветер ольховой веткой ночью стучал в окно.

В ранец досаду прячу, горькую, как полынь.
 Мама уже не плачет – моет теперь полы.
 Шастает тихой сапой осень по проводам.
 В пятницу пьяный папа сдуру ломился к нам.

Детство осталось где-то хламом на чердаке.
 Тройки по всем предметам, «неудь» в дневнике.
 Жизнь педагогом истым вдалбливает урок.
 Дома светло и чисто – мама намыла впрок.

ЯНА ЮШИНА

Москва

ПРЕВОЗМОГАЯ ДОЛГИЕ МОСТЫ

превозмогая долгие мосты
 шаги роняли и крути бежали
 шестые сутки в городе гостил
 дрожал октябрь в прокуренной пижаме

ни времени ни нас не обгонял
 ему навстречу словно так и надо
 вёл медный всадник медного коня
 по нотам александровского сада

плескалась медь лилась из медных труб
 из медных флейт за медные кулисы
 туда где сушит крылья на ветру
 отныне медный парусник улисса
 адмиралтейской выпущен стрелой
 оберегать очаг святого эльма
 где тучи прижимаются спиной
 к спине и вдруг расходятся дуэльно

и выбивалась ладожская прядь
 из сил как успокоенная смута
 и слово поворачивало вспять
 пока ещё не данное кому-то

стоял октябрь хоть пой ему хоть верь
 в кунсткамере заканчивалась плёнка
 а медный мальчик топал по неве
 и обнимал за шею жеребёнка

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ИХ ПУСТЯКОВЕЙ

выбирали слова
 чтобы не было их пустяковой
 выпирали слова
 пробивались из всех застеколий

из трамвайных темниц
 и сияющих офисных тюрем
 заводной альпинист
 проплывал за гостиничным тюлем



и кончались слова
и почти выручала осиплость
только с плеч голова
как ребёнок на руки просилась

ТАМ ГДЕ АНИЧКОВА КОННИЦА

там где аничкова конница
где подковы ветром кормятся
прочь из утра не мудри
будешь гостем за татарина
здравствуй новая проталина
и такая же внутри

а когда вернёшься затемно
в небо палец указательный
над осколками невы
дышит март не рассмотреть его
рокоссовский сорок третьего
выбрить до синевы

марту матерно и медленно
у него во лбу отметина
от кремлёвского ремня
в подворотнях полных прищипи
если март отпустишь с привязи
покажи ему меня

ОКРАШЕНО

по пьяной лавке с надписью окрашено
святые в доску
сменяются крокодил и чебурашина
на маяковской

им много лет и весён дохренищи но
прибрав тверскую
к ногам они не светят пепелищами
в толпу мирскую

смотри они стоят над ней колоссами
костыль в костыль и
о них печётся высь златоволосая
чтоб не остыли

НА СКЛАДЕ МАНЕКЕНОВ И КАМНЕЙ

на складе манекенов и камней
ты различишь молчащего по ней
объявит сеньку шапка-невидимка
перегорев от темени до лба

когда на крик срывается резьба
[вначале было слово]
поединка
тебе не избежать с собой самим
и выбор тишины сопоставим
с намеренным кидаловом монеты
поэзия становится орлом
и в потолок уходит напролом
и отключает тэги и комменты

она как водка йод и мумиё
 целебное язычество её
 полно как электричка на удельной
 попутчиками в дальние края
 где будущая молодость твоя
 длиннее прошлой и дороже денег

АННА ГЕРМАНОВА

Оффенбах-на-Майне

Из Москвы – в Мокропсы и Вшеноры,
 на отмытый песками погост,
 в год глухой двадцать пятый, в который
 распрямлялась, как в гроб, в полный рост,
 в эту даль, в эту боль – будто жало
 или гвоздь, заржавевший в доске,
 вынимала себя и рожала
 в эту жизнь на чужом языке
 и дома, и деревья, и сына,
 и застывшие губы полей,
 что тебе остаётся, Марина,
 то и держит на каждой земле –
 эта страсть, эта власть, это слово,
 словно воды отходят, плывёт
 всё неустовей за Крысоловом
 прямо в музыку – в море твоё.

ВОДОПОЙНОЕ НЕБО

Мне декабрь – наказание сущее,
 снега нет и во сне в Неметчине.
 Словно кони, в ночное пущены,
 погружаются крыши в млечное,
 в самолётных и звёздных оспинах,
 в бубенцах беспризорных спутников,
 водопойное небо. Господи,
 в небе трассы как травы спутаны,
 там ведро под телегой звякает,
 чалый месяц стучит подковами,
 и вину и надежду всякую
 тянет волоком до Московии,
 по налитым до края рытвинам
 дождевыми метёт рогожами.
 Там готов мне покров молитвенный,
 на бесснежную ночь одолженный.

Если снег не приходит – приходят последние сроки.
 Нет ни в чём белизны – не блестит на верёвке бельё,
 полиняли берёзы, в них блёклые спорят сороки,
 всё никак не поделят гнездо на «твое» и «мое».



Что за свет непрямой, исподлобья, беспмятно-серый,
налегает всей силой на крыши, моргает совой,
застигает врасплох меж сомнением, страхом и верой,
окунает в бесснежье своё как в купель с головой,

отпускает листать придорожных кустарников святцы,
воробьиным пером наудачу лететь в темноте,
возноситься, и падать, и помнить, что нечем держаться,
разве воздухом строк и дыханием спящих детей.

А дальше ехать было некуда.
Из ниоткуда в никуда
созвездия бродили неводом
по дну зацветшего пруда,
под их прицелом уезжали мы,
тюрьму меняя на суму,
пражанами и парижанами
в окне раскачивали тьму.
Текли вокзалов стыки ржавые,
платформ окурки и лузга,
искрила, испуская ржание,
дороги вольтова дуга,
выкидывали рельсы лезвия,
валились под вагон огни,
а небо к северу прорезала
гусей вольфрамовая нить.
Но, глядя вдаль, едва ли знали мы,
что их закатное звено
бестрепетным холодным пламенем
в последний раз озарено.

Что за лестница крутая,
рябь страниц по всей судьбе,
переплётов ветхих стая,
лепет горних голубей?
Кто в ночи моей Иаков,
моему ковчегу Ной,
козье стадо в пёстрых знаках,
древних лоций перегнутой?
Кормщик правнук Ибрагимов,
декабрю крестовый брат,
через питерскую зиму
на халдейский зиккурат,
пролагает тяжкий волок
по январской целине,
по ступеням книжных полок,
дай-ка, просит, руку мне,
да поднимемся повыше
по строительным лесам,
может, там ещё подышим
сквозь воронку в небесах?
Здесь морочит нас морошка,
трудной смерти маета,
да серебряная ложка
у разорванного рта.

НИКИТА БРАГИН

Москва

МОСКОВСКОЕ РОЖДЕСТВО

Однажды, не в силах развеять беду,
на старую улицу я побреду
рыдая родными стихами,
и будет хрустеть под ногами хрусталь
случайной сосульки, и всхлипнет печаль,
в пещеру войдя за волхвами.

И будут шептаться с младенцем волю,
и ангелы встанут на кончик иглы,
и в бисере овцы возягут,
и вырвется вздохом – прости, не могу,
и бусинкой спрячется в рыхлом снегу
слезы невесомая влага.

Уколы мороза, ожог мишуры,
блаженных и нищих ночные пиры,
да звезда одинокие крошки...
Москва, ты бела, словно лобная кость,
Москва, ты стихами прошита насквозь –
надёжной ахматовской стёжкой.

Ты примешь меня без объятий и слов,
ты скроешь неровные строчки следов
позёмкой, искристой и зыбкой,
и больше не надо ни ритмов, ни тем –
снежинка в ладони, в душе Вифлеем,
а в сердце – невинность улыбки.

Когда коснётся одиночество
изломом высохших ветвей,
и отзовётся только отчество
из горькой памяти твоей,
тогда ты всё увидишь заново,
как в детском радужном стекле –
предутреннее, первозданное,
единственное на земле.

Увидишь, словно не утрачены
в десятках прошуршавших лет,
в быту и беготне горячечной,
в дыму дешёвых сигарет –
ни муравы прохлады дивная,
ни тёмных елей тишина,
ни восхищение наивное
смешной девчонкой у окна.



Поздняя осень, холодного ветра вино,
жизни предзимье, где старому сердцу темно,
где рассыпаются прахом труды и устои.
Время струится песком сквозь дырявый карман,
тихо подходит к концу надоевший роман,
глянешь, а там, впереди, только поле пустое.

Холоден этот пейзаж облаков и стерни,
бьётся в уме безнадежное слово «верни»,
но понимаешь и сам, что разумнее – молча
сосредоточиться, и на краю бытия
мысленно молвить – да сбудется воля Твоя
здесь, на виду у пирующих полчищ!

Понял теперь? Это поле – арена среди
шумных трибун, где и чернь, и вельможи орды
в полную грудь развлекаются гамом и свистом.
Лучшие между собой разыграют призы,
жертвам придётся страдать до последней слезы,
ну, а тебе – становиться в шеренгу статистов.

Здесь ты безвестен, ничтожен, закопан в золу,
здесь искупают тебя, отдают на съедение злу,
в душу вливая безумие, гордость и зависть.
Горько терпеть, и надеяться неумогу,
больно зерно из ладони ронять в пустоту,
и сознавать, что уже ничего не исправить.

Мужество делает выбор – уйти из игры,
просто уйти, не заметив котлы и костры,
слово и дело своё в тишине завершая.
И не спеши, даже если тебя позовут
к жирной похлёбке на несколько жарких минут –
недоедание ныне беда небольшая.

Изучение накипи в чайниках
продиктовано жаждой найти
в хаотической груде случайного
все начала, концы и пути,
процедить через сито статистики
воду мыслей и фактов песок,
и в бурьянах и плевелах мистики
увидать хоть один колосок.

Но из кранов течёт только жёсткая,
отдающая хлором вода;
лучший чай на подносике жостовском
подаёшь, а в стакане бурда,
и анализ крошащейся накипи,
как бы ни был он точен и скор,
никому не подарит ни капельки
с заповедных заснеженных гор.

Прикорнуть в сухой тени седой маслины,
 посмотреть на циферблат – семнадцать сорок,
 и расслышать издалека крик ослиный,
 по соседству – юркой ящерицы шорох.

И припомнить всё до пригоршни последней –
 хрупкий камень, осыпающийся прахом,
 дальний колокол, сзывающий к обедне,
 полный солнца апельсин из рук монаха.

И когда твоё предвечное настанет,
 насладиться, как за кручами алеет,
 и тропинка между колкими кустами
 растворяется в покое Галилеи.

И не верить, что исчезнет это царство,
 этот космос, огранённый в тихий вечер,
 и не слушать про убогие мытарства,
 но шагнуть – навстречу.

ПОЛИНА ОРЫНЯНСКАЯ

Балашиха

БЕЛЫЙ ДЕНЬ

Вот – день. Он бел. Я чувствую покой.
 Он – дрожь и тихий звон корпускул света.
 Ещё к подушке сон прижат щекой,
 но проявитель, налитый в кювету
 холодным солнцем, порождает жизнь:
 и звук, и смысл, и память – боль и небыль.
 И слышно песню – песня дребезжит,
 её слова нанизаны на стебель
 сухой травы февральских пустырей,
 и тянут, тянут за душу бемоли...
 Но контуры отчетливей, видней.
 Вот – прочерк птицы в законной воле,
 вот – от берёзы вытянулась тень.
 И вдоху тесно – лёгкие малы...
 Из эмбриона, семечки, золы
 я снова вырастаю в белый день.

ДЫМ

На оббитом кафеле
 мокрые следы.
 Губы губы плавил
 в жаркие меды.

Маялась бесцветная
 сонная луна.
 Штора билась, ветром ли,
 стоном ли полна.

Растекалась полночь и
таяла с краёв...
Сколько дымной горечи
в имени твоём –

как в осеннем городе,
где листву метут.
Повторять бы, господи,
до иссохших губ...

Лай собак у станции.
Капает вода.
Зябнет традесканция.
Воют поезда.

Размывая линии
в профиль и анфас,
лепестками синими
трепыхает газ.

Тени от акации
мечутся в окне.
Ты целуешь пальцы мне.
Пальцы.
Мне.

МОЙ СЛАВНЫЙ С. ИЗ ОСЕННЕЙ ПЕРЕПИСКИ

Ну как твои дела, мой славный С.?
Ты всё ещё питаешь интерес
к надёжно упакованным в стихи
фантазиям? Из этой чепухи
занудного ажурного плетенья
ты всё ещё выманиваешь тени
реальных дней, прожитых впопыхах?

А знаешь ли, как сладко подышать
среди пробок, новостроек и дождей?
Где ты, как все, навек приговорён
к толпе таких же пасмурных людей
и проклят отплясавшим октябрём.
Тебя впихнут в колоду ли, в рукав –
и крой, кого сумеешь как придётся...
Так и живу. И ты, конечно, прав:
всё суета, и в ней не надо лаций,
поскольку расшибишься так и так,
принявши свет в тоннеле за маяк...

Вот так, мой милый С., такая жесьь.
Но у меня, пойми, хотя бы есть
собака, лес, тропинки и река.
Как фантики в кармане дурака,
все эти травки, бабочки, цветы
и ты...
А у тебя живёт помойный кот.
Сосед орёт. С утра гудит завод.
И в обиходе – боже! – шифоньеры...



Ну что сидишь? Тащи свой тощий зад
на улицу – смотреть, какой закат
над осенью: неоновый на сером...

ПЕРЕЛЁТНОЕ

Ты ищешь смыслы. Слушай, всё тщета.
Без разницы, что ползать, что летать,
пока тепло на солнце и в тенёчке

козявочкам в распаренной траве,
весёлым тараканам в голове
и водомеркам в огородной бочке,

пока жуёт смородину оса,
и слышишь, как блаженный, голоса,
и понимаешь речь цветов и сосен...

Но, только ты настырней, чем осот,
взрастёшь в деревню, сад и огород,
тут бац – и осень!

И что? И всё! Давай, лети, пока,
с гусьями на привольные юга
и с ласточками в сторону Магриба!

А я жучком залезу под кору.
Дай бог, перезимую, не помру,
и никакого, знаешь, либо – либо.

Лети, лети, не надо глупых поз!
А я себе впаду в анабиоз,
в беспмятство по самые печёнки.

Ты скажешь, сон – бессмыслица и хрень?
Но в нём летают все, кому не лень,
и всюду луг, и бабочки, и пчёлки...

ТАКАЯ ОСЕНЬ

Такая осень, друг, такая осень.
Сто бед. В довесок – горе не беда.
Холодный лес затих многоголосо.
Земля седа.

Ни сны не зреют в пору снегопада,
ни солнца белый пасмурный налив...
А снег тихонько штопает, где надо,
где на разрыв.

Друзей считают осенью, в ненастье,
когда листву срывает и несёт.
А пишут имена на первом насте.
Раз, два... И всё.

СВЕТЛАНА НОСОВА

Брянск

И КАЖЕТСЯ...

*И тихо... Так, Господи, тихо...
Что слышно, как время идёт.*

Анна Ахматова

...и льётся свет на зябкую ладонь.
и кажется, что воздух, только тронь,
рассыплется на пиксели снежинок.
и тихо так, что слышно, как идет
начавшийся по всем законам год,
неотвратимо и неудержимо.

действительность похожа на спираль,
и кажется, на счастье выбирай
любой виток, что в срок тебе отпущен.
но время держит за руку, и мы
с тобой живем за пазухой зимы
и ничего не знаем о грядущем.

мир безусловен в этой тишине.
и только снег...
крутом один лишь снег,
подкрашенный густым ультрамарином.
молчи и ничего не говори.
мне всё уже сказали фонари
на фонарином.

НЕЗРИМОЕ

год кончается
ни сдвига
спят юноны и авоси
мне б слова найти однако
вдохновенье тоже спит
недописанная книга
про авосевую осень
зацепилась словно якорь
за беспочвенность обид

я сижу гляжу на звёзды
пью забористую зиму
застревает в горле комом
хоть не смейся хоть не плачь
и не то чтоб слишком поздно
просто всё невыносимо
не выносятся из дома
колкий мусор неудач



днем не выйти
 вдруг ослепну
 от сверкающего снега
 собираю неудачи
 через нет и не могу
 дом не дом а серый склеп но
 жду от бога оберега
 обереги же маячат
 на далёком берегу

но юнона чинит парус
 и авось его починит
 вдруг пойму что беспричинен
 этих волн-волнений шум
 миг и я уже не парюсь
 не тону в густой кручине
 и незримому мужчине
 письма нежные пишу

ТВОЯ АПОФЕОСЕНЬ

недолг путь.
 прошедшее иতোжа,
 ты впитываешь время тонкой кожей,
 в бокалах измеряя каждый шаг,
 заглядываешь в мир своих видений
 и чувствуешь: в тебе скребется гений
 и просится на волю, подышать.

рябит в глазах твоих апофеосень.
 на пожелтевших трав простоволосье
 наносят клёны сочные мазки.
 и в капельках подсолнечного света
 мерещатся безумие винсента
 и ступки медно-охровой тоски.

ты ловишь музу, стоя на асфальте.
 в тебе дрожит от холода вивальди
 и морщится взъерошенный гоген.
 а ты упрям, заносчив и свободен.
 и делится обрывками мелодий
 собрат по крови – ветер перемен.

ты – сумас-бродский, может, полу-нищие,
 ещё счастливый, но уже раскисший
 от виски и прошедшего дождя.
 ступай себе, расплачивайся с миром,
 твори, но не трави в себе кумира,
 в который раз в нирвану уходя.

МОЙ ЛИЧНЫЙ НЕДОВЕРЧИВЫЙ ЮПИТЕР

мой личный недоверчивый юпитер
 тобой прошит раскаявшийся питер
 ты сердисься а значит ты ведом
 туда где стен графитовые тени
 где тянется граница измерений
 и камни собираются с трудом



где сотни дел играют в долгий ящик
но ищущий как правило обрящет
кусочек эфемерной пустоты
звнящей колокольчиком под крышей
имеющему уши да услышать
какое слово произносишь ты

навязчивой бессонницы обитель
вращающийся шарик на орбите
ты сердисься да брось не заводись
на променад настроиться сумей-ка
скучает в парке добрая скамейка
зелёная как новенькая жизнь
рыжеют белки липы да осины
садись в трамвайчик с обанком лосиным
оставь каналы крыши и мосты
езжай туда где мир как на картинке
где ветер собирает паутинки
и вяжет на ограды и кусты
где небо приголубит птичью стаю
где так доступна истина простая
ты сердисься а значит ты неправ
останется решительная малость
вернуть всё то что в нас перекликалось
мой номер заблудившийся набрав

«ГОРИЗОНТ»

ПОКАЗАТЬ ЦЕНУ И СМЫСЛ ЖИЗНИ о Международном Грушинском интернет-конкурсе

*«На свете лишь любовь и песня
имеют истинную власть...»*

Юрий Панюшкин

С 2010 года по настоящее время в сети интернет проходит Международный Грушинский Интернет-конкурс (МГИК). Цель проекта МГИК – отразить в лучших образцах многообразие современной поэзии и прозы, авторских песен, запечатлеть их движение на всех континентах. Задача проекта МГИК – соединять творческих людей, предъявлять их работы друг другу и мастерам жанра. Для этого в проекте есть 9 номинаций: 5 песенных (специальная, бард, автор музыки, исполнитель, дуэты и ансамбли), 2 литературных (поэзия, малая проза) и 2 дополнительных (фото, видео).

Если в 2010 году в проекте приняли участие конкурсанты из 8 стран, то уже в 2019 году – из 25-ти. В разные годы конкурсные произведения оценивало компетентное международное жюри в составе, которого были:

Ольга Качанова (Казахстан), Бахыт Кенжеев (Канада), Виктор Гагин (Германия), Григорий Дикиптейн (США), Вадим Гефтер (Украина), Юрий Поляков (Россия), Михаил Овсицер (Канада), Сергей Главацкий (Украина), Владислав Сергеев (Россия), Григорий Брескин (Австралия), Юрий Беридзе (Россия), Евгений Израильский (Беларусь), Евгений Чепурных (Россия), Игорь Волгин (Россия), Борис Щеглов (Москва), Владимир Шемшученко (Санкт-Петербург), Юрий Лорес (Россия), Михаил Трегер (Россия), Андрей Аншилов (Россия), Анатолий Головков (Израиль), Елена Исаева (Россия), Анатолий Азаров (Россия), Татьяна Визбор (Россия), Борис Щеглов (Россия), Людмила Клёнова (Израиль), Борис Есипов (Россия) и другие уважаемые поэты, писатели, барды...

За эти годы через проект прошли более десяти тысяч людей со всего света. 161 участник стали ПОБЕДИТЕЛЯМИ МГИК с вручением диплома. А из тех победителей МГИК, кто приехал на Грушинский фестиваль, на финал летнего конкурса фестиваля, 14 участников стали лауреатами, 27 получили звание дипломантов.

Кто же эти победители МГИК? Вот только одна номинация *Поэзия*:

- 1 МГИК: Игорь Царёв (Москва), Никита Брагин (Москва), Владимир Плющиков (Санкт-Петербург);
- 2 МГИК: Марина Генчикмахер (США), Игорь Лукшт (Москва), Алёна Вайсберг (Самара);
- 3 МГИК: Игорь Царёв (Москва), Игорь Лукшт (Москва), Андрей Земсков (Владивосток), Вероника Сенькина (Москва);
- 4 МГИК: Сергей Кривонос (Украина), Наталия Прилепо (Тольятти), Тейт Эш (ОАЭ);
- 5 МГИК: Елена Копытова (Латвия), Михаил Свищёв (Москва);
- 6 МГИК: Ирина Грановская (Израиль), Нара Фоминская (Израиль), Любовь Левитина (Израиль);
- 7 МГИК: Александр Габриэль (США), Полина Орынянская (Балашиха);
- 8 МГИК: Сергей Кривонос (Украина), Сергей Пагын (Молдова), Николай Бицок (Украина);
- 9 МГИК: Ренарт Фасхутдинов (Санкт-Петербург), Мария Рубина (США), Светлана Носова (Брянск).

В этом году 15 ноября мы начинаем юбилейный сезон и приглашаем всех желающих принять участие. Добро пожаловать <https://wgic.ru/>

А вам интересно как всё начиналось?

В 2007 году 34-й Грушинский фестиваль посетил знаменитый на весь мир Борис Бурда – телеведущий, писатель и бард.

– Меня порадовал уровень фестиваля, – рассказал журналистам известный одессит.



Первый раз Борис Бурда попал на всемирно известный фестиваль, когда тот ещё был запрещён. И с того момента привязался к Грушинскому.

– На фестивале я встречаю друзей, причем таких, которых размело по всем континентам, кроме Антарктиды, – говорил «знаток» в интервью, – Этот фестиваль не российский, это фестиваль международный, всемирный, заявляю это как гражданин Украины.

Я же в тот момент презентовал на фестивале итоговый сборник виртуальных пилигримов «Философия иллюзий» и разговорился с освободившимся Борисом Оскаровичем о поэзии в авторской песне.

– Поэт и исполнитель авторской песни должны быть знакомы лично, чтобы создать песню, которая будет жить в поколениях, – резюмировал нашу беседу тогда бард из Одессы.

И эта мысль не давала мне покоя, пока не оформилась в Международный Грушинский Интернет-конкурс (МГИК) в 2010 году.

Пусть талант и проверяется временем, но задача человека творящего – показать современникам цену и смысл жизни.

И мы показываем...

*С уважением, Эдуард Филь
Руководитель оргкомитета
Международного Грушинского Интернет-конкурса*

РЕНАРТ ФАСХУТДИНОВ

Санкт-Петербург

ТОЧКА ОТСЧЁТА

Да, конечно, я знал, что прав: не гонялся за тем, что снится,
От добра не искал добра, в крепких лапах держал синицу,
Насмерть вкручивал все болты, зов дороги отправил к чёрту,
Потому что всегда был ты – для сравнения и отсчёта.

В самой дикой лесной глуши, как последний осколок чуда,
Билась искра твоей души, ясно видимая отсюда.
И пока ты шагал во мрак, потаенные тропки вызнав,
Я работал не просто так, а как будто бы принял вызов.

Но теперь ты вернулся. Что ж, на чужбине и мёд несладок.
Я гляжу, ты на диво тощ, на одежде полно заплаток,
А на смену льняным кудрям – тёмный волос, прямой и жёсткий.
Сразу видно, тебя и впрямь часто гладили против шёрстки.

Знаю-знаю, судьба слепа, в бедном сердце ни сил, ни страсти.
Хорошо тебя потрепал ненаглядный твой ветер странствий,
Выжал досуха, сдал в утиль, вынул душу, впечатал в глину.
И тогда ты свернул с пути, а иначе бы просто спинул.

Не смотри на меня с тоской, это, в общем, неплохо даже:
В нашей маленькой мастерской наконец-то пошли продажи,
Веселится гончарный круг, за прилавком мелькают лица,
Словом, пара свободных рук обязательно пригодится!

Платим вовремя, а поверх – кружку светлого в день погожий.
Скоро выветрится, поверь, всё, что вьелось тебе под кожу:
Сок полынный, промозглый дождь, путевое ночное счастье.
Ты вернулся, ну что ж, ну что ж... Только лучше б не возвращался.

ПЛЕЙСТОЦЕН

Я вписан прочно в пейзаж окрестный
И знаю правила на зубок –
Листаю ридер в вагоне тесном,
По понедельникам жаду суббот.

Но если вдруг воротник всё туже,
А зубы сжаты до ломоты,
Я закрываю глаза – и тут же
Наш мир становится молодым.

Вода прозрачная, камень твердый,
Огонь согреет и защитит,
Обрывок шкуры надень на бедра,
С голодным хищником не шути,

У жёлтой ягоды горький привкус,
Зеленоватых не рви плодов,
Потрепlesh Серого по загривку –
И он оближет тебе ладонь.

Ты эти правила знаешь чётко:
Ходи бесшумно, не верь врагу,
Остерегайся змен с трещоткой
И зверя с пятнами на боку.

Сражайся насмерть за то, что ценно:
Подруга, племя, живой очаг.
Эпоха позднего плейстоцена –
Не время грезить о мелочах.

Здесь не бывает ни злых, ни добрых.
Здесь есть понятие «свой – иной».
И ты шагаешь, подтянут, собран,
Копьё подвешено за спиной,

Четыре шрама на тёмном теле
И украшение из клыка...
Но между нами на самом деле
Не так уж разница велика.

Когда от долгого перехода
В коленях щелкает и хрустит,
Когда, отправившись на охоту,
Добычу верную упустил,

Когда от вони гниющей туши
Готово вывернуться нутро,
Ты закрываешь глаза – и тут же
Встречаешь питерское метро.

ЛЕТНЯЯ БАЛЛАДА

И приходит к отцу Июнь, синеглазый мальчик,
Как положено, весь искрящийся и упёртый,
Говорит, что на свете есть паруса и мачты,
Перекрёстки, меридианы, аэропорты.

Можно топтать по тёплым шпалам до горизонта,
Можно взять за рога потертый, но крепкий велик.
Это значит, что ни единого нет резона
Остаться с тобой по эту сторону двери.

И плевать, что подстерегают в потемках ямы,
Что гремят арсеналом молний чужие выси...
Если что-то случится, то эта гибель – моя, мол.
Понимаешь, она от меня одного зависит!

А потом приходит Июль, двухметровый воин,
Через щёку шрам, в золотой бороде косички.
Говорит, что на свете есть подлецы и воры,
И удары исподтишка, и ночные стычки.

И поэтому ты, отец, на меня не сетуй,
Слишком горек теперь мне вкус молока и мёда.
Прямо в эту секунду, пока мы ведём беседу,
По жилому кварталу кроют из миномёта,

Бронированная махина въезжает в надолб,
Георгины распускаются на могилах...
А случится чего со мной, горевать не надо б,
Только этого я тебе запретить не в силах.

И последним приходит Август, сухой, прожжённый,
Преждевременно поседевший, глотнувший лиха,
Говорит, что в саду за домом созрел крыжовник,
Тёплой мякотью наливаются облепиха.

Можно сесть на скамейку и ничего не делать,
Можно просто прикрыть глаза, улыбаться немо.
Только братьев уже десятую нет неделю,
А кому их спасти от гибели, как не мне, мол?

Не подумай, что я о ком-то из них скучаю.
Мы, конечно, родные, но дело не в этом вовсе...
Он хватает куртку, позвякивает ключами
И уходит, не оглянувшись, из дома в осень.

МАРИЯ РУБИНА

Бостон

Вот я и ты.
Вот Мишка – твой кузен.
Он безмятежно постигает дзен,
в гостях сидит, уткнувшись носом в книгу.
Вот Мишкина невеста Ира О.
Поёт «под крышей дома своего»,
но также любит Моцарта и Грига.
Вот ты и я.
Вот наши кореша.
Они идут, вселенную кроша
своими озорными сапогами.



И нам ещё друг с другом хорошо,
и даже глупый анекдот смешон.
И только бесконечность перед нами.
Вдыхая жизнь и выдыхая сон,
мы выбрали Созвездие Весов,
взлетая ввысь и опускаясь наземь.
Но как бы ни был долог тот полёт,
однажды кто-то нас перечеркнёт,
как строчки неудачные в рассказе.

В синем старом лыжном свитере,
Выходила на Неву...
Я жила когда-то в Питере,
А теперь вот не живу.

Там вода от ветра щурится,
Небо – серая броня.
И Гороховая улица
Не скучает без меня.

Свитер толстый, мамой связанный,
Шерсть, как печка, горяча.
Я ведь тоже не обязана
Огорчаться и скучать.

Без особенного рвения
Жизнь обычную веду.
Только в редкие мгновения
Представляю, как иду,

Обращая к ветру резкому
Удивлённое лицо,
По заснеженному Невскому
Мимо сказочных дворцов.

Нити те, что с прошлым связаны,
Всё равно не оборву.
Только знаю, что два раза нам
Не войти в одну Неву.

Хорошо, когда есть мама.
Хорошо, когда есть папа.
Можно к ним явиться в гости
На обед или на чай.

Мама с папой пожалеют,
Иногда покритикуют,
Иногда минут пятнадцать
Друг на дружку покричат.

А потом, перед уходом,
Мама даст мне двадцать банок.
В них котлеты, борщ и рыба
И ещё чего-то там.



И тогда я крикну: «Мама,
Ну зачем мне столько банок?
В наш “огромный” холодильник
Не поместятся они».

И тогда мне скажет мама,
И тогда мне скажет папа:
«Забирай, пока мы живы,
Забирай и не кричи».

Забирала эти банки
И пихала в холодильник,
Друг на друга громоздила,
И ругалась про себя.

Прихожу домой с работы,
Открываю холодильник –
Там, где были двадцать банок,
Больше года пустота.

Только два пучка редиски,
Лук в фольге, два апельсина.
Нету, нету, нету банок.
Нету банок, хоть кричи...

МАРИНА НАМИС

Москва

Удержи меня
наверху,
на плаву. Пусть глубины кличут,
пусть, оскалившись, стерегут
в заводь загнанную добычу.
Мимо день пробежит босой,
отсылая судьбу ко дну, и
смоет с рук не морскую соль –
растворённую соль земную.
Голоса залечив волной,
в снах январских обиду спрятав,
удержи тишину со мной
на корме.
По ночи дощатой
вслед теням прокрадись и ты,
чтоб коснуться, узнать неловко,
так взволнованные киты
под водою целуют лодку –
не дыша, не ища слова,
не по разуму, не по вере –
просто плачут, поцеловав,
и выгалкивают на берег.

Вдохнуть его и снова закурить,
 надменно медлить, улыбаться липко.
 Молчанием давясь, из-за двери
 считать шаги, что режут путь до лифта.
 Опять считать, но только этажи,
 где спят слова, где полумраку тесно,
 и видеть, как его толкает в жизнь
 горчичный свет затворника-подъезда,
 и как его встречают фонари –
 с упреком смотрят и стоят у входа,
 смолкает снег. Курить-курить-курить,
 пока на парапет ложатся годы,
 пока вздыхает дом – устал, замолк –
 и тянется зима по тротуару,
 опомнившись едва, закрыть замок
 и спрятать тапки – праздничную пару.
 И кутаться, себя не находя,
 пустые пальцы опуская в вечер,
 пока миры теряют негритяг,
 а языки лишаются наречий.
 Не знать-не знать, насколько хватит сил
 о том, как сплет тишь, о том, как некто
 уносит свет, как тянется такси,
 вращает тень в расщелину проспекта.
 И тоже возвращаться – в жизнь, в себя,
 до иступленья избегая спальни,
 где запахи забвенья теребят,
 и день на подоконнике оставлен.

НЕ ХОДИ ЗА ДВЕРЬ

Не ходи за дверь – там чёрный весенний лес,
 там промокший свет,
 и стоит свернуть за угол –
 заскулит капель, смывая слои колец
 со стволов,
 и мы не сможем узнать друг друга.
 Там живое и взрослое время ещё «на Вь»,
 у ручьёвого берега ты – всё такой же мальчик.
 И к забытому голосу тянутся из травы
 желторотые дети сорванных мать-и-мачех.
 Мы ютимся в ладонях старого шалаша.
 Мир заботливо создан из тёплой господней глины.
 Вечер ходит на цыпочках, мягко, едва дыша,
 держат небо апостолы – тополи-исполины.

Обернёшься – по просеке тучно ступает дождь,
 Зябко жмётся к земле, шепчет себя во сне ей.
 Лес становится холоден, изнемождён и топч,
 и чернеет-чернеет.

Не ходи за дверь – там чёрный весенний двор.
 В талых даях его ни мне, ни тебе не место.
 Просьпается дом – многоокое божество –
 Выпускает, зевая, сумерки из подъезда.
 Двери кашляют. Лучше поберегись:
 боги – не по углу, одежда – не по погоде.
 Вместо лиц и речей остаются одни шаги,
 да и те уходят.



Там в минувших пролетах – чёрный весенний ты,
март щебечет ветвям, не дотеплев до листьев,
и всё кажется, мир – попытка одной вражды
с нерадивым собой, покинувшим закулисье.
Там заря утопает в робости ветряной,
наглотавшись морозов, облако цепенеет.
Не ходи за дверь,
сегодня побудь со мной.
Я ещё весеннее. И ещё чернее.

ЮЛИЯ ДОЛГАНОВСКИХ

Екатеринбург

ОФЕЛИЯ

Офелия лежала вниз лицом,
а я плыла – рекою и отцом
Офелии, отцом её ребёнка,
плыла и пела – жалобно и тонко,
и тонкой струйкой лёгкая вода
входила в лёгкие. Качались города –

дрожал размытый контур королевства,
как будто в мареве июля – только вместо
тягучих солнечных лучей текла вода,
входила в лёгкие. Качались города –

зеркальный шар катился по реке,
и волосы Офелии в руке
моей текли плакун-травой,
опутывали пальцы, за собой
тянули в омут, погружали в плоть,
качали, словно люльку, зыбкий плот,

но я плыла – а что мне оставалось? – плыть
Офелией, рекой, отцом, ребёнком,
зеркальным шаром – быть или не быть –
звучащим жалобно и тонко

всегда, везде, когда-то, где-то.
...Взорвался пурпуром разбуженный цветок –
персты покойницы впиваются в висок,
и я плыву – не заревом, но светом.

ПОЛДЕНЬ

Здесь каждый встречает полдень, стоя в дверях –
солнце скользит, как по льду, от порога к порогу.
Люди щурятся, запирают наглухо двери – благодаря
столь дерзкому способу люди попробовали

обмануть бег времени. Получилось. В этом селе
все бодры и румяны – мужчинам всегда по сорок,
женщинам – по тридцать пять бесконечных лет,
ночь тиха и длинна, словно смерть, день проворен и короток.



Если стойкое «здесь» не смыкает глаз в задремавшем «сейчас»,
если время становится жалким заложником места,
прорастает и зреет «однажды» – ядом сочась,
выжигает землю. Однажды садовник Темперс,

вырезая побеги омелы из яблоневых ветвей, –
и откуда нынче в наших краях птичьё нашествие? –
позабыл о времени и у своих дверей
оказался минутой позже полудня. Шестеро

братьев Темперс дышали за шторой – и ни гугу!
Теряя перчатки и ножницы на бегу,
садовник стучит что есть силы в соседские двери.
Пастор шепчет в замочную скважину: – Сын мой, я верю...

Темперс плюёт на крыльцо, бежит напролом
через грядки святого отца, топчет клубнику.
Хлопает булочник дверью, шипит: – Поделом! –
прячет ключ. Портниха заходится в крике,

сапожник смеётся, аптекарь, сжав зубы, молчит,
учительша уши прикрыла ладонями белыми.
Садовник, седой как лунь, упал в наступившей ночи –
и умер. Наутро воскрес исполинским деревом.

Солнце встало в зените в положенный час,
заскользило привычным путём, зацепилось за ветки –
и уснуло. Всё погрузилось во тьму. При свечах
сельчане метались между трухлявыми вехами.

Двери хрипели, визжали и лаяли. Шло напрямик
освобождённое время, шатаясь спросонок.
В крайнем западном доме умер первый старик,
в крайнем восточном – родился последний ребёнок.

РЕКИ, РЕКА

Реки, река, пока я слышу,
пока я слушаю тебя.
Твой берег, разнотравьем вышит,
колышет лёгких жеребят.

Нальются силою копыта,
придёт высокая вода –
дорогою подземной, скрытой
уйдёт, казалось, навсегда.

Молчит река – мелеют строки,
тускнеют гривы жеребцов,
но гераклитовы потоки
сквозь соломоново кольцо

смягчают берег, что колышет
новорождённых жеребят.
Реки, река, пока я слышу,
пока я слушаю тебя.

ЖАКЛИН ДЕ ГЁ

Нью-Йорк

ЦЫПЛЁНОК ЖАРЕНЬИЙ

рассказ

Сухаревской рынок жил своей шумной, крикливой жизнью. Выставленные на продажу примусы громко гудели, показывая недоверчивым покупателям золотистые, прозрачные на ярком солнце язычки пламени. Торговки выпечкой и лоточники наперебой расхваливали товар, оттепельный ветерок разносил над толпой вкусный запах сдобы. В рядах барахольщиков плескало в глаза разноцветье распяленных на руках кофточек, юбок и женских платков. Невозмутимо восседал над книжным развалом старик-букинист, закутанный поверх худого пальтеца в оренбургскую шаль. Две татарки, стоя на брошенной на землю дерюге, оживлённо примеряли блестящие, чёрные, похожие на гигантские семечки галоши. И надо всей этой безостановочно бурлящей мешаниной лиц, красок и звуков возвышался исполинский брусок Сухаревской башни, упиравшейся остроконечным навершием в безоблачно-чистый небосвод.

*– Цыплёнок жареный,
Цыплёнок пареный,
Пошёл по улицам гулять...*

Тронутый хрипотцой мальчишеский голос, хорошо различимый даже в непрекращающемся базарном гомоне, выводил незатейливый мотивчик задорно и весело. Порой певцу не хватало дыхания. Песенка из-за этого звучала отрывисто, сбиваясь местами на речитатив:

*– Его пой-ма-ли, а-ресто-ва-ли,
Велели пач-порт по-ка-зать...*

Неожиданно к пению присоединился другой детский голос. Сильный и звонкий, он сразу вытянул захлёбывающуюся на верхах мелодию, добавил в неё щемяще-жалобных ноток:

*– Ах, не стреляйте, не убивайте,
Цыплёнки тоже хотят жить...*

Первый исполнитель, невысокий худенький беспризорник в обносках с чужого плеча, не прерывая пения, глянул искоса на неожиданного помощника. Другой малец, в такой же износившейся, грязной, не по росту большой одежде, подмигнул и широко улыбнулся. Серо-голубые глаза его казались неестественно большими и яркими на замызганной худой мордашке.

Закончив историю о незадачливом жареном гуляке, они некоторое время стояли, приглядываясь друг к другу.

– Петь ты горазд, – сказал наконец тот, что начал «Цыплёнка». – У меня так и не получится. А сам откуда? – Тульской губернии, – второй бродяжка шмыгнул носом, утёрся драным рукавом. – А ты? – Я всегда в Москве жил. Тебя как звать-то?

Певун замялся.

– Сначала сам назовись, – буркнул он.

Новый приятель слегка удивился, но спорить не стал.

– Коська, – сказал он и замолчал выжидательно.

Туляк нерешительно посмотрел исподлобья, поправил на стриженной «под ноль» голове сползший на самые брови картуз.

– Нюшкой меня зовут.

Коська отступил на шаг, посмотрел недоверчиво:

– Ты чего, девчонка, что ли?

– Ну да, – Нюшка вздохнула, опять шмыгнула носом. – Теперь водиться не будешь?

Коська подумал, засмеялся, махнул рукой.

– Буду. Поёшь хорошо.

В переулке капало с крыши, хрунал под ногами тонкий лёд на весенних лужицах. Извозчицья лошадь, фыркая, косила глазом на беспризорников, таких же серых и грязных, как прыгавшие по мостовой московские воробы.

– А мы сейчас куда? – Нюшка торопливо семенила вслед за Коськой.

– На кудыкину, – мальчишка бросил взгляд через плечо. – Озябла?

- Есть малость.
- Сейчас отогреемся.

Коськиным жильём оказался чердак стоявшего неподалёку от рынка двухэтажного особнячка. Забираться туда пришлось с соседних крыш, но при плотной сретенской застройке это было нетрудно – промежутков между домами на этой торговой улице не было вовсе, лавки лепились стенами друг к другу. Притихшая было во время военного коммунизма Сретенка снова ожила – один за другим открывались магазины, появлялись новые вывески, заполнялись товарами витрины. Через маленькое чердачное окно виден был только четырёхугольный кусочек сияющего весеннего неба да узловатая ветка росшего рядом с домом дерева.

– Я много песен знаю, – Нюшка, развалившись на заброшенном тряпьем топчане, с наслаждением жевала по-братски разделённый с Коськой бублик. – И по-нашему умею, и по-заграничному. У нас граммофон был с пластинками, так я выучила.

– Здорово! – одобрил Коська. – Сейчас поедим, и меня учить будешь. А твои все где?

– Мать родами умерла, отец с германской не вернулся. Как дед помер, так у меня родных никого не осталось, а чужим лишний рот в избе не нужен – своих бы прокормить. На деревне жрать было вовсе нечего, продармейцы всё подчистую забирали. Я пожила-пожила у людей, оголодала вконец, попрёков наслушалась. Эх, думаю, чем такое терпеть, лучше, как цыгане, по вокзалам петь, да и утёкла.

– Отчаянная, – уважительно протянул Коська. – А вернуться не хочешь? Голод-то кончился уже.

– Чего мне там делать? Нет, я в Москве останусь. Тут, говорят, если петь хорошо умеешь, в театр поступить можно.

– Можно, – подтвердил Коська. – Только нашего брата никуда не берут – воровства опасаются.

– Правильно опасаются, – засмеялась Нюшка. – Наш брат мимо того, что плохо лежит, ни в жизнь не пройдёт.

Мальчик взглянул на неё исподлобья, вздохнул.

– Я не вору, – тихо сказал он. – Мне нельзя. Что за песни подадут, тем и живу.

– Боженька не велит? – Нюшка смотрела насмешливо-недоверчиво.

– Нет, при чём тут... – Коська задумчиво оглядел огурец, с хрустом отбел от него здоровый кусок. – Просто я знатного рода.

– Бреешь! – девочка во все глаза смотрела на нового знакомого.

– Больно нужно мне тебе брехать, – обиделся тот. – Пёс брешет, а я говорю, что есть. Отец у меня был граф, а я, значит, графский сын. Мать у меня за границей, – Коська понизил голос, – в Париже. Недавно через верного человека весточку ей передал. Теперь она знает, где меня искать, и обязательно придумает, как забрать отсюда. Она умная. На всех языках говорит, на фортепьяно играет. И красивая. И добрая. Она меня, знаешь, как любит? Больше всех на свете. Я ведь у неё один.

Он помолчал и добавил значительно:

– Наследник. Нельзя мне вором быть.

Нюшка молча доедала остатки хитрой трапезы. Вид у неё был слегка обескураженный.

– Так что мне тебя теперь, сиятельностью называть? – спросила она чуть погодя.

– Не надо, – великодушно махнул рукою Коська. – К чему такие церемонии, мы же друзья.

– А я всё одно буду, – заверила его певунья и засмеялась. – Хочешь, новой песенке научу? От беженцев слышала. Под неё хорошо подают. Жалостливая. Бабы слушают – плачут. «Купите папирось» называется.

Долговязый худой подросток с лотком остановился возле поющих ребят.

– Всё горло дерёте? – хмуро спросил он. – Здорово, Костян.

– Привет, Жердай, и тебе не хворать, – Коська смотрел насторожённо. – Как торговля?

– К моему бы товару да вашу песенку – мигом всё продал бы, – хмыкнул Жердай. – Но и так разбирают. Без еды мужик день проживёт и не заметит, а без курева через час невмоготу становится. А у вас?

Нюшка кивнула на лежащий на земле картуз с мелочью:

– Подают помаленьку. Кто баранку, кто денежку. День сегодня хороший, люди солнцу радуются.

Жердай помолчал, переминаясь с ноги на ногу, оглянулся по сторонам.

– Ты, Коська, в Марьину Рошу-то давно наведывался? – спросил он.

Нюшкин приятель перестал улыбаться, поскуднел лицом.

– С осени не был, – отрывисто бросил он. – Чего мне там делать? Ты иди, Жердай. Иди. Продавай свою махорку, а нам петь надо.

– А чего, уже и спросить нельзя? Думал, может, передать чего хочешь.

– Нечего мне передавать.

– Тогда наше вам с кисточкой. Пойду торговать дальше. У нас, между прочим, и получше махорки

товар имеется, – с некоторой гордостью заметил несовершеннолетний частник и, подмигнув Нюшке, наконец улыбнулся. – Не скучай, малая!

Потом поправил лоток и зашагал по Сухаревке, выкрикивая хриплым ломающимся баском:

– Папиросы «Лира» – всё, что осталось от старого мира!

Коська уныло смотрел ему вслед.

– Слышь, сиятельство, а чего это он у тебя про Марьину Рощу узнавал? – с любопытством спросила девочка.

– Да так, – неопределённо ответил мальчик, пожимая плечами. – Языком почесать захотелось, вот и болтает невесть чего. Петь будем, али как?

– Эх, до чего ж хорошая фильма! – Нюшка, всё ещё под впечатлением от увиденного, тараторила без остановки, гримасничала, оживлённо размахивала руками. – А у малышка с бродягой жизнь точь-в-точь на нашу похожа, правда? Как будто подглядел кто... В конце меня аж на слезу прошибло. Когда тётенька эта дитё-то своё в участке нашла, да обняла, да плакать над ним стала, – эх, до чего же душевно у них всё это вышло! Вот ей-богу, были бы деньги, каждый день в кинематограф ходила бы! На все картины! А на Чаплина – по пять раз!

– Скоро лето будет, сможем в Нескучном саду бесплатно смотреть, – вяло, словно через силу, ответил Коська. – Там деревья кругом, если залезть повыше, всё видно.

Удивлённая непривычно тусклой, тоскливой интонацией, Нюшка посмотрела на товарища тревожными глазами.

– Не горюй, сиятельство. Ты свою маму тоже скоро найдёшь, – тихо сказала она, шестым чувством угадав причину Коськиного плохого настроения. – Вот увидишь. Письмо получит и сразу к себе заберёт.

Коська слабо улыбнулся, кивнул, тряхнул головой.

Беспризорники свернули с шумной, запруженной пешеходами, извозчиками и дующими в клаконы авто Тверской в более тихий Камергерский. Здесь и дома были пониже, и светильники горели не так ярко, и людей было поменьше. Возле одного из особнячков шумная компания рассаживалась по пролёткам: набриолиненные молодые мужчины в светлых летних пальто и лаковых ботинках, и девицы, одетые попроще, зато сильно накрашенные, визгливо хохочущие над шутками своих спутников.

Две цветочницы с корзинами, отпихивая друг друга и переругиваясь, торопливо спешили к экипажам в надежде сбыть с рук оставшиеся от дневной торговли ландыши.

– Да не верещите вы, убогие! Давайте сюда ваши цветы, покупаю всё!

Один из гуляк – высокий, широкоплечий, сильно подвыпивший – раскрыл портмоне, вытащил не глядя несколько кушор, протянул торговкам.

– Держите! Люблю, чтоб красиво! А ну, девочки, разбирай букетики!

Визжащие от притворного восторга девицы проворно расхватали пучки подвялых белых цветов. Высокий сделал знак возницам, и пролётки, шелестя по брусчатке резиновыми шинами, помчали седоков в сторону Рождественки.

– Что денег-то выбросил, – вздохнула Нюшка, и непонятно было, восхищается она или осуждает. – И было бы за что. Ладно бы розы, а то ландыши...

– Нэпманы, – равнодушно отозвался Коська. – Деньги есть, чего ж не гулять. Заодно тёткам коммерцию подержал... Пойдём поскорее, а то есть так хочется...

Ускорили шаг.

– Смотри, вроде вечер, а вовсе не холодно... и впрямь уже скоро лето, – опять затараторила Нюшка, стараясь поскорее отвлечь Коську от мрачных мыслей. – На реку будем бегать, рыбу ловить, в прудах купаться... А то по огородам картох нароем да в костре испечём. Летом, сиятельство, жизнь всегда легче.

– Летом в парках хорошо, – подтвердил мальчик. – Публики много гуляет. Особенно, по выходным. Все весёлые. Будем по паркам петь.

За разговором не заметили, как проскочили Камергерский, выбежали на Лубянку. Отсюда уже была хорошо видна возвышающаяся вдалеке тёмная громада Сухаревой башни, похожей на огромный океанский пароход с высокой трубой, плывущий по морю московских уличных огней. После переулка опять показалосьлюдно. Но публики было меньше, чем на Тверской, да и вела она себя потише и посерьёзней. На Сретенке лавки уже закрылись, огни в витринах скупо освещали выставленные напоказ товары. Сто-рожа монументально сидели на табуретах, окидывали недоверчивыми глазами оборванных ребятишек.

Нюшка собиралась свернуть в знакомый тупичок, когда Коська толкнул её локтем:

– Гляди! Сухаревский звездочёт идёт!

Со стороны площади по противоположной стороне улицы медленно шёл человек, одетый в странную, до самой земли, хламиду. Он нёс узкий длинный предмет, плохо различимый в неярком свете керосиновых



фонарей. Плоская четырёхугольная шапка, непохожая ни на один виденный доселе Ньюшкой головной убор, была сдвинута чуть назад. Лицо «звездочёта» – немолодое, умное, властное, с брезгливо опущенными уголками надменного рта – показалось девочке ещё необычней, чем наряд. Словно почувствовав любопытные взгляды, незнакомец вдруг повернул голову и уставился тёмными, пронзительными глазами прямо на ребятишек. Те, как вспугнутые птицы, стремительно сорвались с места и бросились прочь.

Только добравшись до чердака и как следует отдышавшись, девочка наконец спросила:

– А кто он, звездочёт-то этот? Чудной какой...

– Не знает никто, – объяснил с таинственным видом Коська, затеплил свечу и полез в тайник доставать спрятанные от мышей припасы. – Ты историю про царского колдуна слышала?

– Про Распутина, что ли? – при свете купеческого свечного огарка Ньюшкины глаза блестели, как ёлочные шарики.

– Нет, тот царь давно жил, у него свой колдун при дворе имелся, почище Гришки. Все науки знал, снадобья варил, на железном коне вместо ероплана по небу летал, летом пруды замораживал. Сухареву башню у царя выпросил, чтобы оттуда звёзды считать и судьбы по ним предсказывать. Смерти сильно боялся, всё эликсир вечной жизни изготовить хотел. Книги редкие скупал, чтобы рецепт найти...

– Нашёл?

– Говорят, нашёл. Только все по-разному рассказывают. Одни говорят, что он всё-таки помер, не помог эликсир. Другие – что эликсир-то был хороший, да слуга, которому колдун велел тело своё после смерти обрызгать, по глупости склянку разлил.

– Ой-ё-ёй!

– Ага... А есть и такие, что верят: не помер колдун, до сих пор по Сухаревке бродит.

– Думаешь, человек этот, что мы давеча встретили, он и есть?!

– Трудно сказать. Про человека этого никто ничего толком не знает – ни имени его, ни откуда взялся, ни где живёт... Видят его только ночами, а днём – никогда. Видала трубу, что он с собою носит? Подозрная. Как раз такая, чтобы на звёзды смотреть. Слухи ходят, он иногда предсказывает, что в жизни случится. Только это очень редко бывает – он мало с кем говорит. И вообще на людях почти не показывается. Кто-то верит, что он тот самый колдун-звездочёт, а другие смеются, за сумасшедшего считают. Спят, говорят, старорежимный барин от новых порядков.

Мальчишка закончил кромсать тупым ножом хлеб и ливерную колбасу, разделил скудную трапезу на две равные части.

– Налетай, Анютка.

– Граждане-товарищи, господа хорошие! Подходите, не спешите, постоите, послушайте! За алтын денег любую песню для вас или вашей барышни! Чего попросите – то и споём!

– Ааааалтын? – протянул насмешливо подвыпивший мастерской. – Побойся бога, комиссар! Таким артистам и копейки хватит!

– Пробовали, дядя, – не получается. Память с годами ослабла, за копейку не работает. Один куплет вспомню, а дальше – никак.

– Языкатый, – хмыкнул мужик. – Ну, чёрт с вами, босота, давайте хоть один куплет. Ту, что про ямщика.

– Ямщик, не гони лошадей, – чистым, печальным голосом вывела Ньюшка, – мне некуда больше спешить...

Чуть хрипло, задушевно-грустно подхватил её пение вторым голосом Коська, заплёл в мелодию интонацию горькой жалобы:

– Мне некого больше любить...

– Ох, чертяки, что делают... что делают, что вытворяют... – потрясённый мастерской покрутил головой, сунул руку в карман, швырнул в лежащий на мостовой картуз ещё пару монет. – Пойте до конца!

День угасал. Палаточники уже сворачивали свои навесы, толпа на площади заметно поредела, но Коська считал, что уходит ещё рано. Трюк с пением на заказ он придумал пару недель назад, убедившись, что Ньюшка, кроме удивительного голоса, обладает ещё и прекрасной памятью. Она могла в секунду припомнить любую мало-мальски известную песню и, к вящему удовольствию публики, исполнить её так мастерски, словно разучивала по меньшей мере месяц.

В Москву окончателю пришло жаркое среднерусское лето. Сухой, пахнувший лошаадьми и бензином воздух был горяч и неподвижен. На чёрных бульварниках Сухаревки белыми волнистыми островками лежал тополиный пух. Гасла между домами светлая закатная полоска, зажигались в окнах огоньки, наливалось сумеречной синевой небо.

– А мне споёте? – спросил за спиной низкий, чуть надтреснутый голос.

Беспризорники быстро обернулись, и Ньюшка громко ойкнула. Сухаревский звездочёт стоял в двух

шагах, разглядывая уличных певцов всё тем же, так поразившим когда-то девочку тяжёлым взглядом чёрных пронзительных глаз.

Коська опомнился первым.

– Споём, конечно. Чего послушать желаете? – деловито спросил он.

Загадочный человек, по-прежнему глядя только на Ньюшку, произнёс медленно, словно беседуя с самим собой:

– Жизнь, если она не кончается вовремя, становится тяжким бременем. Душа должна уходить в полёт тогда, когда ей назначено, а не томиться бесконечно в несовершенной телесной оболочке... Я слишком поздно понял это. Можешь ли ты, дитя, спеть такую песню, что позволит моей душе хоть на несколько мгновений сбросить груз вечного земного бытия и воспарить к звёздам?

Ньюшка кивнула. Необычный заказчик вскинул брови, взглянул на неё с любопытством.

– Ты поняла, чего я хочу? Ну, пой тогда, что же ты медлишь!

Девочка чуть кашлянула, прочищая горло, откинула назад голову, наморщила лоб, вспоминая слышанные давным-давно с патефонной пластинки непонятные слова, и, наконец, запела:

– А-аве, Мари-и-ия...

Коська никогда раньше не слышал этой песни. Ему показалось, что всё окружающее – и дома, и прохожие, и лавочки с продавцами, и трамвай – исчезли, оказались в другом мире, а здесь была только эта удивительная, завораживающая мелодия. Она плыла над вечерней площадью, поднималась всё выше, заставляла забыть обо всём на свете, увлекая за собою в бездонное ночное небо.

– Са-а-а-анкта Мари-ия, Ма-тер Де-си...

Детский голос, наполненный мольбой и надеждой, обращался к чему-то высшему, могущественному, и казалось, душа человеческая, воплотившись в его нежные звуки, вызывает к нависшему над головами равнодушному звёздоглазому мирозданию.

Когда последняя нота гениальной пубертовской молитвы растяла в воздухе, несколько мгновений никто ничего не говорил. Коська растроганно шмыгал носом. Ньюшка, видимо, сама не ожидавшая от себя такого исполнения, растерянно смотрела на звездочёта, а тот молчал, и по его непроницаемому лицу невозможно было угадать, понравилась песня или нет.

– Ну, так что, дядечка? – не выдержала, наконец, юная певица. – Исполнила я ваше желание? Если да, гоните алтын!

Выражение глаз человека-призрака изменилось. Что-то мелькнуло в их непроницаемой черноте – то ли брезгливость, то ли жалость.

– Будет тебе алтын, – сказал он и зашарил в складках своей хламиды в поисках монеты.

Коську вдруг осенило.

– Не надо алтына! – закричал он. – Желание за желание! Мы ваше исполнили, а вы нам наворожите! Люди говорят, вы судьбу изменить можете.

Звездочёт внимательно посмотрел на мальчика.

– Изменить судьбу нельзя, – сказал он очень серьёзно. – А вот желание исполнить можно. Только не всегда они сбываются так, как нам этого хочется. Я когда-то пожелал... – он осёкся, замолчал, опять начал рыться в необъятной накидке. – Вот, возьмите этот медальон. – В свете фонаря тускло заблестел овальный металлический кулон, качающийся на тонкой цепочке. – Он способен дать своему владельцу то, чего тот хочет. Нужно просто написать просьбу на бумажке и вложить внутрь. Но запомните: желание у каждого из вас только одно! Второе загадывать бесполезно – не сбудется. Поэтому не спешите, подумайте, что для вас действительно важно.

Он опустил безделушку на Коськину ладонь. Мальчик и девочка с любопытством разглядывали работу неведомого ювелира. На игрившей золотыми отсветами крышке медальона красовалось изображение большого жука с поджатыми лапками. Жук был сделан так искусно, что казался живым. Зелёные, тщательно огранённые камушки глаз слабо искрились. Коська, напуганный очевидной дороговизной неожиданного подарка, собрался было что-то спросить. Однако когда он поднял глаза, звездочёта на площади уже не было.

– Говорил же, надо было в Нескучный сад идти, – сердито ворчал Коська. – Там гулянье сегодня, а здесь что?

– А здесь тоже... – неуверенно пыталась спорить Ньюшка.

– То же, да не то! На гулянье кавалеры перед девками выделываются, песни заказывают, а здесь сегодня одни кухарки с корзинками!

– Ну, так кто же знал, что одни кухарки придут, – резонно возразила девочка. – Не сердись, сиятельство, день на день не приходится. А хочешь, сейчас в Нескучный пойдём?

– Не знаю... Поздно уже. Темнеть скоро начнёт.

Минуло около двух месяцев с тех пор, как загадочный человек в хламиде подарил беспризорникам медальон. Подарок носил Коська – Нюшка наотрез отказалась загадывать желание первой. «Ты про судьбу спросить догадался, значит, по справедливости, сначала ты должен получить то, что хочешь, – помолчала и добавила. – И желание твоё в сто раз важнее моего». Мальчик сначала спорил, потом вдруг улыбнулся и, оставив пререкания, повесил медальон на шею.

В прилежавших к Сухаревке переулках лежали косые предвечерние тени. Мягкий свет уходящего солнца золотил витрины и крыши домов, бросал на мостовую тёплые янтарные блики.

– Нюшк, – вдруг сказал Коська, – а спой ещё раз песню... ну, ту самую...

Девочка хотела было возразить, что переулок почти пуст, стоит ли стараться для считанных редких прохожих, но посмотрела на приятеля и поняла, что «сиятельство» просит песню для себя. С ним последнее время всё чаще случались припадки беспричинной грусти. Нюшка для себя объясняла это тем, что время идёт, а желание всё не сбывается.

– Аве Мария? – уточнила она на всякий случай. Коська кивнул, сунул руки в карманы и приготовился слушать.

Однако в этот раз Нюшке не дали допеть до конца. Очень немолодой господин в парусиновом костюме, почти дошедший до выхода из переулка, после первой же музыкальной фразы замер, потом развернулся и, тяжело опираясь на трость, заспешил к певунье. Спутница его, молодая женщина в красной косынке, укоризненно покачав головой, направилась следом.

– Деточка, где ты этому научилась? – потрясённо спросил пожилой господин, останавливаясь перед Нюшкой.

– Патефон слушала, – охотно объяснила та, довольная произведённым впечатлением.

– Невероятно... На слух с пластинки? Просто не верится!

– Больно надо мне, господин хороший, вам врать, – обиделась Нюшка. – Да я любую песню с одного раза могу запомнить и так вам её спою, что и патефонные ваши так не умеют!

– Охотно верю, деточка, охотно верю... – пробормотал старик, протирая старомодные очки в круглой металлической оправе. – А скажи, пожалуйста, тебе никогда не хотелось петь со сцены?

Нюшка чуть оторопело уставилась на собеседника.

– Это как артистки, что ли?

– Именно. Хотелось бы тебе самой стать артисткой?

– Скажете! Ясное дело! Только кто ж меня возьмёт...

– Дело в том, что мы вот как раз и берём...

– Пётр Михайлович! – предостерегающе перебила комсомолка в косынке. – Берём, но не таких же! Вы на неё только посмотрите – антиобщественный деклассированный элемент!

Пётр Михайлович тяжело вздохнул, снова нацепил на нос очки, посмотрел поверх них на спутницу.

– Как вы любите, Мусенька, ярлыки на живых людей навешивать, – тихо и как-то безнадежно сказал он. – И слова какие находите – «элемент»... Это не элемент, а ребёнок. Очень грязный, не спорю. Даже, если угодно, деклассированный. Но невероятно, удивительно талантливый. Такие самородки встречаются один на миллион. Из этой девочки может вырасти великая певица, а оставшись на улице, в кого она, в конце концов, превратится? Да и подумайте о школе – раз уж решили открыть отделение вокала, у нас должны быть самые лучшие, самые одарённые вокалисты!

Муся скептически посмотрела сначала на старика, потом на «великую певицу», но спорить не стала.

– Как тебя зовут? – сухо, по-деловому, спросила она у девочки.

– Нюшка, – растерянно ответила та, чувствуя, что происходит что-то не совсем понятное, но очень важное.

– Анна, значит, – Муся кивнула, словно ожидала именно такого ответа. – А фамилию свою знаешь?

– Четверикова.

– Молодец. Значит так, Четверикова. Если хочешь быть зачисленной в музыкальное училище, до первого сентября чтоб явилась ко мне, я оформлю тебя и на учёбу, и на проживание. Поняла?

– Это на Собачьей площадке которое? – неожиданно вмешался Коська. – То, где при старом режиме барышень учили на фортепианах играть?

– Именно, – подтвердил Пётр Михайлович. – Только теперь там, кроме фортепиано, ещё и пению учат.

– А паёк ей выпишут?

– До чего же практичное поколение, – вздохнул старик. – Не сомневайтесь, молодой человек. Непременно выпишут паёк.

– Соглашайся, Нюшка, – одобрил Коська. – Раз с пайком, значит, солидная школа, не жульё какое-нибудь.

– Я без тебя не пойду! – замотала головой девочка. – Возьмите его, пожалуйста, он тоже поёт хорошо!

Пётр Михайлович растерянно посмотрел на Мусю. Та сделала энергичный отметающий жест.



– Профессор, ну вы же сами должны понимать, нам не дадут его оформить. У девчонки и правда данные есть, а пацана-то куда? На инструментальный по возрасту уже поздно, на вокал – вот-вот голос ломаться начнёт.

– Так что же теперь? – беспомощно спросил профессор. – Оставить его голодать на улице?

– Пусть идёт в детприёмник для обычных бродяжек, безголосых, – отрезала комсомолка. – А у нас не богадельня. Дать тебе адрес моей ячейки, мальчик? Там скажут, куда пойти.

– Не надо, – угрюмо ответил Коська. – Знаем мы ваши приёмники. Слышали. Перебьюсь.

– Ну, как хочешь, – пожалла крепкими плечами Муся. – А ты, Четверикова, не забудь – до первого сентября. Идёмте, Пётр Михайлович, вас и так уже заждались.

Как только старик и девушка скрылись за углом, Нюшка набросилась на товарища:

– Ты чего не упротил их, почему не спел? Они бы послушали тебя да и взяли! А теперь что делать будем? Я одна не пойду!

– Как это так – «не пойду»? Ты, Нюшка, даже не думай отказываться. Желание же пропадёт!

Девочка уставилась на Коську.

– Ты что, своё желание на мою мечту истратил?!

Мальчик улыбнулся, вытянул из-под многослойной рванины золотого жука, открыл. Внутри оказался сложенный газетный обрывок с выведенными химическим карандашом буквами: «Пусть Нюшка станет актрисой».

– Что ж ты, дурной, наделал... тебе же самому надо было... – укоризненно шептала Нюшка.

Коська отмахнулся, снял с шеи драгоценный талисман, протянул девочке.

– Меня мама и так заберёт, – уверенно сказал он. – Без желаний. А тогда, сама подумай, зачем мне эта школа? Ты – другое дело. Сирота, без родителей, позаботиться некому. Иди, не сомневайся. И медальон при себе держи – мало ли что. Звездочёт-то, видишь, не соврал – есть в нём сила.

На фронте одного из обступивших Сухаревку зданий трепетал под порывами резкого осеннего ветра кумачовый плакат «Да здравствует 6-я годовщина Великой пролетарской революции!»

Высокий парнишка с лотком свернул в переулок – там тоже были натянуты транспаранты, развевались прикрепленные к стенам красные флаги. Со стороны Лубянки неслась бодрая духовая музыка. Лужи морщились мелкой рябью, мокрые жёлтые листья липли к подошвам.

– Жердай! – окликнул за спиной звонкий голос.

Лоточник обернулся. Худенькая, коротко стриженная девочка стояла в пяти шагах от него, заслоняя лицо от ветра поднятым воротником казённого чёрного пальто.

– Какой я вам Жердай, барышня, – недовольно буркнул парнишка. – Чего надо?

Девочка шагнула ближе, обдала взглядом знакомых синих глаз, улыбнулась прежней радостной улыбкой.

– Не узнал? Это же я, Нюшка!

– Малая... – Жердай отступил слегка, оглядел бывшую оборвашку. – Ишь, какая стала! Где же тебя теперь признать – новая одежда, умытая рожа... Чего так давно не приходила?

– Так не пускают же нас одних-то! – виновато объяснила Нюшка. – Сегодня повезло: на демонстрацию повели, я в толпе и сбегала.

– А не попадёт?

– Конечно, попадёт, – беспечно ответила Нюшка. – Да и пусть. Соскучилась я по Сухаревке – сил нет! Два месяца здесь не была... Как живёшь-можешь, что новенького?

– Живём помаленьку, – пожал плечами Жердай. – Пора мне, малая, бросать эту коммерцию. Два раза уже фининспектор подходил, интересовался, сколько мне лет, да что, да как. Получу пачпорт, враз налогом обложат.

– И куда ж ты пойдёшь?

– Мало ли... А ты всё поёшь?

– Пою.

Помолчали.

– А Коська-то где? – спросила, опять улыгнувшись, Нюшка. – Обещал приходить проведывать, а сам так ни разу и не навестил.

– Так ты что, не знаешь ничего? – подросток отвёл глаза. – Помер Коська-то. Месяц назад. Простыл сильно, горячка началась. Три дня один на чердаке без еды, без воды провалялся. Пока я хватился его, пока нашёл – он уже совсем плохой был... В больнице и помер. Врачи сказали, поздно я его принёс. На день бы раньше – может, и спасли бы...

Нюшка смотрела на Жердая блестящими от слёз глазами.



– Как же так... – еле слышно сказала она. – А я-то думала, раз не приходит, значит, и правда, мать-графиня в Париж забрала.

Жердьяй взглянул непонимающе.

– Ты о чём, малая? Чья мать графиня? В какой Париж?

– Ну, ясное дело, Коськина. Она же графского рода.

– С чего ты взяла? Прачка она у него была, это тебе в Марьиной Роще любой скажет. По людям ходила, бельё стирала. Да и от другой подённой работы не отказывалась. Мы соседями раньше были, я её хорошо помню.

– А что с ней стало?

– Коськин отец по пьянке насмерть забил. Тогда Костян в бега и ударился. А ты говоришь, графского рода...

Девочка потрясённо молчала. Потом, вспомнив что-то, мотнула недоверчиво головой:

– Подожди, если он не из благородных, почему же воровать отказывался?

– Кто же теперь скажет, – по-взрослому вздохнул Жердьяй. – Ну, будь здорова, малая, не хворай. Учись в своей школе. Будешь петь в Большом – приду к тебе за контрамарочкой.

Нюшка проводила уходящего знакомого взглядом, отступила к стене. Вытянула за цепочку медальон, выудила из-под выпуклой крышки клочок бумаги, разжала худые, покрасневшие от холода пальцы...

К полуночи тучи над Москвой разошлись, сильно похолодало. Загулявшие граждане, несмотря на позднее время, продолжали праздновать годовщину революции – на улицах визгливо пели под гармошку, из освещённых окон слышались звуки патефонной музыки, пьяные застольные голоса. Рыночная площадь почти опустела, только на трамвайной остановке ребята из ФЗУ смеялись и перешучивались с иззябшей продавщицей пирожков. В Сретенском тупике ветер раскачивал фонари, шуршал подмёрзшими листьями, гонял, крутя и подбрасывая, мятый обрывок тетрадного листа с расплывшимися от уличной сырости каракулями: «Пусть Коська скорее встретится с мамой». Чёрный прямоугольник Сухаревской башни казался зловещим провалом в звёздном небе, входом в притаившуюся за мерцающим сводом бездну, исподволь пожирающую беззаботно гуляющих по улицам жареных цыплят.

«ЛИТМУЗЕЙ»

ВИТАЛИЙ ВУЛЬФ

К 220-летию А.С. Пушкина

СУДЬБА НАТАЛЬИ НИКОЛАЕВНЫ ГОНЧАРОВОЙ-ПУШКИНОЙ

Наверное, я сам себе не могу объяснить, почему меня волнует судьба Натальи Николаевны Пушкиной. Её ненавидела Ахматова, любимый мой поэт, ненавидела лютой ненавистью, как злейшего своего врага. О ней с гениальной едкостью писала Цветаева: *«Сон или смертный грех – Быть как шёлк, как пух, как мех, И не слыша стиха литого, Процветать себе без морщин на лбу. Если грустно – кусать зубу, И потом, в гробу, Вспоминать – Ланского»* (I, 325).

К ней очень много людей относилось дурно. И след негативного отношения, острый, резкий, сопровождал её всю жизнь. Несколько лет тому назад на меня произвёл очень большое впечатление маленький сюжет, который произошёл во Франции.

Я приехал в Буживаль, в Тургеневский музей. Он находится в очень плачевном состоянии, мэрия хочет его продавать. Во Франции он никому не нужен. Купить его хочет один Никита Михалков. А человек, который всю жизнь отдал этому музею, именно Михалкову не хочет его продавать. Идут нескончаемые переговоры. Это – милый, уже достаточно старый человек, эмигрант, всю жизнь проживший во Франции (его туда привезли маленьким мальчиком 10-ти лет), показывал музей, который закрыт. И вдруг говорит: «Вы читали письма к Тургеневу, написанные графиней Меренберг? Они были у меня в руках».

Графиня Меренберг – дочь А.С. Пушкина – Наталья Александровна. Она боготворила Тургенева. Наталья Александровна жила за границей, она к тому времени уже была женой принца Нассау. Это была ослепительная женщина, совершенно невероятной красоты. Похожая на отца, единственная из четверых детей. У неё как бы отцовское лицо, но шея, стан – Гончаровские, и страсть в лице. Она писала Тургеневу о том, что обожает «Дворянское гнездо», что «Дым» – её любимый роман, что любит литературу, потому что её папенька тоже занимался литературой, и у неё это, наверное, в крови – любить литературу. И так она ему писала до того момента, пока Тургенев её не спросил: а кто ваш папенька?

Фамилия папеньки была – Пушкин. Тургенев в тот же день уехал в Ниццу. Она жила в Ницце. Её имение сохранилось по сей день, оно находится в Каннах. Из Ниццы он уехал в Канны и встретился с ней. Она сказала, что у неё есть письма папеньки к маменьке и письма маменьки к папеньке и она с удовольствием их ему отдаст. Но, естественно, не бесплатно. Наталья Александровна ничего не делала бесплатно. Она дала ему эти письма за 5000 рублей золотом.

Тургенев заплатил, написал Стасюлевичу письмо, что у него в руках ценность, что он прочёл письма, что это ошеломило его, потому что это – прежде всего даёт возможность иначе взглянуть на Наталью Николаевну. И Стасюлевич поместил в первой книге журнала «Вестник Европы» за 1878 год письма Пушкина к Наталье Николаевне, объяснив, что в следующем, во втором, номере будут опубликованы письма Натальи Николаевны к Александру Сергеевичу.

Но начался невероятный скандал. Два брата Натальи Александровны были возмущены – и Александр Александрович и Григорий Александрович. Они были сказочной внешности оба, особенно Александр Александрович, – люди редкой мужской красоты, очень похожие на Наталью Николаевну и совсем не похожи на Пушкина. Как и старшая пушкинская дочь, Мария Александровна Гартунг. Это все знают, это хрестоматийно, что встретившись с ней, Лев Толстой с неё писал внешний облик Анны Карениной в романе «Анна Каренина».

Надо сказать, что она менее болезненно отнеслась к публикации писем. Мария Александровна была уже к тому времени вдова, одна из самых несчастливых женщин и самая несчастливая из пушкинских детей. Она умерла в 1919 году почти в нищете. Сидела на скамье около пушкинского памятника. Луначарский добился, чтобы ей дали пенсию, но пенсию она не успела получить. Она всю жизнь прожила в России в отличие от Натальи Александровны, которая приезжала в Россию только на открытие памятника своему отцу.

Все четверо детей очень любили мать. И с матерью у них были свои отношения всегда. И когда письма Пушкина были опубликованы Стасюлевичем, то оба брата готовы были его убить. Потому что это был верх неприличия в конце прошлого века – публиковать частную переписку. Сегодня любое письмо, найденное вдовой, немедленно публикуется. За 100 лет все изменилось. В конце XIX века это считалось невозможным. И братья забрали письма Натальи Николаевны и привезли их в Россию, отдали в Румянцевский музей – судьба их неизвестна. Они исчезли из Румянцевского музея в годы революции.

Наталья Александровна, с которой я начал свой рассказ, графиня Меренберг была, на мой взгляд, уникальная женщина. Ей было 16 лет, когда она вышла замуж за сына злейшего пушкинского врага – Дубельта. Наталья Николаевна не могла этого пережить – она не была на венчании, но отговорить дочь было невозможно. Дубельт, как известно, человек III отделения, который описывал письма Пушкина, перлюстрировал их, вскрыл частную переписку, когда мёртвый Пушкин лежал в кабинете, в 1837 году. С его именем для Натальи Николаевны было связано всё очень тёмное, мрачное. Она трагически отнеслась к этому тогда. Она всё помнила, но изменить ничего не могла.

Наталья Александровна венчалась в 1853 году, ей ещё не было 17 лет (она родилась в 1836 г.). Последняя дочь Пушкина. И она стала Дубельт. Родила троих детей, у неё был сын и две девочки. Муж был красив, ревновал её со страшной силой. Она давала ему все основания для ревности. Она оставила двух детей маленьке, младшую же дочь Анну согласилась воспитывать тётка Дубельта Базилевская, и уехала за границу без развода. Когда она уезжала, мать передала ей письма отца к ней и свои письма к Пушкину. Она её умоляет распорядиться ими только в том случае, если будет в этом какая-нибудь нужда. И с этими письмами Наталья Александровна покинула Россию.

Она приехала в Германию – здесь из-за неё начались дуэли. У неё было бесчисленное количество приключений. За ней ходил по пятам принц Нассау, племянник английской королевы Викторини. Он несколько лет добивался её, и в 1868 году в присутствии королевы Викторини в Лондоне (уже после смерти Натальи) состоялось венчание Натальи Александровны и принца Нассау, и она получает титул графини Меренберг. Отец её мужа передал ей в дар поместье в Баден-Бадене. Она приехала в Баден-Баден, но ей не нравилась Германия и она переехала на юг Франции. И в Каннах она и жила, до самой смерти в 1913 году. Она всегда вспоминала мать. Мать всегда вспоминала и Мария Александровна.

По-моему, ни в одной судьбе нет такого количества загадок, как в судьбе Натальи Николаевны. О ней написано немало книг. Я вот прочёл недавно книжку писательницы Агнии Кузнецовой «Мадонна» – сентиментальное писание, которое мало что даёт. В этой книжке мало фактов. А между тем в судьбе Натальи Николаевны есть реальные обстоятельства. Их раскопали два человека, чьими материалами пользуются, не ссылаясь на них.

Ирина Ободовская и Михаил Дементьев – два преподавателя, которые вышли на пенсию, пришли к директору Пушкинского музея Александру Зиновьевичу Крейну, в Москве. И сказали ему о том, что «мы очень любим Пушкина с детства. Мы хотели что-нибудь сделать». Он сказал: «А что можно делать, вы знаете, у нас много сотрудников, я ничем не могу вам помочь. Единственное, что я могу вам посоветовать: идите в архив, там лежит огромное количество документов Полотняного завода. Их никто не разбирал. А вдруг вы там что-нибудь найдёте». И они ходили туда как на работу. И каждый день смотрели счета на овёс, на лошадей, на повозки. И однажды среди них обнаружили письмо со знакомым почерком. Это было письмо Пушкина. Подлинник, адресованный брату Натальи Николаевны. Именно они написали две книги: «Вокруг Пушкина» (М., 1975) и «После смерти Пушкина» (М., 1980). Эти две книги полны фактического материала, потому что в архиве было очень много писем Натальи Николаевны, написанных её рукой, – они были адресованы братьям и сестре.

Я читал её переписку с Ланским, вторым мужем Натальи. Это то, что ей не могли простить в свете, никогда и никто. Она осталась вдовой, когда ей было 24 года. И у неё было 4 детей.

В 1927 году Академия наук издала том писем Пушкина к Елизавете Михайловне Хитрово. Это очень интересное издание, прежде всего своими комментариями. Элиза Хитрово, дочь фельдмаршала Кутузова, мать двух ослепительных женщин XIX века, блистательных графини Екатерины Тизенгаузен и графини Долли Фикельмон. Муж Долли Фикельмон был посланник Австрии в России, и Элиза жила с незамужней дочерью – Екатериной.

Маленький шаг в сторону. Элиза Хитрово была некрасивой женщиной. Над ней подсмеивались в Петербурге, потому что она носила платье с оголёнными плечами. Убедить её в том, что это неэлегантно, было невозможно. Она была очень добрый человек; вышла замуж в 19 лет за красавца графа Фердинанда



Тизенгаузена. И у неё родились двое детей – две дочери. Кутузов её обожал. У Кутузова было пять девочек, только одна ездила за ним повсюду. Она была и во время войны 1812 года с ним, она была с ним в 1805 году при Аустерлице. И при Аустерлице Тизенгаузен погиб. Образ Тизенгаузена и вся сцена гибели его при Аустерлице – послужили материалом Льву Николаевичу Толстому при написании «Войны и мира». Прообраз князя Андрея – граф Фердинанд Тизенгаузен. И она осталась одна с двумя девочками. Она горько плакала, плакала довольно долго, лет шесть, потом вышла замуж за тщедушного, не очень красивого, не очень умного человека Николая Хитрово. Его не любил Кутузов, в основном за то, что он не принимал участие в войне 1812 года. Это считалось неприличным – не принимать участие в войне. Это сегодня чувство патриотизма исчезло на корню – всё сделано для того, чтобы его не было. Сегодня можно прочесть интервью знаменитых актрис о том, что они не хотят играть для русской публики, только для иностранной. Тогда это было невозможно.

Элиза прожила с Хитрово недолго. Ему выхлопотали место посланника во Флоренции, и она уехала с ним во Флоренцию. Там он и умер в 1819 году, погребён в русской церкви в Ливорно, оставив жену в прежалком положении, с долгами и без копейки. У неё была масса друзей. Все друзья были послы и короли, посланники и королевы. И самый большой её друг – принц Вильгельм. У её младшей дочери, красавицы, умницы Долли Фикельмон, с Пушкиным был роман. Муж был старше её на 27 лет, австрийский генерал, граф Карл Людвиг Фикельмон. Она с ним прожила всю жизнь. И Элиза жила до 1830 года со старшей дочерью, которая всегда обитала в Зимнем дворце. Это была сама близкая подруга императрицы России, императрицы Александры Федоровны, жены Николая.

В томе, который был издан в 1927 году, есть интереснейший комментарий к письмам Пушкина к Элизе Хитрово.

Когда Пушкин умер, Элиза тотчас приехала и стала на колени в кабинете около гроба и стояла на коленях, её никто не мог поднять. Она рыдала, потому что это была её самая страстная любовь. Она любила Пушкина безответной любовью. Он ей писал довольно иногда резко, хотя делился с ней всем сокровенным, потому что она была для него как бы нитью, связывающей его с Европой. Через неё он получал французские газеты, сведения о том, что происходит на Западе. Существует запись, как весь Петербург приезжает в дом Пушкина посмотреть на Натали. Она была в беспамятстве. У неё так сгибался стан, что её лоб касался пола. Её били конвульсии, она была в невменяемом состоянии. А дочь Екатерины Андреевны Карамзиной, злая Софи, именно в это время отмечает в своих письмах, что ей чёрное было к лицу. И все ездили на неё смотреть; потом её увели во внутренние комнаты. А увести могла только её сестра. Одна из загадок, неразгаданных тайн – она всегда абсолютно подчинялась Александре Николаевне во всём, всегда.

Ободовская и Дементьев обнаружили переписку сестёр, или точнее, письма Натали к Александрине. Их очень интересно читать. Особенно, когда это касается третьей сестры – Екатерины Николаевны, той самой Катрин, которая вышла замуж за Дантеса. Дело в том, что Катрин умерла в октябре 1843 года в Сульце. И сегодня её могила сохранена рядом с могилой Дантеса. И Дантес написал письмо Александрине. Он сообщил ей о смерти сестры и написал письмо брату Наталии Николаевны Сергею о смерти жены. И Александрине пишет брату: «Нашей бедной Кати нет больше на свете, помолимся за нее...»¹.

Очень интересно письмо Натали брату Дмитрию. Оно довольно большое, но один абзац безусловно интересен. «Смерть нашей бедной сестры должна была её [маменьку] ужасно опечалить. Сердце у меня сжимается при мысли о состоянии, в котором она должна находиться»². И больше ничего. Она не переписывалась с сестрой, не посылая ей никаких приветов и более чем холодно встретила сообщение о её смерти. Там есть очень много загадочного. С Пушкиным Наталья Николаевна прожила 6 лет, беременна была 6 раз, родила 4 детей: 2 мальчика и 2 девочки.

Вся история с Дантесом хорошо известна и полна тайн. Сегодня во Франции опубликован архив Геккерна, но загадок осталось много.

Дантес был очень красив. К нему нежнейшим образом относилась императрица. После дуэли она резко изменила отношение к Дантесу. Резко.

Екатерина Николаевна посетила дом, где она жила вместе с Пушкиным. Один-единственный раз после его гибели. Когда она приехала попроситься с сестрой. Это уже было после дуэли, перед тем, как должны были освободить Дантеса и они должны были уехать за границу. Это свидание было очень коротким, в присутствии братьев, сестры Александрины и тетушки Екатерины Ивановны. Наталья Николаевна была бесслёзна. 16 февраля 1837 года Натали покинула Петербург с детьми в сопровождении братьев, Александрины и тетушки. Вся обстановка квартиры и библиотека Пушкина были сданы на двухлетнее хранение на склад друзьями поэта уже после отъезда семьи. И опять промашка, которую не могут простить – уже почти двести лет. Она приехала в Москву ночью, там не остановилась и не сообщила об этом отцу Пушкина. И проехала к себе в имение. Два года она пробыла в деревне. Пушкинские слова, известные каждому школьнику: «Ступай в деревню, носи по мне траур два года и потом выходи замуж, но за человека порядочного»³. Она уехала из Полотняного завода в ноябре 1838 года. Замуж вышла спустя 7 лет, в 1844 году.

Когда она вернулась с Полотняного завода, она поселилась с сестрой в очень небольшой квартире на Аптекарском острове. Там постоянно бывал друг Пушкина Пётр Александрович Плетнёв. Она была ещё более красива, чем прежде.

В Петербурге пушкинского времени и после его смерти никто не спорил о её красоте. Но жить ей было трудно. Денег было мало. Лето 1841 и 1842 годов она провела в Михайловском. К сожалению, мало кому известен факт, что памятник-надгробие Пушкину на его могиле в Святогорском монастыре, который стоит сегодня, поставила Наталья Николаевна. В течение лета она много раз бывала с детьми на могиле мужа. У неё были очень сложные отношения с опекуном. Дело в том, что Николай I после смерти поэта оплатил все долги Александра Сергеевича. Выкупил имение, приказал девочек зачислить во фрейлины, а мальчиков – в Пажеский корпус, издать пушкинские произведения за счёт двора. И выдать Наталье Николаевне 10 тысяч серебром. Это он сделал сразу после дуэли. Но всё равно было очень трудно. Она жила в Михайловском, тоскуя, мало общаясь с Осиповыми, имение которых находилось рядом. Они не любили её. Её все обвиняли. Вернувшись в Петербург в 1841 году, почти два года жила безвыездно в этой квартире. С ней всегда была Александрина.

А в 1843 году она поехала покупать ёлочные игрушки к елке, на Рождество, в знаменитый аглицкий магазин и встретила императора Николая I, который тоже приехал без сопровождающих лиц покупать ёлочные игрушки своим детям. И там они встретились.

У Булгакова есть фраза в пьесе «Последние дни», когда Николай ей говорит: «“Я давеча проезжал мимо ваших окон и жалюзи у вас всегда закрыты”». – «“Я не люблю дневного света. Зимний сумрак успокаивает меня”». Государь действительно часто проезжал мимо её дома. Но всегда жалюзи были закрыты. И он пригласил её на бал. И здесь совершена та ошибка, которую не могут простить ей до сих пор. Надев чёрное домино, она приехала на этот бал, о котором в пушкиноведении есть огромное количество самых противоречивых сведений. Это был её первый выезд после смерти Пушкина, спустя шесть лет. «Этой зимой императорская фамилия оказала мне честь и часто вспоминала обо мне, поэтому я стала больше выезжать... Императрица даже оказала мне честь и попросила у меня портрет для своего альбома. Сейчас художник Гау, присланный для этой цели Её величеством, пишет мой портрет»⁴. (Это – из письма Натальи Николаевны брату.)

Генерал Ланской, очень красивый человек, ему было тогда 44 года, никогда не был женат. Были слухи, что у него был любовный роман. Долгий и давний. Героиней его романа называли Идалию Полетика. И он женился на Наталье Николаевне в 1844 году. Свадьба была скромная, она состоялась 16 июля 1844 года в Стрельне, где стоял полк Ланского. Александрина оставалась жить у сестры. Николай I пожелал быть посажённым отцом, но Наталья Николаевна уклонилась от этой чести. До него сватались три человека. Она всегда выясняла прежде всего отношение к детям, каково будет отношение к детям. Никого из них она не любила. Переписка с Ланским сохранилась; частично она публиковалась, но большинство писем известно только тем, кто интересовался ими. В печати их не было. Очень много писем, одно из них задевает очень сильно.

Однажды на одном из обедов рядом с ней оказалась Елизавета Ксавьеревна Воронцова. Натали было слишком хорошо известно увлечение Пушкина Воронцовой. Воронцова не могла придти в себя от изумления, увидев Натали. Из письма к Ланскому: «“Я никогда не узнала бы вас, – сказала она, – потому что, даю вам слово, вы тогда не были и на четверть так прекрасны, как теперь, я бы затруднилась дать вам сейчас более 25 лет. Тогда вы мне показались такой худенькой, такой бледной, маленькой, с тех пор вы удивительно выросли.” ...Несколько раз она брала меня за руку в знак своего расположения и смотрела на меня с таким интересом, что тронула мне сердце своей доброжелательностью. Я выразила ей своё сожаление, что она так скоро уезжает, и я не смогу представить ей Машу»⁵ (старшую дочь поэта).

1849 год. Наталья Николаевна уже очень стара, ей 37 лет. И в другом письме: «Я больше не в таком возрасте, чтобы голова у меня кружилась от успеха. Можно подумать, что я понапрасну прожила 37 лет. Этот возраст даёт женщине жизненный опыт, и я могу дать настоящую цену словам. Суета сует, всё только суета, кроме любви к Богу и, добавляю, любви к своему мужу, когда он так любит, как это делает мой муж. Я тобою довольна, ты – мною, что же нам искать на стороне, *от добра добра не ищут*»⁶ (письмо к Ланскому 10 сентября 1849 года). Она была очень религиозна. В день смерти поэта соблюдала пост, и было известно, что начиная с 1837 года до конца своих дней Наталья Николаевна никогда не выходила из своих комнат *в дни гибели* Пушкина, никогда. А так она старалась быть всегда с мужем и своими детьми.

От Ланского она имела 3 девочек. У неё было 7 детей. Эти девочки были очень заурядны. Только одна из них известна под именем Араповой, которая написала воспоминания о матери «Н.Н. Пушкина-Ланская». Все построены на естественном желании защиты Натали, они, хотя там очень много неточностей, тем не менее, очень любопытны.

В 1850 году Ланского перевели в Вятку. Он был назначен командующим дивизионом (или как-то иначе, он находился в Вятке...). Наталье Николаевне было 38 лет (она была 1812 года рождения). Она очень болела. Климат ей не подходил. При ней был вятский доктор Спасский. Он каждый день общался

с Натали. Она лежала, у неё были слабые лёгкие, она болела. Когда была здорова, посещала губернатора. И очень нежно относилась к одному молодому человеку, чем раздражала Ланского. Он был ссыльный. Но Ланской, тем не менее, когда его брат стал министром нового государя Александра II, написал ему письмо с просьбой помочь этому молодому человеку. Государь вернул его в столицу. Этот молодой человек сегодня известен всему миру – великий русский писатель Салтыков-Щедрин. Он тогда не был сатириком, ещё было далеко до его великих произведений. Тогда он писал только стихи, но до конца его дней в доме висел портрет ослепительной красавицы Натали Николаевны Пушкиной.

Кстати говоря, в письмах к Ланскому, в них нигде нет фамилии Пушкин, ни разу. Она понимала ревностное отношение генерала, который оказался замечательным отчимом для её детей. Они очень хорошо к нему относились, и он воспитывал их и тратил на них душевные силы и время.

Александрина ненавидела Ланского. Ланской это терпел. Он был уравновешен и спокоен и вёл себя сдержанно ради жены. Натянутые отношения с Александринной не привели к разрыву. Она была умна, ядовита. Когда ей было 41 год, она вышла замуж за барона Фризенгофа. И от этого брака у неё была дочь, которую она назвала в честь сестры – Наталья. Наталья Густавовна Фризенгоф, впоследствии герцогиня Ольденбургская. Так растекаются связи этой пушкинской семьи с королевскими домами. Я уже не говорю о том, что дочь Натали Александровны и принца Нассау – Софи, графиня де Торби, похожая на свою бабушку, очень рано выходит замуж за великого князя Михаила Михайловича Романова, внука Николая I. Романовы и Пушкины породнились, это произошло.

Благодаря Софье Николаевне мы имеем сегодня письма Натали к Пушкину периода, когда она его невеста. Софья Николаевна любила только балет. У неё были две дочери, которые впоследствии стали жёнами английских герцогов, отсюда ветвь, связанная с английским королевским домом. И у Софьи Николаевны была привязанность – Дягилев. Она очень любила Дягилевский балет, не пропускала в Монте-Карло ни одного спектакля и увлекалась молодым танцовщиком, сказочно сложенным, – Сержем Лифарем. Десять писем Пушкина после смерти графини де Торби её муж, великий князь Михаил Михайлович, продал Дягилеву. У графини де Торби была и коллекция пушкинских вещей. Когда она умерла, то великий князь Михаил Михайлович, никому не нужный, остался на юге Франции, денег у него было мало, он всё время приходил к Лифарю (Дягилева уже не было в живых), и Лифарь за копейки скупил у него всё, что было ему важно.

Когда в 1937 году состоялась знаменитая пушкинская выставка в Париже – она наполовину состояла из вещей Лифаря. Это были подлинники – печатки, портсигары, полотенца, войлочные туфли. Всё было подлинное, всё принадлежало Александру Сергеевичу. Лифарь всё хотел отдать в Россию уже в 1960-х годах. Но при одном условии: чтобы ему дали возможность поставить балет в Большом театре. Но Суслов отказал. Он так ничего и не поставил. Вся его коллекция ушла на аукционы. Лифарь в последние годы жизни был женат на шведской графине Лиллан Алефельдт. Говорят, она после его смерти всё продала, а Лифарь хотел свою библиотеку – у него была коллекция прижизненных пушкинских изданий – подарить России.

Сулову писали два человека на эту тему: Фурцева и балетмейстер Григорович. Но Суслов отвечал, что Лифарь – предатель. Всё это так ушло.

Любопытно, что редчайшие пушкинские издания собирала дочь Дантеса, которая в совершенстве владела русским языком. Она кончила жизнь в сумасшедшем доме – дочь Екатерины Николаевны Гончаровой и Дантеса.

О Дантесе есть такая забавная история (всегда вспоминаю рассказ Ангелины Осиповны Степановой). Она репетировала пьесу М. Булгакова «Пушкин. Последние дни», играла Натали. Шла война. И они репетировали. Массальский репетировал Дантеса, а она – Натали. Как известно, в пьесе Пушкина нет. И Немирович-Данченко, которому было 85 лет (за 2 недели до его кончины), был очень недоволен Массальским. Однажды на репетиции он сказал: «Вы всё делаете неверно. Я ведь встречался с Дантесом на бульваре в Париже». И они все перестали репетировать. Они не могли реально представить, что перед ними человек, который видел Дантеса. А Немирович рассказал очень подробно, как он молодым человеком приехал в Париж, сидел в кафе на Итальянском бульваре, как появился необыкновенной красоты старик, которому спутники Немировича-Данченко не ответили на поклон. И Немирович спросил: «Почему вы не ответили?». Они сказали: «Ведь это Дантес, с ним неприлично здороваться». Это было в начале 80-х годов прошлого века...

Александрина встречалась с Дантесом. Существуют разные версии, почему в её доме, в замке Бродяны висел портрет Дантеса. Она умерла в 1891 году, есть легенда, что при ней обнаружили шкатулку, которую она никому не показывала. После её смерти открыли шкатулку, и там был тот самый знаменитый пушкинский перстень, который он ей передал, прощаясь с Александринной перед смертью. Александрина была образованным человеком, но с тяжелейшим характером, в отличие от Натали. Судя по всему, у Натали Николаевны характер был очень мягкий. Она была очень молчалива.

Натали заболела в 1859 году. Прожила она 51 год. Похоронена, как известно, в Петербурге – Наталья Николаевна Ланская. Не оставив никаких воспоминаний. Тогда это было не принято. В начале 1950-х годов Наталья Николаевна прислала на дом первому биографу Пушкина, П.В. Анненкову, два сундука с бумагами поэта. Это было время, когда она пришла к мысли вновь издать сочинения Пушкина – после 1837 года они не переиздавались. В 1855-1857 годах П.В. Анненков выпустил второе собрание сочинений Пушкина.

В тех письмах, которые были найдены в ЦГАД (Центральный Государственный архив древних актов), меня лично больше всего задел еѐ письма к брату. Она пишет брату только о деньгах. Ничего общего с образом божественной красавицы. Вот еѐ письмо брату Дмитрию от 28 апреля 1836 года. До гибели поэта остаѐтся меньше года. «...Теперь я поговорю с тобой о делах моего мужа. Так как он стал сейчас журналистом, ему нужна бумага, и вот как он тебе предлагает рассчитываться ним, если только это тебя не затруднит. Не можеш ли ты поставяать ему бумаги на сумму 4500 в год, это равно содержанию, которое ты даѐшь каждой из моих сестѐр; а за бумагу, что он возьмѐт сверх этой суммы, он тебе уплатит в конце года. Он просит тебя также, если ты согласишься на такие условия (в том случае, однако, если это тебя не стеснит, так как он был бы крайне огорчен причинить тебе лишнее затруднение), вычесть за этот год сумму, которую он задолжал тебе за мою шаль»⁷. И вот из другого письма, июль 1836 года: «...Я считаю даже своим долгом помочь моему мужу в том затруднительном положении, в котором он находится... Мой муж дал мне столько доказательств своей деликатности и бескорыстия, что будет совершенно справедливо, если я со своей стороны постараюсь облегчить его положение»⁸.

Вообще образ, который создали Вересаев, Щѐголев, – образ легкомысленной красавицы. «*Счастье или грусть – Ничего не зная наизусть*», как писала Марина Цветаева. «*В пышной тальме катать бобровой, Сердце Пушкина теревить в руках, И прослыть в веках – Длиннобровой, Ни к кому не суровой – Гончаровой*» (I, 325). Это, конечно, гениальные строчки, но жизнь была грубей. Наталья Николаевна была в сущности очень несчастливym человеком, несмотря на всю свою сказочную красоту. Конечно, и Щѐголев и Вересаев – знаменитые знатоки, но они писали, не владея теми материалами, которые сегодня известны. Сегодня известна переписка с Александриной, письма к брату, переписка Александрины с Екатериной Николаевной.

Екатерина Николаевна жила в заброшенном Богом Сульце. У неѐ тоже было 4 детей: 3 дочери и сын. Она понимала, что Натали никогда ей не простит не столько дуэли, сколько того, что Екатерина знала о дуэли и не сообщила Натали. То, что она не сообщила об этом Натали, – ранило Наталью Николаевну. Это она простить не могла. Когда маменька в имении отмечала день памяти Екатерины Николаевны, то Натальи Николаевны никогда не было в имении. Она отстранялась от этого.

Тогда была другая эпоха, не давали интервью, не рассказывали о своей личной жизни. Вокруг была тайна. И тайна сохранилась, потому что Наталья Николаевна действительно была увлечена Дантесом. Она танцевала с ним на балах – это факт. Действительно имело место свидание в доме Идалии Полетика – тоже факт. И никто не знает, что было на этом свидании – оно было кратким. Она чувствовала свою вину, откуда еѐ моления, – хотя всегда была очень религиозна. Но эти январские моления, которые длились до конца еѐ дней, поражали окружение. Она действительно не замечала своей красоты, была умна, это видно по еѐ письмам, по тому, как она организывает быт при Пушкине и после него. Самый лучший портрет Натальи Николаевны – это письма Пушкина к ней. Из них ясно, как он еѐ любил, как ей доверял. Она была ещѐ девочкой. Вдова в 24 года с четырьмя детьми, семилетнее затворничество до второго брака с Ланским – всё это мало описано.

Точные сведения можно встретить в письме пушкинского друга Плетнёва. Плетнёв пишет: «Не обвиняйте Пушкину. Право, она святее и долее питает меланхолическое чувство, нежели бы сделали это многие другие»⁹. В другом письме: «Вечер... просидел у Пушкиной жены и еѐ сестры. Они живут на Аптекарском, но совершенно монашески... В еѐ образе мыслей и особенно в еѐ жизни есть что-то трогательно возвышенное. Она не интересничает, но покоряется судьбе»¹⁰.

Естественно, до конца дней она несла тень случившейся трагедии. Странные были отношения Дантеса и Геккерна при живых родителях. И то, что впоследствии Геккерна не упоминается в письмах Екатерины Николаевны. И то, что были тяжѐлые взаимоотношения с дочерьми, особенно с той, которая в 16 лет в память о матери изучила русский язык и любила «Евгения Онегина», читая его наизусть, чем раздражала Дантеса. Дантес занимался политической карьерой, стал сенатором.

Непонятно, почему из трёх братьев Гончаровых Иван Николаевич до конца своих дней переписывался с Дантесом, ездил к нему, встречался с ним. Вопросы, на которые трудно ответить.

Наталья Николаевна жила скромно, в семье, находясь в тени. Умирала она при детях, на руках сына, которого любила больше всех детей, – Александра. Александр Александрович – была еѐ любовь. И все дети знали, что из семи детей она больше всего любит Александра. Она и умерла у него на руках, тихо, в присутствии врачей, Ланского, Григория Александровича, Марии Александровны. Не было только Натальи Александровны – она была за границей, ей даже не могли сразу сообщить о смерти маменьки, потому что она была то ли в Испании, то ли во Франции.



Что осталось нам? Портреты, могила, письма. Нет её писем к Пушкину.

Судьба её всё равно волнует людей. И волнует не только сказочная красота и некоронованный титул первой красавицы России. А то, что она была связана с Пушкиным, который её любил. Это очевидно. Достаточно прочесть маленькую записку его к Хитрово. Он её оберегал от высшего света и писал Елизавете Михайловне: «Покровительницы, которых Вы так любезно обещаете, слишком уж блестящи для моей бедной Натали. Я всегда у их ног, так же как и у Ваших». 18 мая 1830 года¹¹. Он вообще не хотел приближения Натали Николаевны к свету. И, наверное, этого и не было бы, если бы они не переселились в Царское. После женитьбы Пушкин написал Плетнёву: «Я женат – и счастлив; одно желание моё, чтоб ничего в жизни моей не изменилось – лучшего не дождусь»¹².

Достаточно короткая по нынешним меркам жизнь одной из самых загадочных женщин, загадку которой с наслаждением разгадывают и будут разгадывать после нас.

Примечания:

¹ Ободовская И., Дементьев М. После смерти Пушкина: Известные письма. М., 1980. С. 331.

² Там же.

³ Скрынников Р.Г. Дуэль Пушкина. СПб., 1999. С. 289.

⁴ Ободовская И., Дементьев М. Указ. соч. С.125.

⁵ Там же. С. 164.

⁶ Там же. С. 133.

⁷ Ободовская И., Дементьев М. Вокруг Пушкина: Известные письма Н.Н. Пушкиной и её сестёр Е.Н. и А.Н. Гончаровых. М., 1975. С. 17-174.

⁸ Там же. С. 175-176.

⁹ Ободовская И., Дементьев М. После смерти Пушкина. С. 78.

¹⁰ Там же.

¹¹ Письма Пушкина к Елизавете Михайловне Хитрово. 1827-1832. А., 1927. С. 54.

¹² Пушкин А.С. Полн. собр. соч. В 10 т. Т. 10. Письма. М., 1966. С. 340.

«ФОНОГРАФ»

ЕЛЕНА КАСЬЯН

ПИСЬМА К ТЭЙМИ

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Что ты знаешь, Тэйми, о других, не таких, как мы,
У которых ни трещины нет в середине кормы,
У которых тела упруги, рубашки заправленные в штаны,
И всегда заточены сабли, и курки всегда взведены,
И ни капли чувства вины.

Как друг друга они целуют, Тэйми, и зубы у них блестят,
Они делают даже не то, что могут, а только то, что хотят,
Как идёт им любой цвет и всякий наряд,
Как их матери гладят им брюки,
а они изнывают от скуки и вечно на чём-то торчат,
как отцы их молчат.

Знаешь, Тэйми, как их женщины жарки и как легки,
как похожи они на тех, о которых ты пишешь стихи,
Но внутри у них что-то такое, что лучше тебе не знать,
и наутро у них на лбу проступают грехи,
и они накладывают мэйк-ап,
каждый раз, как только покинут кровать.

Касьян Елена Валерьевна (21.11.1970 – 14.07.2019). Поэт, прозаик, автор-исполнитель песен, бард. Родилась и выросла во Львове. С 1997 по 2012 гг. руководила Львовским клубом авторской песни «Послушайте». Записала четыре альбома авторских песен: «Это просто весна» (1997), «Город-море» (2006), «До востребования» (2010), «Вслух» (2012). Автор четырёх изданных во Львове поэтических сборников «До востребования» (2010), «Отправлено тчк» (2013), «Fragile» (2016) и «Седьмой почтовый» (2019), детских книг «Фея по фамилии Дура» (2010, Москва) и «Самое важное желание» (2013, Санкт-Петербург), сказки для взрослых «Легенда про одно» (2016, Львов), серии рассказов для антологий ФРАМ. Поэзия опубликована в журналах «Октябрь» (Москва), «Аврора» (Санкт-Петербург), «Ковчег» (Ростов-на-Дону), «Першацвет» (Минск), в альманахах «Конец эпохи», «Белый ворон», «Дерибасовская-Ришельевская», «Русское слово», «45-я параллель», «Два века о любви», «Пять» и т.д. Короткая проза издавалась в сборниках «Уже навсегда», «Заповедник сказок», «Страшные истории о зеркалах», «Один мужчина, одна женщина», в сетевых и периодических изданиях. По рассказам Елены Касьян снято несколько игровых и анимационных фильмов. Член Южнорусского Союза Писателей (2019). После шести лет борьбы с онкологическим заболеванием ушла из жизни 14 июля 2019 года в Харькове. Похоронена во Львове, на Сыховском кладбище.

Если бы, Тэйми, они были такие же точно, как я и ты,
Их бы каждая тварь узнавала за три версты,
И за ними бы волочилась до самых ворот,
И заглядывала бы им в глаза и смотрела в рот,
Потому что легко отхватить от чужих щедрот,
Когда мясо с изнанки, и прямо вот...

Но к чему эти тонкости, если они вокруг
беззаботно спят, не разнимая рук,
Голоса их хмельны, и податлива плоть у подруг,
И пускай они реагируют уже не на смысл, а на звук,
но у них не бывает никакого «вдруг»...

И ты думаешь, Тэйми, что мы их переживём,
Потому что мы верим, и знаем, куда идём,
Потому что любовь мы из каждой строки наскребём...

Но ты знаешь, Тэйми, несправедливость вся в том,
Что они изнутри сияют точно таким же огнём,
Как и мы, когда любят друг друга...
И мы никогда не поймём,
Как у них получилось не выпасть из круга.

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Кто мы, Тэйми, скажи, как нам себя назвать –
Каждый раз, как в последний, ложащиеся в кровать?
Не научены ничему, кроме петь, писать и страдать,
И разматывать сердце, как пластырь,
Чтобы вечно кого-то латать.

Мы не лекари и не пекари... мы даже не рыбаки.
Но порой нас вскрывает так, что свет пробивает кишки.
Тяжелы наши мысли, слёзы легки.
Отчего же нам плачется, Тэйми, какая у нас беда?
Просто стыдно признаться, как взрослым нам хочется иногда,
Чтобы мама и папа любили нас маленьких, там и тогда...
Ладно, не думай об этом... так, ерунда.

Ты замечаешь, Тэйми, как ночью взмывают над городом наши дома,
И летят всё выше и выше? И можно сойти с ума,
Понимая, что утром с нами случится не небо, не космос, а та же тюрьма,
И мы сходим с ума, но привычно выходим опять из своих квартир,
И идём покупать хлеб и кефир.

Из своих персональных пустынь шлём друг другу скудные звонки,
Из двухкомнатных поднебесий, из чумы, из пурги, из цинги –
Мы всё тянем незримые нити, словно пальцы одной руки,
Но по-прежнему так далеки...

Всё, за что нас полюбят, Тэйми, не сейчас, а когда-то потом,
Мы уместим в одной тетради всё целиком.
Если нам повезёт, наша музыка останется под потолком
колдовать, вынимая душу.
Посмотри, я ведь тоже трушу.
Но это же вовсе не повод молчать о чём-то таком...

Кто мы, Тэйми, скажи, если дарим то смерть, то любовь, то грусть,
Я смотрю на нас, слушаю, трогаю, и не разберусь.
Всё окажется просто однажды – я взлечу и на звонкие нити порвусь,
И рассыплюсь по небу, как ты.
Ну и пусть, моя радость... и пусть, пусть...



ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Слушай, слушай, это же глупо – вот так надраться, чтоб всё посметь.
С вечера в сердце мерцает золото, утром в башке звенит только медь.
Если вечно с изнанки поет, а с лицевой ещё можно терпеть –
Это не жизнь, Тэйми, это такая смерть.

Просто однажды от нас уезжают, уходят, и с кем-то живут далеко
самые наши любимые –
падают в прошлое, как в молоко.
И больше оттуда ни звука, ни строчки, ни слова – вообще, ничего!
Ты живёшь потом, а в тебе дыра – величиной с тебя самого.
Иногда ты в неё смотришь и думаешь: ого!..

Слушай, Тэйми, ведь мы потому так легко проживаем друг друга насквозь,
Что ныряем потом в эти дыры, и думаем: ладно, опять не срослось.
Не срослось, понимаешь...
А в сущности, что там срастётся, что?
Если мы изнутри простреляны в три обоймы, как решето.

Небеса нависают над нами, как анестезиологи, как врачи,
Хочешь – плачь или пой, или смейся,
хочешь – стиснув зубы, молчи.
Нас сопьют патефонными иглами, в нас проденут такие лучи,
Что за этой тонкой материей мир подмены не различит.

Ампутация прошлого, Тэйми, ампутация и – культя...
Знаешь, что самое странное?... Что нас и таких хотят.
Золотые, бесценные люди к нам приходят, стучатся, звонят.
К нам бредут, как по минному полю, тянут руки сквозь наши печали
к нам – холодным, пустынным, выжженным...

Ну давай мы с тобой выживем!
Нас почти уже залатали.

ПИСЬМО ЧЕТВЁРТОЕ

В это узкое горло, Тэйми, из этих тонких ладоней вливался свет,
Как потом получилось, что всё вдруг сошло на нет?
Пела подруга о дудочке из тростника – я плакала и умирала.
Эта песенка без конца и начала –
вынула всю душу, выдула тонким телом, и душа упала.
Я кушила такую же дудочку – девочку, тростниковую палочку.
Я целую её, как родную, лелею и пестую.
Тишина по дому ходит вразвалочку, обживает квартиру, чужая, не местная.
Да и мы с дудочкой, Тэйми, та ещё парочка...

Нам давно не завозят музыки, только память о ней – в пальцах и на губах.
Кто-то вновь напивается, чтобы поплакать и выкричать весь свой страх.
А такие, как ты, Тэйми, маршируют с лентами в волосах,
со своим пластилиновым войском,
заливают трещины воском на своей невесомой лодке,
и плывут по реке, посередке, по кайме голубой,
по густому небесному соку,
и они обязательно к сроку
причальят домой.

Здесь внизу всё не так –
мою спальню штормит, и качает пустую кровать,
У меня не хватает музыки, посмотри, мне нечем тебя обнять.
Если слово пребудет во мне, то пусть это будет лишь звук.
Потому что нам больше не нужно, Тэйми, ни глаз, ни коленей, ни рук.
О, смертельнейшая из мук!..

Мы готовы к ответу, мы так обустроили быт,
что нам незачем быть здесь. Нам здесь больше незачем быть.
И трёхмерной любовью никак это не оправдать.
Если не на чем плять, я к чертям разломаю на доски кровать,
Я возьму эту дудочку, девочку, тросточку – и пережму ей рот!
В мои лёгкие хлынет музыка, всю меня вглубь протечёт.
И одной этой дудочки мне бы хватило сполна...
Но если ты её хочешь, Тэйми, то на!

ПИСЬМО ПЯТОЕ

Ну и всё, говорю я, и всё...
Мы стоим, как два истукана,
Время накрывает нас с головой, выплёскивает за край экрана,
И это так удивительно, Тэйми, это так странно.

Случилось всё то, чего мы боялись – и ладно, и слава Богу.
Кто же знал, что Вечность нельзя откусывать так помногу,
Это чревато побочными эффектами –
С Вечностью нельзя, как с шоколадными конфетами.
И когда мы думали, что станем поэтами,
Нас просто начиняли словами, как нугой и патокой,
И каждый думал: «Господи, это же я такой!» –
И взмахивал рукой.
А сам был даже не тестом, Тэйми, а только мукой...

А получится, знаешь, как? Вот смотри:
Сперва один из нас выйдет на улицу, и у него внутри
Оборвётся что-то – не знаю,
тромб, струна, чека... или что там внутри бывает?
А мимо будут ехать красивые, вымытые трамваи
С рекламой какого-нибудь сока, например, или чая,
И один из нас будет лежать в снегу, холодея взглядом,
Ни рекламы, ни трамваев этих не замечая.
И тогда второй из нас выйдет, и ляжет рядом...

Что же ты плачешь, Тэйми?
Ну, хочешь, не будем об этом.
Просто купим себе глобус – совершенно новенькую планету,
Сядем в ракету и взлетим со скоростью света.
Никаких приборов, никаких билетов.

Ну, потому что – всё уже, говорю, всё.
Я больше не могу.
Посмотри в окно, кто это там лежит в снегу?
Кого это там впечатало в хлябь, холодом выгнуло в дугу?
Если это не я, Тэйми, то это ты –
И, значит, я побегу!..
Но мы стоим, как два истукана,
Время накрывает нас с головой, выплёскивает за край экрана,
И это так удивительно, Тэйми, это так странно.

ПИСЬМО ШЕСТОЕ

Мы всегда об одном с тобой, даже если о разном.
 Я, как школьница, Тэйми, путаюсь в падежах,
 А тоска пережмёт мне горло, как каподастром,
 я стою, смотрю с пятнадцатого этажа –
 Там звезда
 и полумесяц на красном,
 Словно небо опять над Босфором кровит.
 Я спрошу: «Как мне быть, моя светлая, мой прекрасный?..»
 А никто мне не говорит.

А никто и не скажет (мы это не раз проходили),
 потому что всё важное, Тэйми, на внутренней стороне.
 Я пишу тебе это с небес
 (не поверишь, меня пропустили!) –
 Десять тысяч над уровнем моря... забудь обо мне...
 Забывай обо мне понемногу, как все позабыли.

Сто минут меня нет на земле – это просто отмерить,
 в это трудно шагнуть, как с пристёгнутой банджей с моста.
 На каком языке
 там всё время смеются за дверью?
 На каком языке
 мне всё врут, что отгадка проста?
 Я им больше не верю.

Моё сердце исколото каждой мечетью насквозь.
 Так вживляют волокна каких-то особенных тканей,
 так пыгаются жить,
 обновляя истлевшую кость.
 Если ты что-то знаешь об этом, скажи мне, скажи!
 Это знание, Тэйми, со мною срастётся и канет.
 Лишь звезда с полумесяцем в небе дрожит и дрожит...

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ

Здравствуй, Тэйми, ну вот я почти преступила черту.
 Посмотри – мы взлетели, вползли, изоцрились, прорвались.
 На наших предплечьях бесследно зарубцевались
 следы от «манту».
 С наших жизней снимали соскоб (не поручусь за анализ),
 но диагноз не подтвердился –
 не катать свои страхи во рту...
 Я черту преступила.
 И кто мы теперь, заступив, наконец, за черту?

Над сбежавшими нами качались остатки небес,
 как круги на воде, расходились пернатые тучи.
 Мы теряли свои очертанья, мы были легки и текучи,
 и за нами никто не следил.
 Стеариновый лес
 оплывал под горячей ладонью и вмиг застывал
 отпечатками пальцев (иного у нас не осталось).
 Видишь, Тэйми, до счастья обычно какая-то малость.
 Мы его проскочили
 и вышли с другой стороны.
 Впрочем, как ожидалось...

Нам хотелось объятий – у нас отобрали тела.
Нам хотелось признаний – у нас языки отобрали.
Нам дешевле уже не хотеть...
Время мерно течёт по спирали,
и теперь так понятно, что жизнь беспощадней, чем смерть.
Не смотри на меня – всё равно больше нечем смотреть.
Мы вернёмся едва ли...

Где недавно нам снились пески аравийских пустынь,
спят в обнимку другие «не мы»,
их заносит песками.
Но проснувшись, они всё равно устремятся за нами,
потому что мы с ними одно... потому что мы, Тэйми, их жизнь...
И они, преступая черту,
говорят: «Продержись, продержись!» –
нашими голосами.

ПИСЬМО ВОСЬМОЕ

Как прижимала нас, Тэйми, к осенней земле
эта страшная сила,
как наша вечность кровила и каждой строкой выходила...
Все улыбались, мол, вот, для чего это было!
И каждый считал своим долгом высказывать мнение.
А мы, переростки,
стояли фанерной мишенью,
и смерть протекала сквозь нас.

Разве кто-нибудь знал, как пульсирует время под кожей,
как идёшь подышать на балкон, а вернуться не можешь.
Разве кто-нибудь спас?
Я затем это всё говорю, что бывает октябрь.
Здесь прозрачнее воздух, и сверху нас видно прекрасно.
Мы лежим, как огромные рыбы, глухи и напрасны,
и любовь вытекает из жабр...

Нам ли, Тэйми, не знать, как однажды кончается год,
как проснёшься в измятой постели, а жизнь отступила.
Как кончается воздух, а время идёт и идёт,
как у всех ещё август, а нас уже снегом накрыло...

Говори со мной, Тэйми, пока ещё помнишь язык.
Всё, что грело внутри, скоро зимнее солнце остудит.
Если будет прилив (а прилив обязательно будет),
кто-нибудь непременно спасётся –
я спрячу свой страх.
Даже надпись у кромки воды, даже та навсегда остаётся.
Что уже говорить об иных письменах...

ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ

Чтобы вернуться в Рим, Париж или Марсель
(это, в целом, неважно),
тело укладывается в постель
и говорит душе: «Иди, свободна!»
И можно вернуться, Тэйми, куда угодно,
и можно уйти практически отовсюду.
Но душа говорит: «Не хочу, не буду,
я ещё немного с тобой побуду», –
и остаётся.



Погоди, моё сердце, не рвись, не надо –
 будем красить крестики за оградой,
 будем думать:
 мы с этими или с теми?..
 Ведь с живыми опять никакого сладу,
 вот такая засада, Тэйми.

А когда из тряпичных кукол повынут иглы,
 всё, конечно, закончится – быстро, скучно и пошло.
 Нас оставят на новый срок,
 нас по горло накормят прошлым,
 нас опять не полюбят, не выберут, не отметят,
 мы опять к кому-то прильёмся
 (не важно – к тем или к этим),
 будем самыми жалкими и непонятыми на свете...
 Но спасёмся.

Знаешь, как это, Тэйми,
 выходить каждый раз из подъезда, как будто из комы,
 прислоняться спиной к шершавой обложке дома,
 а с небес – ни манны тебе, ни грома,
 ни стихов, ни нот, ни простых незатейливых игр,
 ни кивка, ни намёка, ни даже взгляда.
 Просто кто-то молча шьёт тебя в десять холодных игл,
 и стоишь, как дурак,
 как живой,
 как надо.

ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ

Если б время лечило, куда нам такое здоровье?
 Здравствуй, свет мой,
 и сколько сердец у тебя отросло?
 Как теперь оказалось: одно из важнейших условий –
 чтоб тебя не любили кому-то назло.
 Самое сложное, Тэйми, признание в нелюбови...

Стопки писем в моей голове не нашли адресата,
 но я помню их все наизусть, до последней строки.
 Мы безудержно смертны
 и, значит, уже виноваты.
 Если надо платить, с нас по полной возьмут за стихи
 (даже есть подозрение, Тэйми, что предоплатой).

Там, где все говорят преимущественно о личном,
 не понять, кто живой,
 а кто лишь притворился живым.
 Половина из них даже сдохнуть готовы публично,
 ибо больше гарантий, что кто-то заплачет по ним –
 по смешным, по обычным, по лишним...

Тэйми, прошлого нет.
 Моим письмам, отсюда летящим,
 никуда не дойти,
 и времён больше нет никаких.
 И однажды ты просыпаешься в происходящем,
 прямо здесь, посреди этих прямоходящих,
 среди этих живущих с тобою, живых-неживых.

Кто мы, Тэйми, теперь,
побывавшие трижды у грани,
разглядевшие всех, кто безмолвно стоит за плечом?
Мастера недосказанных чувств, мастера состояний...
Потому мы молчим ни о чём, говорим ни о чём,
и сокрытое под сургучом
глубже таинств прелюбодеяний.

ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ

Глянь-ка, Тэйми, над нами вспороли небо –
видны просветы.
Мы так быстро бежали, что добежали до лета.
Глупо думать, что именно так посвящают в поэты –
это просто меняют начинку в мирской требухе.
Мне так долго хотелось с тобой говорить не об этом,
а я снова и снова,
как бездарь, о чепухе.

За окном темнота, на часах половина второго,
тут чихнёшь – и не скажет никто «будь здорова».
Это, Тэйми, свобода,
точнее, побочный эффект.
Иногда не проснулся ещё, а уже понимаешь – хреново.
До чего мы с тобою дожились за столько-то лет,
для кого бережём это самое важное слово?..

Я таскаю любовь, как бумажную розу в петлице,
и она прорастает,
хотя не должна бы расти.
К нашим окнам давно не слетаются чёрные птицы,
нам в толпе не мерещатся больше дражайшие лица,
но я знаю,
сжимая бумажное сердце в горсти, –
целой жизни не хватит на то, чтоб проститься.

Слышишь, Тэйми, на стыках стучат и стучат магистрали,
это мы уезжаем домой,
мы бесследно пропали
для себя, для других, для всего, что насочиняли.
Даже если и будут ещё остановки в пути,
наше время, как рельсы, обрезали и закольцевали.
Я боюсь, что уже не сумею сойти.

ПИСЬМО ДВЕНАДЦАТОЕ

Если память – почтовый ящик, то в нём не хватает места.
Уплотняешь себя, сдвигаешь, уминаешь, как тесто.
Здесь ещё выйдет куличик,
а вот тут уже неинтересно,
и за бортик песочницы, Тэйми, много не унесёшь.
Время шло аккуратно, а после в нём что-то сломалось.
До последней любви остаётся какая-то малость.
Всё, что нас не убило,
наверное, плохо старалось.
Но мне хочется верить, что нас просто так не возьмёшь.

Если долго глядеть в пустоту, то с ней ничего не случится.
 Всё, что мы заслужили, у нас проступает на лицах.
 Если б нам довелось родиться
 в больших столицах,
 нас бы так раскидало, что шанса ни одного.
 Только, видит Бог, мы с тобою напались и были,
 среди лиц и теней, среди слов и вселенской пыли,
 даже если сто раз
 друг друга не заслужили,
 даже если бездомней нет теперь никого.

По рубцам на изнанке никто не считает потери.
 Но мы знаем, как вовремя скрыться за дверью без двери.
 У меня скоро выйдет пластинка,
 ты можешь в это поверить?
 Я, по правде сказать, и сама в это верю едва.

Я пишу тебе, Тэйми, туда, где нам больше не больно.
 Жизнь права неизбежно. И смерть неизбежно права...
 Мне, пожалуй, досталась не самая лучшая роль, но
 я люблю тебя так, что живу.
 И об этом довольно.
 Потому что – какие тут, к чёрту, слова...

ПИСЬМО ТРИНАДЦАТОЕ

Осталась самая малость, а там уже новый виток...
 Из арки выходит нищий – степенный осенний бог,
 глядит на нас, словно царь, не помня, что сир и убог.
 Никто нас уже не утешит – нельзя налюбоваться впрок.
 Ноябрь, Тэйми, ноябрь.
 Я знаю его назубок.

Тоска по новому снегу, касанье холодных рук...
 Начертим вокруг кровати спасательный белый круг.
 Теперь только бег по кругу, давай!
 А очнёшься вдруг –
 зима...
 Где искать друг друга, в какую глядеть дыру?
 Нас тоже слегка подкрасят, а после совсем сотрут...

Я знаю ноябрь на ощупь, на вкус и даже на слух.
 Он строг, он с собой уводит всегда одного из двух.
 Мне кажется, всё умирает,
 когда он во мне звучит.
 Для всех эпиграфий, Тэйми, не хватит могильных плит.
 Но если ты хочешь, я буду тем, кто в тебя глядит.

Из арки выходит нищий – полцарства собрал по рублю.
 Ноябрь распускает свитер и вяжет ему петлю.
 Кто знает, как крепко спится бездомному королю,
 как память ворует лица, где я до утра не сплю,
 как мы сиротеем, Тэйми,
 от каждого «не люблю».

Ты сам себе друг и недруг, и сам себе рай и ад.
 Во что бы мы ни играли,
 нас выследят и разлучат.
 Нас вынут из этой жизни и вылепят, что захотят.
 Но я обещаю, Тэйми,
 когда я вернусь назад,



оттуда, издалека, названья чему не знаю,
из страшного запределья, которого не бывает,
откуда уже не ждут и встречи почти не чают...
Я буду с тобой, обещаю.

ПИСЬМО ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Время, Тэйми, ещё не кончается, время всё водит нас за нос.
По утрам выпадаем немые из сна – в этот холод и хаос.
Наверху экономят слова,
потому нас лепили из пауз.
Всё, что хочешь сказать, начерти у меня на груди.
Если некуда жить – это просто тебе показалось.
Тьма у нас позади не длиннее, чем ночь впереди.

От себя не укроешься – будешь везде обнаружен.
Город молча глядит, и растерян, и обезоружен,
как мы греем друг друга,
собой закрывая от стужи,
как мы слушаем, дышит ли тот, кто от страха не спит.
Ничего не проявится, если мы смотрим снаружи.
Погляди в меня, Тэйми, там зреет иной алфавит.

Смерть всегда обнимает на поражение, это известно.
С каждым разом в песочнице нашей всё менее тесно.
Посмотри, как оставшихся
месяц в упругое тесто,
но до выпечки, Тэйми, похоже, расти и расти.
Может, Бог потому и затеял всё это из интереса,
чтобы легче отслеживать тех, кто черствеет в пути.

Одному не плавётся, другому пока не летится...
Время водит нас за нос, но всё ещё длится и длится.
Что даровано рыбе,
возможно, изъято у птицы.
Мне неведомо, Тэйми, как действует этот закон.
Может, птице однажды зачтётся, а рыбе простится.
Может, каждый, о ком мы помолимся, будет спасён.

ПИСЬМО ПЯТНАДЦАТОЕ

Если кто и смотрел на меня через это окно,
через дырку в стене,
через брешь над моей головою,
это, Тэйми, не ты, потому что тебе всё равно
не утешить меня – ни оплакать, ни даже присвоить...
Потому что кому
ты потом передашь этот ад,
этот страшный цветок, от которого нежно и больно,
от которого как отвести и ладони, и взгляд,
от которого как отмахнуться и бросить: «довольно»?

Вот идёт человек, по колено в своей тишине, –
вот невидимый посох его и невидимый компас, –
по висячим мостам, по заоблачно-белой стерне,
приближаясь к стене, разделяющей небо и космос.



Можно, Тэйми, стоять, холодея у этой стены,
прижимаясь лопатками
к этим картонным изломам,
сочиня слова, что пока не произнесены,
превращая любую обложку в подобие дома.
Там висит календарь,
у которого каждый в плену,
там висит циферблат, у которого каждый тем паче...
Редкой рыбе случалось прощупать свою глубину,
надо пробовать, Тэйми, туда не проникнуть иначе.

В чешуе по ключицы, по горло в небесной воде,
не держась за тяжёлые корни и нежную поросль,
где другие немые цветы прорастают везде,
мы всплывём и обнимемся порознь,
обнимемся порознь...

«КНИЖНАЯ ПОЛКА» АЛЕКСАНДРА КАРПЕНКО

КЛИПОВОЕ СОЗНАНИЕ АЛЕКСАНДРА ТИМОФЕЕВСКОГО

(Александр Тимофеевский, *Избранное*. – М., Воймега, 2018)

Александру Павловичу Тимофеевскому, автору «Песенки Крокодила Гены», выпала уникальная поэтическая судьба: семь десятилетий творчества. Новая книга «Избранного» только подчёркивает это немаловажное обстоятельство. Талант Александра Тимофеевского светит ровно и щедро. Только сейчас мы в полном объёме начинаем осознавать, какого масштаба его поэтическое дарование. На склоне лет такое признание человеку даже важнее: в молодости недостаток внимания публики компенсируется самой молодостью. Я присутствовал на презентации книги «Избранного». Поэту из зала задали вопрос, удалось ли ему в «Избранном» собрать самые важные, самые удачные свои стихи. И вот что ответил автор. «Конечно, нет. Какие-то очень важные стихи я даже не нашёл в рукописях. А какие-то стихи обратили на себя больше внимания, нежели они того заслуживали». Неожиданный, искренний ответ! Действительно, по большому счёту, разве могут одни дети быть на порядок лучше других? Разве должен родитель сам выбирать? Александр Павлович, на мой взгляд, автор «безразмерного» избранного. Его стихи можно компоновать по-разному, и всякий раз это будет хороший сборник.

Книга «Избранного» поделена у Тимофеевского не только на десятилетия творчества. Отдельной главой идут «Восьмистишия». Они словно бы вынуты из контекста времени. Отдельно идут поэмы, из которых больше других мне нравятся «Море» и «Письма в Париж о сущности любви». Широко представлены переводы. А ещё в книге есть своя изюминка: каждая глава предваряется авторским четверостишием. Т. – поэт совестливый. В советское время совесть порой мешала автору молчать о том, о чём нельзя было говорить. Поэт говорит, например, о том, как ему было стыдно за свою родину, которая прошла танками по Праге. Тимофеевский – человек с богатой биографией, которая, однако, словно бы спрятана внутри стихотворений. У него была масса трагических моментов в жизни. В детстве он пережил блокаду Ленинграда. Позднее, выпускник ВГИКа, он утверждал свою профессиональную состоятельность киносценариста в далёком Таджикистане. У Александра Тимофеевского, как и у Фёдора Тютчева, у Афанасия Фета, трагически погибла любимая женщина. Врачебная ошибка. Но он сумел стоически пережить этот «маленький эшафот» и подарил нам после этого множество сильных стихотворений.

ВПЕРВЫЕ

*Я утром проснулся, когда ещё спят,
И вставши на ножки кривые,
Я вышел из дома и выбежал в сад,
И всё это было впервые.*

*Сирень зазывала: возьми меня, срежь!
И ноздри мои раздувала.
И воздух над нею был ярок и свеж,
Как после уже не бывало.*

*И свежей росой умывшийся мир
Шептал мне, что он меня любит.
А я и не знал, что подарен мне миг,
Которого больше не будет.*

Стихи Тимофеевского камерны и интимны; одно из главных их достоинств заключается в том, что автор словно бы впускает нас «подсмотреть» лирические события из своей жизни. Его стихи – это, так

сказать, «неофициальная» поэзия. В сочинениях Т. часто обращает на себя внимание какая-нибудь тонкая, запоминающаяся фраза. Например, «я всё музу беспокою»:

*Я всё музу беспокою,
Я теперь хочу помочь ей;
Написать тебя такую,
Как была ты прошлой ночью.*

*Я вписал бы без ошибки,
С леонардовым уменьем,
От улыбки до улыбки
Всю тебя в стихотворенье.*

*А потом бы каждый вечер
(Разве это невозможно?)
Из стихов тебя за плечи
Вынимал бы осторожно.*

*Чтоб строфа не развалилась,
Я вставлял бы многоточья...
И опять бы повторилось
То, что было прошлой ночью.*

Тонкость и необычность фразировки, на мой взгляд, одна из особенностей лирики Александра Тимофеевского. Он – поэт Москвы. Повсюду у него Москва – знакомая, заветная, с рождения ставшая частью души. Дождливая Моховая, Мерзляковский переулок, Каланчёвка, Строгино, Мневники, Сокольники, Ордынка, Таганка, Садовое кольцо – все эти места любимы как москвичами, так и гостями столицы. «Аборигену» главного города страны, Александру Тимофеевскому присущи лиризм и чувство юмора. А порой у него проскальзывают и элементы хулиганства, неуёмности души, отчаянной жажды жить. А ещё через всю его поэзию проходит Пушкин, как первая любовь. Свидетельства этого в творчестве поэта рассыпаны повсеместно, как в ранних работах, так и в более поздних.

*А над Афоном трепетали
И колыхались облака
И утопали, в небе тая,
Как сахар в кружке молока.
Один лишь только облак белый
Над ним порхал, как мотылёк,
И это было важным делом –
Бессмертья, может быть, залог.*

Пушкин в Тимофеевском вездесущ; тут и там в его творчестве можно обнаружить аллюзии из нашего великого поэта. Пожалуй, в каждом из нас велика пушкинская составляющая, и всё это идёт ещё из детства. Пушкина, в особенности его сказки, читают русским мальчикам и девочкам мамы и папы. В какой-то момент к Пушкину у Александра Тимофеевского в его пантеоне читателя добавился Велимир Хлебников. И этот ориентир – одновременно на пушкинскую простоту и хлебниковскую затейливость – и сформировал во многом стиль поэзии Александра Тимофеевского. Т. установил для себя планку, которую он не снижает уже семь десятилетий. Поразительное творческое долголетие! Человек с возрастом может потерять пару сантиметров своего роста, поскольку осанка уже не так стройна, как в молодые годы. Но дух его не убывает. Вот одно из его последних стихотворений:

*Мы опять говорим не о том.
Осень вышла внезапно из леса
И рассыпалась ржавым листом,
И скрипит под ногами железом.*

*Нам себя же придется винить,
Если вдруг мы на осень наступим.
Я тут Богу хотел позвонить,
Говорят, абонент недоступен.*



*Мимо нас все на скейтах бегут,
Так торопятся, видно, им к спеху.
Где-то празднуют, слышен салют,
И по парку разносится эхо.*

*Но когда те пойдут на войну,
А другие пойдут в магазины,
Мы с тобой соберем тишину,
Как грибы, и уложим в корзину.*

Искренность в сочетании с мажор и минор бытия, какая-то огромная и всеохватная свобода слова и дела – вот портрет души этого замечательного стихотворца. Порой он уходит в символизм и метафизику, но Тимофеевский-философ не менее убедителен, чем Тимофеевский-лирик. Вот, например, замечательные стихи ещё молодого Александра о пряхах:

*И оправдаю жизнь и страсть,
И то, зачем я был зачат...
А пряхи продолжают прядь,
А пряхи вещи молчат.
О, дайте мне ещё хоть раз
Сыграть и миг игры продлить...
Прядут, не подымая глаз,
И перекусывают нить.*

Я почему-то неизменно вычитываю в этих «пряхах» и женщин самого автора, хотя, конечно же, это достаточно смелое предположение. Тимофеевский – нелинейный автор, эмоции которого всегда неожиданны. Их трудно предугадать. Он может ругать храм Василия Блаженного и радоваться какому-нибудь тяжкому испытанию. Никогда нельзя точно определить, что у него на уме. Он обожает розыгрыши, экспромты, приколы и дружеский троллинг. Они с известным мультипликатором Юрием Норштейном постоянно подтрунивают друг над другом. Это надо видеть! Норштейн, как мне кажется, человек того же душевного склада. Это очень высокая степень внутренней свободы. Тимофеевский не боится выглядеть смешным и не хочет выглядеть солидным. В то же время, его «мальчишеские» выходки остроумны; в юморе, касающемся полового вопроса, нет сальностей. Всё делается на очень высоком интеллектуально-языковом уровне. Мне кажется, А.Т. достаточно уютно жить в нашем мире, уставшем от категорических императивов. Возвращаясь к книге «Избранного», хочется сказать отдельно о стилистике стихотворений. В традиционной силлабо-тонике Тимофеевский предпочитает двусложные размеры трёхсложным, а короткую строку – длинной. У него нет противопоставления чёрного и белого, холодного и горячего и т.п. Самоирония у Т. подчас доминирует не только над минутными настроениями, но и над более сильными ощущениями, например, над физической или нравственной болью. Порой даже возникает впечатление, что самоиронии у поэта чересчур много. Но это – своего рода игра, смысл которой заключается в том, чтобы мы постоянно ему возражали... Сейчас такого рода раскованность и непафосность хорошо рифмуется со временем, чего не было, скажем, в советскую эпоху. Человек «киношный», Тимофеевский ввёл в свои стихи «клиповое» сознание – ещё тогда, когда и термина такого не было. «В закрытое окно России не достучавшийся поэт», – так говорит о своей судьбе Александр Тимофеевский. Хочется возразить: смотря кого с кем сравнивать. Великие шестидесятники невольно заглушили многих первоклассных поэтов, чьё творчество было более камерным. Но прижизненная слава, на мой взгляд, достучалась-таки до Александра Павловича. Правду говорят: в России поэт должен жить долго.

*Он ищет читателя, ищет
Сквозь толщу столетий, и вот –
Один сумасшедший – напишет,
Другой сумасшедший – прочтёт.*

*Сквозь сотни веков, через тыщи,
А может, всего через год –
Один сумасшедший – напишет,
Другой сумасшедший – прочтёт.*

*Ты скажешь: «Он нужен народу...»
Помилуй, какой там народ?
Всего одному лишь уроду
Он нужен, который прочтёт.*

*И фразу окажется лишним –
Овация, слава, почёт...
Один сумасшедший – напишет,
Другой сумасшедший – прочтёт.*

СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА ПОЭТА

(Мария Ватутина, Смотровая площадка. Стихи. – М., Стеклограф, 2019)

У Марии Ватутиной в последние несколько лет постоянно выходят книги. Её творчество востребовано, насколько оно может быть востребовано в настоящее время, в конце десятых годов двадцать первого века. Мария не отвлекается ни на какие «тренды» современной поэзии. И мне это представляется симптоматическим. Чтобы быть самим собой, надо никогда не изменять своему стилю. «Я была в своём столетье болью», – говорит Мария. Когда я читаю Ватутину, мне кажется, что эмоционально её место – где-то среди шестидесятников. И там она смотрелась бы органичнее, нежели Римма Казакова или даже Белла Ахмадулина. Но – «времена не выбирают». Хорошо, что в нашем времени есть такой автор. В сущности, перед поэтом всегда стоит задача не отразить, а «захватить» свой век – придать настоящему времени неповторимые черты своей собственной индивидуальности.

Стихи Марии Ватутиной внутренне полифоничны. Она пишет не просто о любви, а о философии любви, и это порой неожиданно слышать от женщины. Общий уровень стихов Ватутиной настолько высок, что любая её книга становится событием. «Смотровая площадка» – не исключение. Я даже думаю, что никакой «смотровой площадки» Марии для того, чтобы видеть, не нужно. Она – всегда на высоте, она видит отовсюду.

Единственное, что иногда вызывает у меня вопросы к её лирике – длина стихотворений. Наше время стремится к краткости изложения, а для Марии стихи по тридцать-сорок строк – норма. Я вовсе не против длинных стихотворений. Просто порой возникает ощущение, что, если убрать несколько строк, стихи станут ещё сильнее. Но у автора, безусловно, своя логика и своё видение. Он имеет право решать по-своему. «Дыхалки» хватает – и слава Богу. По правде говоря, в «Смотровой площадке» я нашёл неожиданно много совсем коротких стихов, в двенадцать-шестнадцать строк. Мы видим, что Мария умеет писать и так. Она – человек гибкий, умный и пластичный.

У Ватутиной – внутреннее переживание внешнего и внутреннего мира. Градус переживания – запредельный, на разрыв. Она и «народный» поэт, и тонкий философ. Мне кажется, Ватутина – представитель того «народнического» направления в русской поэзии, которое можно условно обозначить вектором Некрасов – Евтушенко. Но то были мужчины. А женщины такого плана и такого большого таланта, на мой взгляд, у нас ещё не было. Поэтесс, апеллирующих на высоком уровне к общественным ценностям, в настоящее время раз, два и обчёлся. Могу вспомнить разве что Татьяну Вольтскую. При том, что у нас огромное количество пишущих.

*Я начинаю горевать.
Мне правду некуда девать.
Растёт, как снежный ком, она,
На лбу моём она видна,
Она свисает с языка
Слюною, словно у щенка,
Она кровотоцит из пор,
Она – потоп, она – затвор.*

Безусловно, речь здесь идёт не о любой правде, а о правде неудобной. У Ватутиной есть дар, как подать проблему и лирично, и драматургично – чтобы было развитие темы. Я помню, как меня поразило другое её стихотворение – о том, что было бы, если бы фашисты нас победили. Её лирика не статична, она разворачивается в пространстве и побеждает одномерность. На носителя неудобной правды люди начинают смотреть как на прожжённого.



*Кому её? Куда нести?
Кто хочет правду обрести?
Кивают – млады и седые –
Друг другу первые ряды:
Не прокажённая ли там
Грозит смертельной правдой нам?*

«Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман» – точно так же было и в пушкинские времена. И героическая (безо всякой иронии) Маша Ватутина готова постоять здесь и сейчас за «низкие истины». Кому-то ведь и они нужны! Это – проверка на прочность, это – инициация.

*Во лбу её горит звезда,
Из уст её жива вода,
И кожа светит, как рубин,
И горечь в ней, как у рябин.
Взрыхлён терновый грунт меж
Меж нами на параде лжи.
А думай впредь, приветив ложь,
К кому ты с правдою идёшь.*

Получается, что большинство людей к правде точно не готовы. Она может оказаться им не по силам. Поэтому необходимо точно выбирать адресата правды. Мария Ватутина – тот самый человек, который не побоятся прийти к людям с правдой. Трудно жить не по лжи. Иногда говорить людям правду подталкивает человека сама судьба. Вот, например, недавно у Марии московские власти безосновательно задержали на митинге несовершеннолетнего сына. Ну как такое простить и стерпеть? Надо включать голос и говорить. Говорить о главном надо больше – убеждена Мария. Раньше греческие философы всё время думали о смерти. А теперь главное желание живущих – забыть о ней напрочь и навсегда.

Мария умеет в нужный момент включать разные свои лики и таланты. Вот она – человек из народа: «Эх, ухнем! Раззудись, плечо!». Вот она – простая женщина, любимая, мать. Вот она – человек, который иногда интересуется и политикой («Послание Президента»). И это ещё далеко не всё. Вот у неё – «плач Ярославны». Мы видим, что спектр её интересов необычайно широк. И всё это она талантливо транслирует в своих стихотворениях. Почти в каждом стихотворении из «Смотровой площадки» есть что-то такое, что меня цепляет. В последнее время я часто слышу в стихах разного рода претензии к своим родителям (кто-то кого-то не так любил, как хотелось бы теперь уже взрослому ребёнку). И меня всё время удивляет этот посыл. Родители – на небесах, но всё ещё живы к ним претензии! Я не говорю, что это нехорошо. Наверное, сын или дочка имеют право. Например, Вадим Ковда спустя годы ругает отца за то, что тот «рано свёл маму в гроб». Вот и Мария туда же – с претензиями к родителям (стихотворение «А что дурна с лица»). Это происходит, с одной стороны, от большой дочерней любви, с другой, от перфекционизма, часто свойственного писателям. Ну и, наконец, если в жизни что-то не получается, кто виноват? Родители. Не те гены передали по наследству. А вот сами стихи Ватутиной о предках – замечательные!

Мария широко использует в своих стихах просторечно-народные формы слов, как-то: «пряжу прясти», «сиднем сидючи», «почили намени», «билась в закрыты двери». Всё это создаёт определённую стилистику речи. Но, человек сугубо городской, она подобными стилизациями не злоупотребляет. Всего – в меру. В то же время, Ватутина – поэт ультрасовременный.

*В конечном итоге все смыслы сольются в один,
Программа «Редактор» обрежет конец и начало,
Остатки им в чипы впаяют, а кто невредим –
Того на паром и ногой оттолкнут от причала.*

Очевидно, это пишет человек, который живёт здесь и сейчас. Я безмерно уважаю поэтов, которые умеют «выжать» из своей биографии всё, что только можно. У Ватутиной привлекают внимание стихи, где её имя сопоставляется с именем святой Девы Марии. словно бы что-то от богородицы досталось и нашей героине. Смыслы двоятся, перетекают друг в друга.

*Художник – мужчина. Послание прочтя,
Рисует, но опыта мало.
Мария на левой держала дитя,
А правой рукой обнимала.*

*Так держат все матери, кто не левша,
И – левой – к груди прижимая,
Мария держала, молитву верша,
А правой рукой обнимая.*

*Поскольку проворнее эта рука –
Защита надёжней покровов.
А левая – ложе вот здесь, у соски,
Где сердце растаять готово.*

Ватутина – тоже мать. И, конечно, она имеет моральное право на такие стихи. Но даже больше здесь обращает на себя внимание живописание автором позы, в которой мать держит ребёнка. Поскольку обе Марии – правши, и ребёнка они держат одинаково. Порой такие фразы дышат новаторством. Помните, у Ахматовой: «Я на правую руку надела / Перчатку с левой руки». Здесь и чисто женское, и очень эмоциональное. А в положении ребёнка у Ватутиной, конечно же, очень важно, что он покоится прямо напротив сердца матери. И никак иначе. Во многих стихотворениях Ватутина выступает как совесть русского народа. Есть такие стихи и в «Смотровой площадке».

*Молчащие столетие подряд,
Немые, не вступающие в пренья,
Не ведающие, что за вас творят
Молчащие по рангу и презрению,
Услышите нас. Мы – ваши голоса.
Поговорите нами в небеса.*

*В нас хоронящей заживо стране
Мы выживаем и в посмертной маске.
На этой необъявленной войне
Ещё у нас не отобрали связки,
Ещё выходит глотками из нас
Словарный нестраченный запас.*

Много шума, в особенности, среди женского народонаселения, вызвало стихотворение Марии Ватутиной «Соло на себе», опубликованное в журнале «Этажи». Девушки спорили, разумна ли подобная степень откровенности. От себя могу сказать, что это, безусловно, поэзия. Многие современные авторы пишут и более откровенную лирику. Например, Вера Павлова. Художник имеет «право на хулиганство». Жаль, что Мария не включила эти стихи в книгу. Ведь это – тоже своего рода смелость. Но и без этого книга наполнена разного рода поэтическими вкусоушками. Перечислю запомнившиеся стихи. Замечательное прощание с новогодней ёлкой «Не плачь по ёлке, как по волосам...», стихи о необходимости духовного преображения. Прекрасные, проникновенные и одновременно страшные стихи об Иоанне Крестителе, двоюродном брате Иисуса Христа (стихотворение «Смерть»). Стихотворение «Доброта, нарастающая в разь». Стихотворение «Восемь раз отмерь, а потом уж...» (напрашивалось – режь, но Ватутина удивляет неожиданным оборотом «речь заводил»). Как будто речь заводить – именно «резать», будто это синонимы). Я всегда приветствую о творческом человеке многогранность и многоликость. Мария Ватутина – именно из таких. О её стихах можно говорить долго. Но, пожалуй, пора закругляться. В заключение хочу показать вам не совсем характерное для стилистики Марии стихотворение, которое украсило книгу «Смотровая площадка». Представляет, сон – тоже «смотровая площадка» поэта!

*Я устала во сне – я летала во сне.
Я летала во мне. Я устала во мне.
Сколько сил я затратила, чтобы летать.
Сколько сил я затратила, чтобы устать.
Для чего я решаю во сне полететь,
Для чего поднимаюсь в пространстве висеть?
Для чего, просытаясь порою ночной,
Под ногами не чувствую тверди земной?
Я уж знаю, когда во мне что-то поёт,
Значит, вышел за сонные рамки полёт,
И понятнее люди, и лучшие обзор –
Это я подрастаю во мне до сих пор.*

Спасибо Дане Курской за прекрасно изданную книгу.



ЯБЛОКО-ЖИЗНЬ ЛЮДМИЛЫ ШАРГА

(Людмила Шарга, *Мне выпал сад. Стихотворения, страницы из дневника.* – Киев, Издательский дом Дмитрия Бураго, 2019)

Для диалога с современниками многие поэты избирают сейчас смешанную стилистику – стихи сопровождаются исповедальной или документальной прозой, которая по тональности мало чем отличается от стихов. И стихи, и прозаическая лирика Людмилы Шарга глубоко исповедальны. У неё огромное сердце; она готова пропустить через себя всю боль мира. Человек начитанный и эрудированный, она любит людей и сочувствует их проблемам. Лирика Людмилы проста, естественна и возвышенна, в хорошем смысле слова; она словно бы и не требует комментариев.

*Научи меня быть вечерней рекой,
течь и верить: каждому – да по вере
отмеряет и щедрой даёт рукой
тот, кто сам и вода, и река, и берег.
Научи меня быть огнём и землей,
лёгким облаком – тайного вдоха легче,
укажи мне затерянный путь домой,
на восток, где зарей окоём расцветен.
Научи меня мудрости просто жить.
Я, усвоив основы твоей науки,
перестану загадывать и спешить,
и приму все утраты и все разлуки,
и однажды поверю, что смерти нет,
воспарив и свободно и облёгчённо,
и увижу, как горний исходит свет
от приговорённых и обречённых.
Научи меня жить... как в последний день,
чтоб уснуть на краю и проснуться с краю,
чтоб от яблони – яблоком в свет и в тень,
где вечернее солнце в траве играет,
и припомнится: зарев, земля, огонь
и журавль над серым срубом колодца,
и – под утро – в распахнутую ладонь
возжеленное яблоко-жизнь сорвется...*

Людмила Шарга – душа чистая, сумевшая сохранить свою родниковость и пронести её через годы испытаний. Мне кажется, у неё правильный баланс между внешним и внутренним миром. Сейчас в мире много разного сора, но Людмила сумела очертить пространство своей души таким образом, что чужеродные вещи туда не попали. Книга её лирики называется «Мне выпал сад», и, почему она так называется, рассказала нам сама Людмила в предисловии, которое называется «К читателю». У всех нас есть краугольные вещи, которые, в той или иной степени, определяют судьбу. Подробности Людмилы Шарга восходят к саду. И всё это идёт ещё из детства. «Пространство, именуемое садом, делилось узенькой тропинкой на сад вишнёвый и на сад яблоневый», – так рассказывает об этом Людмила. – Сад нельзя вырастить только лишь по желанию или мановению волшебной палочки, его надо выстрадать. Он должен стать судьбой, выпасть». И потом человеку уже не важно, что сад выпал не ему одному и что то же самое могут сказать и другие. «Проблему» с параллельным, но абсолютно другим садом у поставленной Беллы Ахмадулиной Людмила решает легко и непринуждённо: она просто берёт эпитафию из сочинения знаменитой шестидесятиницы. Действительно, не может ведь присутствие схожей символики у другого автора помешать нам писать о сокровенном!

«Мне выпал сад» – это, в сущности, и дневник, и энциклопедия духовной жизни автора книги. И сад у неё – вечнозелёный. Вечноцветущий. И книга, которую я держу в руках – это тоже сад. Стихи и воспоминания – это листья летнего сада.

Мне кажется, на структуру того, что мы пишем, в последние годы стали сильно влиять социальные сети. Многие авторы стремятся вести свои личные блоги таким образом, чтобы написанное обладало определённой степенью законченности. Порой небольшой прозаический фрагмент достигает такой степени эмоционального воздействия, что моментально увеличивает количество подписчиков у данного автора. В один счастливый момент Людмила Шарга, видимо, прочувствовала, что её маленькие исповеди в прозе не уступают по степени воздействия стихам, образуя вместе со стихами некое смысловое единство.

И это происходит не только с Людмилой. Вот, например, у Лады Миллер я наблюдаю творческий симбиоз её стихов и прозаических «мурашек». Но книгу такого плана – честь ей и хвала – первой догадалась скомпоновать именно Людмила. Хотя, конечно, и это уже было в истории мировой литературы. Подобная спаянность, неразрывность лирического контекста создаёт особую стихопрозу.

БЕЛЫЙ ШУМ

Так приближается
 белый шум:
 девственно белый лист;
 я ещё думаю, что пишу –
 он уже снова чист.
 Утренний кофе давно остыл,
 тает апрельский лёд,
 длань подступающей пустоты
 больно – наотмашь – бьёт.
 Ангел умаялся.
 Век со мной хлопотно коротать.
 Тихо.
 Лишь маятник за стеной
 мечется аки тать.
 И проступает иная суть –
 крыльями, и болит.
 Кто пошутил, что небесный суд
 вынес земной вердикт,
 и отпустил меня без меча
 и прошептал: иди,
 и на прощанье пообещал
 сумерки и дожди,
 сада весеннего тихий свет,
 яблони под окном...
 Господи, ты меня помнишь... нет?
 Вспомни.
 Давным-давно
 ты окунул меня в снегопад,
 и не сказал: нельзя.
 Может, тропинка в цветущий сад –
 и не моя стезя?
 Было ли, не было:
 первый взлёт,
 первый невинный хмель,
 первый, обманчиво тонкий лёд,
 Радоница... апрель,
 гамон в скворечницах.
 Всё пишу...
 Ангел уснул давно.
 Маятник мечется,
 белый шум
 шепчется за окном,
 словно обычный апрельский дождь
 смешивает слёды.
 Просто... на белый шум похож
 шум дождевой воды.

«Мне выпал сад» – книга атмосферная. Ведь и сами стихи – это возделанный автором сад. И, в отличие от чеховского вишнёвого сада, сюда не придёт никакой Лопахин и не сделает саду Людмилы ничего плохого. Поэт часто использует рефрены. Так, например, через всё стихотворение идёт настойчивый повтор: «Кто вспомнит обо мне?». Это не просто литературный приём. Так бывает, когда одна стержневая мысль всё время не даёт покоя, возвращаясь и возвращаясь к автору. Вечное возвращение мысли. Я думаю, это



важно – какое небо мы оставим птицам. И вопрос этот шире, чем возможность прямого наследования интеллектуального и духовного богатства детьми и внуками. Пишу эти строки, а сам думаю: а мысль-то чеховская! Задавая себе эти «последние» вопросы, Людмила продолжает возделывать свой яблоневый сад. Или вот ещё один рефрен: «Что тебе сумерки...».

*Что тебе сумерки...
 Стол, тетрадь –
 справа размытым пятном чернила,
 стопка заезженного винила –
 не довелось на чердак убрать.
 Что тебе сумерки –
 полутона,
 тени заброшенного сада,
 из отворённого настёжь окна
 тянет черёмуховой прохладой.
 Нет мне покоя и сна – как нет,
 только прикрою глаза и слышу,
 падает влажный душистый цвет
 и засыпает крыльцо и крышу.
 Что тебе сумерки...
 Белый дурман.
 Скрипит – как будто вздохнёт – калитка.
 златом да серебром пояс ткан,
 да не моею рукою выткан.
 В дальнем урочище –
 на реке
 лодка застыла в туманной дрёме,
 два лепестка на твоей руке –
 рваный прилипчивый след черёмух.
 Утлая лодочка не плывёт,
 но уплывает вглубь отраженье.
 Жизнь замедляет круговорот,
 кровь ускоряет своё движенье.
 Что тебе сумерки...
 Близость троп –
 давних, далёких, укрытых цветом.
 Вечный черёмуховый озноб
 и холода накануне лета.
 Лампы настольной неровный свет
 там, где чернила пятном застыли, –
 им не сложиться стихами – нет...
 Что тебе сумерки.
 Что ты им...*

Людмила Шарга рассказывает нам о многих вещах, которые у неё оказываются «внутри сада» – это и Одесса («Сновидения города О.»), и море, и множество других объектов и подробностей. Стихотворения, которые присутствуют в книге, очень хорошего качества. Любое из них уместно процитировать. Есть ощущение, что Людмила Шарга – поэт недооценённый. Тем не менее, у неё есть почитатели, которые готовы поставить её выше классиков. Язык у Людмилы – богатый, щедрый. Попадают даже редкие слова, которых я прежде не встречал. Почему её плод – именно яблоко? Во-первых, яблоки широко распространены в наших широтах. Во-вторых, яблоко – плод познания. И здесь – не только библейский контекст. Мы помним, что именно яблоко помогло Ньютону открыть закон всемирного тяготения.

*Пол-августа – на двоих,
 забытая жизнь в подарок,
 страницы любимых книг,
 щемлящая фрусть гитары.
 Далёкого лета блик
 на утренний дождь нанизан,*

и августа черновик дописан,
 почти дописан,
 и падевый выпит мёд,
 и столько звёзд в поднебесье...
 Здесь лето ещё поёт
 свою негромкую песню,
 здесь пишется так легко
 и так же легко молчит
 об осени, что возком
 небесный везёт возница.
 Пылает закат в окне
 заброшенного сафая,
 и рукописи в огне
 рождаются и сгорают,
 от боли – как мы – крича.
 И пепел летит над миром...
 Здесь яблони по ночам
 в садах источают миро –
 лекарство от всех забот,
 от горестей и лишений.
 Здесь каждый из нас пройдёт
 свой путь до преображения.
 И каждому будет сад, –
 зови, если хочешь – раем.
 Здесь рукописи горят,
 но к счастью – не все сгорают.

Стихотворения Людмилы по форме напоминают развёрнутый свиток. Рассказ льётся неспешно и долго, заканчиваясь порой неожиданно. Эти стихи невозможно цитировать по частям, не целиком. И всё пронизывает необыкновенная чуткость души поэта ко всему, что её окружает. Пожелаю Людмиле простого человеческого счастья. Чтобы близкие были здоровы. Она так много для этого сделала. Она заслужила. И тогда мы все вместе выйдем в яблоневый сад. Её сад.

РЕНЕССАНСНАЯ ЖИЗНЬ ИРИНЫ ЧУДНОВОЙ

(Ирина Чуднова, *И ласточка мутирует к сове. Стихи. – Ростов-на-Дону, Притяжение, 2019*)

Порой длительное отлучение от родины сберегает в пишущем человеке много хорошего. В нём происходит прививка чужой культуры; он не вписан в устоявшиеся тренды современной литературы и потому более свободен. А свобода – Альма-матер любой поэзии. Путь Ирины Чудновой причудлив и необычен. Она сложилась как поэт вне культурных столиц, да и русские эмигрантские журналы стали публиковать её только три года тому назад. Что поражает в Чудновой? Высокая степень ответственности за то, что она говорит и делает, высокая культура слова. И в частной беседе, и в стихах, и в прозе это один и тот же человек. Ты понимаешь, что говоришь с поэтом. Это человек такого накала, такой работоспособности, такой степени понимания современной поэзии, что даже удивительно, что до сих пор никто не предложил ей возглавить какой-нибудь журнал или фестиваль. Одним словом, это личность.

..зелёное или синее – выбирай, хочешь спичку тяни,
 или монеткой сыгрой, вынешь большее – меньшее
 в дар бери. Что же застит глаза и мучит тебя изнутри?

Там, в вышине, в стоячей небесной волне,
 в неземном вине вопль неразделённой нежности –
 это звенит одна на всё небо цикада,
 и губы её в крови, а сердце у райских врат:
 белым крылом на закат, лазоревым на рассвет,
 под правым крылом сонет, под левым Сократ.



Стихи о выборе, но сам процесс выбора – странноват. Это не шекспировское «быть или не быть?». Бытие героев Ирины Чудновой скромнее, но оно не менее интересно. Герой выбирает в беседе с героиней особенности совместного пути. Дружба или любовь? Земное счастье или небесное? Сам выбор носит «цветной» характер, это не выбор между чёрным и белым или между добром и злом. Но, когда выбор не столь очевиден, выбирать сложнее. Героиня стихотворения вовлекает мужчину в некое действие, по окончании которого он уже не будет прежним: это – своего рода инициация. Но выбор является, по замыслу автора, не более чем фикцией. «Вынешь большее – меньшее в дар бери». Например, так: играй нижней частью тела, а верхнюю получишь в подарок. Либо наоборот. Мы не знаем точных мотивов. Это просто побуждение партнёра к действию, к открытию в себе новых горизонтов. Само подталкивание человека к выбору креативно. Оно выбивает его из зоны комфорта и побуждает мыслить. Это поэзия отношений между мужчиной и женщиной. У Чудновой – неординарная и нестандартная лирика. Особенно это заметно в стихах о любви, поскольку в них труднее всего быть небанальным.

*Итак. Ты выбрал синее, мне ли тебя винить,
одевайся, пойдём хоронить вечернее солнце –
миг, и утало в траву. И теперь ты можешь присесть
и услышать свою синеву, заслушаться холодом и
тишиной до утра, чтоб увидеть, как светом морозным
живёт игра отблесков розовых и синевы, а потом
ты познаешь божественный трепет травы, осязаешь
тайное бытие и вдохнёшь аромат зелёный её.*

*Вот тогда твоё сердце сорвётся цикадой звеня,
ты на полуслове проснёшься и вспомнишь меня.*

Сознание Ирины Чудновой метафорично. Это «венок метафор», искусно оплетённый. Метафоры у Чудновой не всегда точны, но они носят тотальный характер, они трансцендентны. Вместе с тем, это, на мой взгляд, не метаметафора. Там действуют другие законы построения образа. Но некоторые метаметафористы, особенно Алексей Парщик, безусловно, тоже заочно «поработали» над стилем Ирины. Некоторые её стихи носят откровенно ребусный характер, фонтанируя скрытыми смыслами.

ВЫСТРЕЛ, МЕТЕЛЬ ЗА ОКНОМ

*..смазка мила вороному стволу,
пуля не дура – раба.
точен и голоден зверь-поцелуй,
неотвратим, как судьба.*

*ласка-шаманка – всполох воронья,
боль даровой пустоты, –
где откупается верность твоя,
чем утешаешься ты? –*

*правишь стук сердца, наследуешь нож,
топишь две тени в огне –
шёпотом рук, скритом стынувших кож
предвоскрешаешься мне.*

*телом влечёшь по ту сторону крыш,
сердце твоё – польня, –
ты не полюбишь – офлом воплотишь
рыбу и сталь и меня.*

*и поведёшь сквозь звериный конвой,
комкая ночь в рукаве,
грубой, не лънущей за следом тропой –
пряжей в небесной траве.*

И здесь, на мой взгляд, можно было бы закончить стихотворение. Но Ирина его продолжает. Порой творческий напор и нереализованность полноты замысла так велики, что словно бы невидимыми пассажами, словесной магией автор удерживают длинное стихотворение от полураспада.

*если мой долг – боль-метель пережить,
перетерпеть горесть дня, –
стану берёз голоса хоронить
в недрах гудронных огня,*

*чтоб удержат на зашивке ветлы
месяц неявь, где вода –
сплав триединый во чреве золы:
сумерек, праха и льда.*

*но, отпустив первоходный курок –
меж ползунков и кальсон,
выстрел раскруживает потолок..*

..и целует моё лицо.

Редко встречаю стихи, написанные с таким изысканным мастерством. Стихи, написанные дактилем (самым древним силлабо-тоническим размером в истории человечества) – встречаю ещё реже. Честно говоря, я думал, что дактиль уже давно отправлен в утиль. Ан нет. Здесь у Чудновой завуалированы тонкие эротические смыслы. Мастерство поэта проявляется не только в общем рисунке (попробуйте сами написать что-нибудь подобное!), но и в мелочах. Например, в неочевидном, но излюбленном для Ирины ударении на второй слог в слове «всполох». В умении неожиданно сменить ритм (последняя строка). В эстетике Ирины меня больше всего удивляет то, что она не боится оказаться непонятой и идёт за своей звездой, усложняя свои и без того непростые для понимания тексты. А ведь есть ещё в её стихах и «китайская линия», там закодированы ещё и китайские аллюзии. Однако Чуднова всегда готова лично разъяснить сомневающимся самые «тёмные» места в своих произведениях. Готова ответить за каждое употреблённое слово.

Новую, небольшую по объёму книгу Ирины Чудновой я перечитывал несколько раз. Поэзия – это всегда «многоборье». Можно брать своё нестандартной лексикой, можно – эксклюзивными переживаниями, можно – новаторской тематикой. Ирина Чуднова отличается виртуозной степенью владения языком, поэтому к её текстам у меня высокая степень доверия. Она настолько искусна в языке, что способна совершать в строчках рискованные «ша». Например, она порой использует не свойственные русскому языку падежи: «Небо зиждется покоем», «ласточка мутирует к сове». Чуднова интересно экспериментирует с ритмом, находя баланс между тайным и явным. Дольник и тактовик – излюбленные стихотворные размеры талантливого пекинского поэта.

ВЕЛИКИИ ПЕРЕДЕЛ

*дай же сгореть моему
телу во льду в огне –
космос, постой за меня, побудь
на моей стороне!*

*ведь куда бы тебе
ни идти –
всё утрёшься в меня
в тишь
помолчишь
руками всплеснёшь на ветру*

*а что станет
когда я умру? –*

*ноги как лёд босы
сердце в огне –
похорони меня, космос,*

вне.



Ирина Чуднова живёт в Китае уже больше 25-ти лет. Этого бывает достаточно для того, чтобы сознание человека незаметно для него самого стало «гибридным». Чуднова – человек с абсолютным поэтическим слухом и невероятным талантом к родному языку. В её лирике слышна единственность. Она создаёт и планирует своё внутреннее пространство, чтобы следовать в фарватере сильных сторон своего дарования. Мне кажется, что в сложных стихотворениях, насыщенных символикой и подтекстами, её голос звучит более убедительно, нежели в «простых» произведениях. В жизни Ирины был непростой период, когда она «замолчала» на целых пять лет. Даже не представляю себе, как такое может вынести человек, который круглосуточно погружён в мир поэзии. Но Ирина смогла справиться с затянувшимся на годы бесстишьем, и вскоре для неё началась новая, ренессансная жизнь. Она вернулась – с новыми, ещё более качественными стихами.

Вот что сказал о творчестве Чудновой известный поэт и критик Даниил Чкония: «Ирина Чуднова – лирик, для которого эмоциональный настрой важнее аналитической сосредоточенности, но не вполне объяснимым образом её стихи несут в себе философский склад мысли. В какой-то мере это объяснимо влиянием китайской поэтической и философской культуры, влиянием, которое Чуднова не утаивает, а – наоборот – подчёркивает, справедливо считая это творческим восприятием моментов ментальности восточного соседа России. Прелесть этих чудесных строчек, словно рисующих гуашью картины текущей жизни, очевидна. Стихотворная речь поэта Ирины Чудновой изобилует подвижными картинками бытия, пронизывающими её строки. Совмещение двух культур – перспективный путь творческого развития этого автора». И на этом позволю себе закончить.

НЕОАКМЕИЗМ ДМИТРИЯ БУРАГО

(Дмитрий Бурого, Московский мост. Книга стихов. – Киев, Издательский дом Дмитрия Бурого. 2019)

Поэт и издатель Дмитрий Бурого однажды, приехав в Москву, соблазнил меня ночным просмотром нового фильма о войне в Сербии. Я колебался. Как потом добираться ночью домой? «Соглашайся, – убеждал меня Бурого. – Когда ещё посидим вот так ночью в кино? Будешь потом вспоминать всю свою жизнь!». И сейчас, когда я пишу эти строки, первым делом вспомнилось то наше февральское приключение. Вот такой он человек, Дмитрий Бурого. Неуёмный, искроенный, настоящий, не желающий откладывать на потом то, чего завтра уже может не быть. Таким я его и полюбил, по-братски и на всю жизнь. Иногда у меня в жизни бывают ощущения, что другой человек, прямо в этот момент, в чём-то лучше. Хорошо, когда есть за кем идти. Неважно, в чём именно.

Всё это жизнелюбие есть в поэзии Дмитрия. «Московский мост» – новая книга киевского поэта. В самом этом названии звучит надежда на улучшение отношений между Украиной и Россией. Это как раз тот случай, когда географическое название превращается в символ, противостоящий вакханалии неоднозначных переименований в угоду временному политическому контексту. «Московский мост» – это стихи 2015-2019 годов. То есть, время самое что ни на есть военное. Поэт выстроил свою книжку хронологически – как она писалась. Такая логика – не тематическая – тоже имеет право на жизнь. Но у меня, как рецензента, своя логика, поэтому хронологию писателя я придерживаюсь не буду. Дмитрий Бурого – модернист, прошедший через увлечение многоликим авангардом. Однако, по большому счёту, его стихи тяготеют к эстетике Серебряного века в его поздней версии. На мой взгляд, это неоакмеизм, подчас с некоторыми элементами обэриуства, которое проявляется у Бурого в виде им придуманных неологизмов.

*Подгуляла рифма, наблатыкалась:
строит ражи, крутит языком,
верховодит, жалится, истыкала
стопки тамиков свинцовым каблучком.*

*Ты её не жалуй, не подлаживай
умствие под вычурный кутёж,
потому что в ней сгорают заживо,
озаряя образов крутёж,*

*потому что от её ауканья,
перестука, схвата, гопака
чудный смысл, догадку, как в строку коня,
запрягает звук издалека,*

*потому что всё уже доказано,
всё сбылось – ты только отвязись
от опаски из небесной скважины
отозваться в собственную жизнь.*

31.03.19

Эта цифра под стихотворением достойна отдельного упоминания. В этот день, тридцать первого марта текущего года, Дмитрий Бурого написал ещё два стихотворения, которые вошли в книгу «Московский мост» – «Дождь над Одером» и «Корова». Этот щедрый для поэта день, безусловно, ускорил появление новой книги. Хотя основная «нота» книги – это всё-таки тревоги войны и надежда на лучшее будущее. Надо учиться прощать – может быть, это поможет снизить напряжённость в обществе.

*«Как упоительны в России вечера»,
особенно когда ты не в России,
когда на полчаса, на четверть выи
ты протупаешь в завязи резные
на кончике гусяного пера.
Твой друг подскажет: Всё, уже пора!
И где б ты ни был – всё уже Россия,
и в этом полумии прости ей
все эти боли, песни, вечера...*

У меня складывается впечатление, что в своей последней по времени книге Дмитрий Бурого делает решительную попытку «впасть в неслыханную простоту» – по крайней мере, по отношению к себе самому, «предыдущему». Нет, любовь к позднему Мандельштаму и его звукоряду нисколько у него не проходит. Вот только строка у Бурого становится короче, а сами стихи – прозрачнее, за исключением, может быть, стихов о войне, которые идут у него в самом начале. Нет, о войне – только так, мистично, символично и... «вокруг войны». Не хватает ещё стихами кого-нибудь обидеть. Да и не ехать же на передовую, чтобы осознать голую правду войны. Сразу оговорюсь: я – и за простоту, и за сложность. Одним словом, за поэзию.

*Я живу за счёт тех, с кем душой не схож,
с кем молчу, за кого молюсь –
так за правду выстрадавшая ложь
повседневный выносит груз.*

*Так за каждым словом густится тень
коркой рифмы, слепым пятном,
наводя немыслимое на плетень,
чтобы свет сошёл на нём,*

*чтоб от неба близкого отлегло,
чтобы в памороке вины
не влетали факелами в стекло
беспробудной вражды огни.*

*Я живу пока на своей реке,
но сегодня не ровен час,
и приходит беспамятство налегке,
отмечая безумьем нас.*

По-любому, из Киева до войны ближе, чем из Москвы. Есть в книге Дмитрия Бурого и ностальгические нотки. Всё познаётся в сравнении. Лирический герой Бурого в советское время «ворчал о том, что плохо прозвучало». Но эти годы были, тем не менее, осены благодатью, о чём не стесняется вспоминать автор книги.



МОСКОВСКИЙ МОСТ

*Жил мальчик у Московского моста
в обычном доме с окнами на север.
Гремели на Петровке поезда,
и тосковали комнатные звери.*

*Был в книжном мире кухонный сервант –
три полки за зелёными цветами,
была ещё размалвка между нами,
и высился над дымом едкий Кант.*

*Мы жили тихо, искренне ворча
о том и сём, что плохо прозвучало.
К рассвету смыслы еле волооча,
сам Вагнер путал вечные начала.*

*И Блоку было нечего терять,
а у Шекспира не было трагедий.
За всё и вся от донкихотской меди
на кухню сниходила благодать.*

*На цыпочках рассвет тянулся к окнам.
Катился мост над кудрями Днепра.
Казалось, целый мир из неба соткан.
И целый город в рот воды набрал.*

Жил мальчик у Московского моста.

И снова у Бурого появляется «славянская тема». На самом деле, Украину сейчас разделяет всё тот же спор между славянофилами и западниками. Просто сейчас это совсем чужие западники. Такое ощущение, что они жаждут располовинить страну. И все – патриоты страны, вот что по-настоящему страшно.

*Что, славяне, не словом сыты?
Что же, родственники, смурны,
если братьями не убиты,
если жёнами не верны?*

*Если наши слова – на вертел,
если веру – поди продай,
что ж так манит кровавый ветер
и так много даём на чай?*

*И куда мы из всех биений,
из бессмыслицы горловой?
Эх, славяне – рабы сомнений,
черти пляшут за упокой!*

*Так не мглите, отцы и братья,
не надейтесь, что обойдёт –
позади каменеет платье,
и страшит уходящий Лот.*

Очень неожиданным оказалось для меня обращение Дмитрия к «детским» стихам о чуднице «Бе-бе». Я слово «детский» беру в кавычки, поскольку это именно стилизация под детские стихи. А сами стихи, безусловно, адресованы взрослому читателю. Неожиданно прозвучало стихотворение «Молитва» – герой молится не за себя и не сам. Молятся – о нём. И это придаёт ему силы.

МОЛИТВА

Не потому, что рыан,
не потому, что цел –
я в капле океан
и сам себе предел,

я промежуток, щель,
я выжженный итог,
я текст, в котором мел
крошится между строк,

я камень на пути,
я сам себе двойник,
и все мои «прости»
срываются на крик.

На всех вокзалах снег!
Во всех расчётах грязь!
Я вымучен и пег:
обрюзг, кругом погряз.

Но где-то в глубине
на краешке судьбы
ты молишься, и мне
гореть в частице бы.

Дмитрий Бураго – человек высокой культуры и тонкой интуиции. Его стихи – в высшей степени изящная словесность, корни которой уходят в серебряный век русской поэзии. О чём бы ни писал Дмитрий (а диапазон его поэтической речи чрезвычайно широк!), в его произведениях обращают на себя внимание, прежде всего, язык и звук. Дмитрий Бураго – страстный жизнелюб, «турман» бытия. Философский эпигуризм помогает ему острее ценить каждый прожитый миг. Спасибо фестивалю «Провинция у моря», познакомившему меня с этим прекрасным человеком.

«ВЫНЬТЕ СЕБЯ ДО ПОСЛЕДНЕГО ЭХА...»

(Маргарита Аль, Манифест Аль Пизи. – М., Издательство АПФФТ, 2019)

Маргарита Аль взвалила на себя нелёгкую для хрупкой женщины ношу руководителя крупных международных фестивалей. Времени на стихи остаётся у неё всё меньше и меньше. Поэтому меня особенно обрадовал выход в свет её новой книги. Как и большинство пишущих культуртрегеров, Маргарита пишет быстро и по наитию. Философское образование даёт ей один несомненный козырь: умение внутренне структурировать свои произведения. Творческий «хаос» первобытия гармонизируется у неё космосом «золотого сечения». Всё оплодотворяется энергией постижения. Название книги Маргариты – «Ищи!!!» (три восклицательных знака) напоминает мне знаменитый девиз «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Эти строки Альфреда Теннисона стали у нас широко известны после выхода в свет культового фильма «Два капитана». «Ищи» Маргариты Аль – означает «не понижай градус своего присутствия в мире».

Стоит отметить, что творчество Аль демонстрирует нам новый тип женщины-поэта, не «ахматовский» и не «цветаевский». Это героический тип личности, который в принципе встречается нечасто, а в XXI-м веке – и подавно. Что поражает, прежде всего, в лирике Маргариты? Симбиоз действия и созерцательности. Обычно как бывает? Ты либо человек действия, как Микеланджело, либо созерцатель, как Леонардо. Но, как мы видим, бывает и по-другому. Тихая лирика – и одновременно громкая, авангард – и параллельно восточная классика, метафизика – и рядом диалектика. Казалось бы, лирика Маргариты Аль состоит из непримиримых противоположностей. Но такова особенность воздушного знака Весов – для них сущностное разнообразие органично.

«Громкость» некоторых произведений Маргариты Аль отталкивается не от «стадионной» поэзии шестидесятников. Нет, скорее, это стилистика, близкая к русским футуристам начала XX века – Маяковскому, Хлебникову, Кручёных, Бурлюку. Как мы видим, женщин в этом ряду не было. Поэтому Маргарита



Аль – новое явление в русской поэзии. Есть два лика Аль – концептуальный (философский) и футуристический (квазиМаяковский). Конечно, не все произведения в новой книге поэта равнозначны. Иногда «манифестность» заглушает в книге поэзию. Например, название «Небокопы» представляется мне более важным, чем «Ищи!!!». Представляете, поэты «копают» небо в поисках алмазов. Как рудокопы – землю, извлекая из неё «тысячи тонн словесной руды». Здорово же! Но у каждого автора – свои приоритеты. Я с пониманием отношусь к этому тонкому моменту. «Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной». Между моим пониманием творчества автора – и тем, как представляет своё творчество сам автор.

Даже обложка книги Аль стилизована под издания футуристов начала XX века – шафранного цвета брошюра, большие буквы, нестандартные шрифты. Всё это очень похоже на коллекционные букинистические книги Маяковского или Кручёных. Думаю, не сильно ошибусь, если предположу, что и сама Маргарита считает себя наследницей по прямой вышке упомянутых поэтов. «Выньте себя до последнего эха, в душу вложите охрипшее слово». Несмотря на то, что время у нас сейчас, в общем-то, «тихое», поэт сам для себя устанавливает регистр своего голоса. Может быть, так и надо, и не услышат сейчас такие стихи, как фетовское «шпёпот, робкое дыханье, трели соловья». Каждый доказывает правомочность своих притязаний собственной жизнью.

Маргарита пишет немного, но весомо, не размениваясь на мелочи. Помимо «манифестов», ей очень удаются стихи в стиле хокку. Особенно удачно звучат циклы таких коротких стихов. Во многих из них поэт использует эффект парадоксальности. «Не смерти боюсь – боюсь несмерти». «В свои крылья врастаю». Верлибры Маргариты Аль заставляют забыть о том, что там могла бы быть рифма. Человек сам чувствует свой звук, может ли рифма что-нибудь прибавить к оптимальному звучанию стихов. Наверное, есть поэты, которым рифмы только мешают. Маргарита Аль – из числа тех поэтов, которые приходят в литературу со своим оригинальным творческим лицом. Она хорошо мыслит абстрактными категориями, что редко получается у женщин. Это хорошо видно в её программном стихотворении «Ищи»:

*невидимое станет видимым
видимое станет невидимым
отсутствие памяти у видимого о невидимом
и у невидимого о видимом –
есть высшее проявление гуманности
ищи
ищи ищи ищи ищи ищи ищи ищи
ищу ищу ищу ищу ищу ищу ищу ищу
ещё ищи ещё ищи ещё ищи ещё ищи
ещё ищу ещё ищу ещё ищу ещё ищу
ищи ищу ищи ищу ищи ищу ищи ищу
еще ищи ещё ищу ещё ищу ещё ищи
ищи
невидимое станет видимым
видимое станет невидимым
отсутствие памяти у видимого о невидимом
и у невидимого о видимом
есть
есть высшее
есть высшее проявление
есть высшее проявление гуманности*

Мы видим, что Маргарита Аль ворочает огромными смысловыми глыбами, где метафизика пытается найти общий язык с философией действия. Заметим в скобках, что поэт не только призывает к действию, но и личным примером культуртрегера показывает другим людям, что такое настоящая жизнь. «Если хочешь жить для себя, живи для других», – говорил римский философ Сенека. Трудно даже считать всех творческих людей, которых Маргарита Аль вовлекла в водоворот фестивалей фестивалей «ЛИФТ» и Ассамблей народов Евразии». Но вернёмся к её стихам. Это «монументализм» – есть такой жанр у художников, когда они пишут картины огромного размера или же расписывают стены. Видимый и невидимый мир словно бы защищаются у Маргариты друг от друга, пометив неприкосновенность собственных территорий. По форме стихотворение «Ищи» написано в неоавангардной форме ритмически организованных верлибров. Порой одна фраза «дробится» на свои составляющие и нарастает, разворачиваясь в пространстве:

*есть
есть высшее
есть высшее проявление
есть высшее проявление гуманности*

В более ранней редакции этого стихотворения, опубликованная в журнале «Дети Ра» № 10 (60), 2009 (<http://www.zh-zal.ru/ra/2009/10/al12.html>), оно имело совершенно другое название – «Иещуа». Этот факт недвусмысленно намекает нам, что стихотворение «Ищи» может быть оригинальной формой прочтения гениального романа Булгакова. И сама Маргарита Аль, по сходству имён с главной героиней романа, словно бы становится участником этого действия, пронизанного нитью времён. Она словно бы внедряет себя на страницы знаменитого многомерного романа. Она – одновременно и Маргарита, и Мастер. Мастер – это тот, кто понимает. Чисто литературное мастерство при этом – второстепенно.

О чём же вещает нам Маргарита Аль? Что такое «высшее проявление гуманности»? Это удивительная, парадоксальная мысль! Видимое, то есть наш с вами трёхмерный мир, мало осведомлено о тонком мире, существующим параллельно с нашим. И слава Богу! Герой Булгакова поэт Иван Бездомный от такого знания свихнулся – и, как следствие, попал в психушку. Государственные институты разных стран тщательно оберегают головы своих сограждан от попадания туда частичек иных миров. Поэтому «гуманность», по Маргарите Аль, заключается в незнании и неведении, в философской и эзотерической девственности. Однако «видимость», «невидимость» и «гуманность» можно понимать и в другом смысле. Забудем о тонком мире. Допустим, что существует только наш с вами «толстый» мир, разворачивающийся во времени. Древний грек ничего не знает о мегаполисах XXI-го века. И это гуманно. Но какие-то вещи из будущего, о которых догадывались разве что пророки, рано или поздно просачиваются в действительность. «Невидимое» мира – это третья сторона медали. Она до поры до времени словно бы находится в засаде. В тени аверса и реверса. Покуда не пробьёт её час. И тогда третья сторона медали выйдет из засады и будет помазана на царствование. Невидимое станет видимым. Надо сказать, что учение о видимом и невидимом – это универсальное знание, которое присутствует во всех без исключения духовных практиках и религиях. Маргарита Аль в своём стихотворении одновременно пророчествует и призывает к действию. Ищи! Ещѐ ищи!

Но вот вам ещё один парадокс: знающий не ищет, потому что уже знает. Знает мгновенно, моментально – как только об этом подумает. Поэтому призыв «ищи» актуален разве что для тех, кто не знает. Но можно ведь искать не знание. У Маргариты речь идёт об «отсутствии памяти». Память у человека приходит и уходит. И вот эта память, временами активизируемая человечеством, а временами – впадающая в ступор, падающая в колодезь забвения, и есть то главное, что вынес я из новаторского стихотворения Маргариты Аль.

Маргарита творчески работает со своими стихами, используя опыт многократного проговаривания текстов с эстрады. Казалось бы, перформанс – совершенно другой жанр. Философия требует тишины и внутреннего покоя. Перформанс – экзальтированной экспансивности звука, экстравертности, выплёскивания энергий. Но, когда читаешь свои стихи, невольно слышишь себя со стороны. У Маргариты Аль – хороший поэтический слух. Она сумела отсечь всё лишнее из первоначальной мраморной глыбы. Гармония, согласно Гераклиту, часто возникает из противоположностей.

*ты видишь меня
а меня ещё нет
ты видишь меня,
а меня уже нет
ночью поймала за кфылышко луч
утром его отущу*

ЮБИЛЕЙ УШЕДШЕГО ДРУГА

(Ромашковский привкус разлуки. Поэт Лев Болдов в воспоминаниях, посвящениях. Сборник. Сост. И. Ганжа. – Симферополь, Форма, 2019)

Книга воспоминаний о Лье Болдове собрана и издана по большому поводу – в этом году Льву исполнилось бы 50 лет. Эта цифра воспринимается очень странно. Трудно поверить, что только 50, хотя человека уже давно с нами нет. Такой же шок, помнится, был у меня, когда мы отмечали 50-летие Виктора Цоя.

Я не сразу сообразил, из какого стихотворения Льва Болдова взяты строчки, которые дали название книге воспоминаний о нём. Вот скажите мне «стихи о Бахе» – сразу вспомню. Вспомню даже «клавиши пробует Бах», вспомню и снежную пудру, которая сыплется с его парика. А вот «ромашковый привкус



разлуки» почему-то плохо ассоциируется у меня со стихами Льва о Бахе. Хотя это, на минутку, первая строка стихотворения, и строка великолепная! Книга воспоминаний начинается этим стихотворением, написанным факсимильно рукой самого автора. Ни одной помарочки! Ни одного исправления!

*Ромашковый привкус разлуки
Горчит на припущих губах;
А в небе рождаются звуки –
Там клавиши пробует Бах.*

*И рельсовых стыков стаккато
Стократ повторяет поезда.
И алою лентой заката
Повязаны мы навсегда.*

*А там, в облаках, нахлобучив
Напудренный белый парик,
Таинственный гений созвучий
С органом незримым парит.*

*И нет ни печали, ни страха.
Откинута прядь со лба.
Под властными пальцами Баха
Свершается наша судьба.*

*Он смотрит спокойно и мудро,
Раздвинув на миг облака.
И сыплется снежная пудра
На землю с его парика.*

Вот и смотрит на нас теперь Лев «Бахом с небес» – спокойно и мудро. А у всех нас на губах – ромашковый привкус разлуки с замечательным поэтом, который многим из нас приходился хорошим другом. Книгу воспоминаний о Болдове читаешь от начала до конца, не делая предпочтений более известным авторам. Потому как самое важное о жизни Льва может сообщить нам любой человек, вне зависимости от степени своего литературного таланта. Книга даёт нам неопенимую возможность «запасть» на те стихи Болдова, которые раньше по каким-то причинам не обратили на себя внимания. Уж я-то считал себя неплохим знатоком его лирики. Но был посрамлён – я почему-то упустил из виду такую его замечательную вещь, как «Горит моя библиотека».

*В предсмертных судорогах века,
В горниле беспросветных дней
Горит моя библиотека –
И я сгораю вместе с ней!*

Это апокалиптическое стихотворение навсегда породило таких разных поэтов, как Блок и Болдов. Книга Ирины Ганжи даёт нам возможность «достроить» «своего», знакомого нам Болдова, другими версиями, нам не известными.

«Лев Болдов обладал даром – не перетягивая одеяла на себя, быть центром. Стоило ему появиться где-либо, будь то наша репетиция или чей-то творческий вечер, всё внимание невольно переключалось на него. Это была какая-то магия, присутствующая лишь ему одному». (Сергей Былинский).

«В стихах Льва есть главное – абсолютная честность и умение идти до конца, когда это необходимо. А ещё – непродажность, неангажированность, правильная обособленность от отдельных тёмных персоналий и всего мутного социума. Всё это не должно кануть в Лету, разве что – вместе со всеми нами». (Сергей Геворкян).

Мне кажется, многие друзья «заразились» от Болдова его образной мощью, чуткостью к людям и энергетикой постижения. Многие воспоминания – прекрасные образцы русской литературы, по «гамбургскому» счёту. Авторы книги в чём-то сходятся – например, в том, что Лев «постоянно искал аудиторию». Книга «Ромашковый привкус разлуки» ценна тем, что из общего складывается облик поэта, а частное, но неожиданное, расцвечивает его облик яркими красками. Многие, в том числе и мужчины, ласково называют его в своих воспоминаниях «Лёвушкай».

Многое открыл для себя в этой замечательной книге, составленной вдовой поэта Ириной Ганжой, и я. Оказывается, Болдов начал писать и декламировать собственные стихи ещё в школе. Об этом есть воспоминания Галины Брусничиной, работавшей тогда в школе. Сработало на поэзию и увлечение Льва математикой. Математик Болдов придал стихам поэта Болдова гармонию сфер. Своё замечательное стихотворение о Петербурге Лев, оказывается, считал неудачным и потому практически не читал. А я считаю, что это одна из его вершин, где он «выпрыгивает» из реализма в мистику, всегда сопутствующую этому столичному городу. Жизнь Льва оказалась очень насыщенной. В своё время он примкнул к бардам, а барды вели кочевую жизнь по всей стране. «Цыганская» жизнь с «табором» бардов, безусловно, способствовала росту популярности поэта. Барды разнесли его крылатые строки на деках своих гитар.

Ещё одно свидетельство человека, хорошо знавшего Льва. «Лев Болдов – поэт, всегда читающий свои стихи наизусть. Очень домашний и по жизни бродяга. Беспомощный и мощный. Каждую минуту про-живающий, как жизнь. Сценарист, выдумщик, мечтатель, высокопарный прозаик. Пронзительный поэт. Всегда прямо держит спину. Умеет возрождаться. Аристократичен. Он не жил, он всегда немного выступал.

Такой спектакль каждого дня. Игра в игру слов. Меткие эпиграммы, острые и очень добрые шутки. Игра в утро, игра в вечер, в прогулку... Игра в жизнь. Лев хотел и искал яркости и наслаждения. Душа его пробивала и отрицала любой быт. Старался не унывать. Помнил добро. Очень верен в дружбе. Не забывал обиды. Прощал. Прощал всем, но не забывал. Эта ранимость сделала его стихи такими кристальными, звонкими, точными, честными в каждой букве. Такими лёгкими и крылатыми, на века. Ответственность за мир и беспечность к себе жили в нём одновременно». (Мария Долиннина).

Помогали Льву и маститые поэты Римма Казакова и Кирилл Ковальджи. Это было в начале «нулевых», на заре интернетной эпохи. Однажды я неожиданно встретил Льва на Московской международной книжной выставке-ярмарке. Его представили Кирилл Ковальджи и Татьяна Кузовлева. Пришлись по душе Кириллу Владимировичу и эти пророческие строки молодого поэта:

*Этот странный мотив – я приеду сюда умирать.
Коктебельские волны лизнут опустевшие пляжи.
Чья-то тонкая тень на подстилку забытую ляжет,
И горячее время проворно завертится вспять.*

*Я приеду сюда – где когда-то, мне кажется, жил
И вдыхал эту соль, эту смесь волхования и лени.
И полуденный жар обжигал мне ступни и колени,
И полуденный ангел, как чайка, над пирсом кружил.*

*Я приеду сюда, где шашлычный языческий дух
Пропитал черноусых жрецов, раздувающих угли,
Где, карабкаясь вверх, извиваются улочки-урги,
И урюмный шарманичик от горького пьянства опух.*

*Этот странный мотив... Я, должно быть, и не уезжал.
Всё вернулось как встарь, на глаза навернувшись слезами.
Вот возницы лихие с тяжёлыми едут возами,
Чтоб приморский базар как встревоженный улей жуужжал.*

*Вот стоит в долгополом пальто, чуть суутулившись, Грин.
Это осень уже, треплет ветер на тумбах афиши.
Остывающим солнцем горят черепичные крыши,
К покосившимся ставням склоняются ветви маслин.*

*Этот странный мотив... Ты забыл, мой шарманичик, слова.
Я приеду сюда умирать. Будет май или август.
И зажгутся созвездья в ночи, как недвижимый Аргус,
И горячие звёзды посыплются мне в фукава.*

Крым стал последним пристанищем Льва Болдова. Он, в отличие от другого знаменитого поэта, обещавшего «На Васильевский остров я приду умирать», выполнил своё суровое поэтическое обещание. И, таким образом, оказался человеком не только слова, но и дела.

«ШКАФ»

БОРИС ЖЕРЕБЧУК

МОЗАИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬНОСТЬ

(Вера Зубарева. Ангел на ветке: Повести, рассказы и записки из блога. – М., ЭКСМО, 2019)

Вера Зубарева, прозаик и поэт, сама определила себе независимое от конъюнктуры место в литературном процессе. Её произведения не бросаются в глаза тем, кто ориентирован на ажиотажный спрос. Они терпеливо ждут своего часа, и не в общей очереди, что объяснимо их темами: тяготы вынужденного или полудобровольного переселенчества, неотпускающая память, знакомство с новыми реалиями, – всё, что укладывается в безжалостное слово «эмиграция», в небольшой современный сколок с легендарного исхода, подчеркнувшего жестокую цикличность истории и судьбу затерянного в ней маленького человека.

А что же те, кто остались, пытаются укрыться от неуютности современности в сложившейся рутине? Вот противоположный вариант жизни: на сценической площадке перед Домом – воплощение иных, пусть не таких масштабных, но соразмерных маленькому человеку страстей, грехов и конфликтов. В меру злословят, подкодовывают, выпивают, сквернословят – всё как в большом мире. Правда, больше их мир от этого не становится – хотя его малость никак не означает ничтожности изображаемого: это «большое видится на расстоянии», а чтобы углядеть малых мира сего, нужна и пристальность глаза, и неутомимость руки.

И совсем не просты ни этот Дом со своими обывателями, ни эмигранты, лишившиеся приюта в поисках иной судьбы, коль скоро они вызывают массу визуальных, литературных, даже трансцендентных ассоциаций. Само название одного цикла отсылает читателя к известной повести Достоевского, другого – к «дорожной карте» в поисках себя. И архитектура Дома – казалось бы, незамысловатая, малоэтажная – и Дорога прямо выводят на реформатора мировой драматургии, согласуясь с научными пристрастиями профес-

сора Зубаревой, занимающейся теорией драмы. О заимствовании чеховских архетипов, как и об адаптации классика «под себя», речи, конечно, нет. Попытка же объяснить любую прозу, не только зубаревскую, по-моему, обречена на провал. Художественный текст, как и музыка, воспринимается скорее непосредственно, чем рассудочно, и чувства безусловно берут верх над бесстрастной логикой. Слишком – «сроднясь в земле, сплетясь корнями» – сопряжены интересы автора – исследовательские, преподавательские, организационные и художественные, взаимно обогащаясь и подпитываясь.

В тексте – и у обитателей Дома, и у бездомных переселенцев – множество болевых точек, дополненных ироническим отношением к происходящему (благо сама жизнь поставляет этому двуединству парадоксальный материал). А почти неуловимые импульсы неожиданного оптимизма сравнимы по воздействию на подсознание читателя с эффектом двадцать пятого кадра, возможно, и без авторского умысла – и в трагических образах одиночества, и в «больничной хронике», где любая беда незамедлительно и весело обыгрывается.

К сожалению, в сборнике не нашла отражения поэзия Зубаревой, о ней читатель может судить лишь по лаконичному стихотворному предисловию к эмигрантскому разделу. Рассказы метафорически переключаются с лучшими образцами абсурдистского гротеска, оживляя в памяти классиков жанра. Надо ли мериться, у кого текст пониже, а чернильная гуща пожире? Подходя к текстам Зубаревой с позиций художника-реставратора, удаляющего верхний слой красок, я обнаруживаю под ним смутно вырисовывающуюся матрицу чеховских художественных принципов. Налицо значимое воплощение травестийного трагикомизма ситуаций, нарастающего в третьем

цикле рассказов, «Лик одиночества», преемственно смыкающегося и с предыдущими – «Дому с его обитателями» и «Дорогам эмиграции», но контрастируя с завершающим книгу эссе «Памяти долгое эхо».

Дорогого стоят парадоксальная реплика мимходом: «Аннета спала крепко и обычно видела только два сна» («Сволочь»); уместная неуместная цитата из великого сатирического романа – «Мо-сье, же не манж па сис жур» («Волна»). Такие «мини-квази-драмы» дочерчивают чеховскую основу непредсказуемыми абсурдистскими лекалами. Но не стоит искать точных аналогий: шелковица и абрикос («Шелковица») не репрезентируют «Вишнёвый сад», Никифор – не пародия на доктора Астрова; из бабы Марфы («Покойница») не выкроить ни няньки Марины, ни лакея Фирса; Олька («Пьяница») не претендует занять место ни Маши, ни Сони, а снег, засыпающий Иону, и подавно не тот, по которому идет Тюпа («По снегу»)...

Значимые литературные ассоциации, как правило, разнесены в художественном пространстве Зубаревой далеко друг от друга и работают тонко, чураясь прямых аналогий и грубых примеров, призывают читателя к сотворчеству и достраиванию промежуточных ступеней. Третий раздел примыкает к «Дому» и «Дороге» по касательной – ступённым метафорическим строем. Взять хотя бы минималистическую зарисовку «Перевернутый фонарь»: в отражении лужи проступает ужасное одиночество в существовании, обесцвеченном безнадежностью: «Боже мой, во всем мире только я и осень!» – думает женщина, разглядывая себя. Безысходно-щемящая тоска пронизывает весь круговорот: бессонница, старость, болезнь, разлука, смерть... В атмосфере ступённого трагизма выделена глубинная составляющая, системообразующая его единица – одиночество, давнее название всему разделу.

Но книга не оставляет однообразно гнетущего впечатления, она полна не только тенью, но и сказочным светом. Впрочем, с ангельским строем здесь соседствуют и малоэстетичные реалии. Высо-

кому противопоставляется низменное: матрёшкообразное тело бабы Марфы, обряженное в несколько юбок, которые при медленном переползании от веранды к дворовому туалету поднимают вверх весь её внутренний запах... Олька, валяющаяся в луже и выкрикивающая неприличные слова неизвестно в чей адрес... Разомлевшие мухи на мусорных вёдрах... Вплоть до рискованной (но раскованной!) и надиктованной поэтикой войны игры словами – в воспоминаниях об Эрнсте Неизвестном («В атаку – зовут – твою мать!») – в четвёртом, заключительном разделе книги. Его разнородные наброски, беглые впечатления и эпизоды вызывают в памяти ассоциативную переключку с эпифаниями Джеймса Джойса, призывавшего регистрировать деликатные и мимолётные состояния души – в беседе, в жесте, в ходе мыслей – достойные запоминания. Сюета дорожных приключений, больничного мира, просто частной жизни, одобренная ненавязчивым юмором Зубаревой, позволяет прочувствовать зарождение и осуществление идей, а разница между ними создаёт единое пространство для выражения творческих возможностей автора.

Образную насыщенность книги можно передать неологическим оксюмороном – мозаичная цельность. Проза Зубаревой наглядна, красочна, сбалансирована между Сциллой изобразительности и Харибдой выразительности. Её трагическая палитра страха и ужаса не нашла пока своего Эдварда Мунка, зато «Трактату об ангелах» и самому автору с иллюстрациями повезло несравненно больше.

Завершается книга небольшим рассказом «Огненное дыхание Холокоста, или Чудесное спасение Элика!» – маленьким законченным шедевром, который невозможно читать без слёз и трудно пересказывать. Отмечу лишь визуальную наглядность замкнутого ассоциативного треугольника: Элик – маленький герой Меерович («Первая скрипка») – Цви Нуссбаум, изображённый на известной фотографии из «Репорта Штропа», и констатирую, что рассказ задаёт высокий тон всей книге, заканчивающейся на ударной ноте.

ИГОРЬ НАСТЕНКО

ЖЕНЩИНЫ В СОЗВЕЗДИИ

(Андрей Краевский, *Созвездие женщин. Сборник исторических очерков.* – М., Издательский дом «Русская панорама», 2019, – 384 с., с. илл.)

Книг о женщинах выходило и выходит много. Просматривая литературу за последние годы, можно увидеть даже рождение нового жанра – сборника очерков о «женщинах-звездах» – во все времена подробности биографий знаменитых женщин привлекали любопытство широкой публики. Перечисление только книг по теме, присутствующих в данное время на книжном рынке, заняло бы не одну страницу. Бесспорным лидером среди авторов является писательский дуэт Виталия Вульфа (ныне уже покойного) и Серафимы Чеботарь, которым принадлежит 20 (!) сборников по теме с разными названиями (но с пересекающимися персонажами-героинями). Судя по тиражам и по наименованиям работающих на этой ниве издательств («Эксмо», «Яуза», «Бомбора», «Вече», «Феникс» и пр.), тема вполне урожайная.

Рецензировать всё это многообразие нет ни возможности, ни желания. Отметим только, что каждая книга – это выражение души и менталитета писателя – и в подборке персонажей, и в оценке их поступков. Краевский – писатель и историк, много лет преподававший историю.

Подбор героинь сборника «Созвездие женщин» не случаен, они пришли со страниц его исторических романов и повестей. Девятнадцать очерков, расположенных в хронологической последовательности, охватывающей 3500 лет, так или иначе связаны между собой не только историями о женщинах, но и о большом количестве исторических лиц, их современников, отсылками и аллюзиями. Египет фараонов и имперский Рим, нашествие варваров и монголо-татар, геополитические амбиции Наполеона и уничтожение монархии в России, победы отечественной авиации

и новые технологии в кинематографе – героини очерков Краевского в каждой исторической эпохе, в каждой сфере деятельности оставили свой неизгладимый и весьма значимый след, оставаясь при этом Женщинами!

Писательницы и революционерки, царицы и инженеры, актрисы и авантюристки, святые и «женщины богемы» – всех их объединяет одно: они жили и действовали во время переходных исторических периодов, когда обычным людям жилось по-старому «невозмогу», а жить по-новому многим было страшно. Эти женщины окружены мужчинами, не всегда их понимающими, предающими, выброшенными ими из жизни, но всегда ощущающими значение этих женщин в своей судьбе. Важно, что жизнеописания не оторваны от исторического контекста, а обогащены характерными особенностями тех эпох, в которых героини очерков светились яркими звёздами. И, конечно, автор не обошёл стороной вопросов любви и верности, чувства патриотизма и неуёмного стремления к деятельности, свойственных большинству его героинь. Нефертити и Жозефина Богарне, святые княгини – равноапостольная Ольга и Анна Кашинская, Герой Советского Союза и Герой Социалистического труда, военная лётчица Валентина Гризодубова, и создательница новых технологий в кинематографе Лени Рифеншталь; дважды королева, герцогиня Алиенора Аквитанская и «любительница любовных треугольников» Инесса Арманд, валькирия революции Лариса Рейснер и вдова Александра Македонского Роксана, – их жизнеописания на страницах сборника не оставят равнодушными читателей.

ББК 84 (4 Укр-4 Оде) 62я45
Ю 195
УДК 821.161.1'06 (477.74) – 94

Підписано до друку 25.11.2019 р.
Формат 60х70/8. Гарнітура Garamond Narrow.
Папір офсет. Друк офсет. Ум. друк. арк. 21,36
Зам. 1443. Тираж 500 прим.

Видавництво КП ОМД (свід. ДК № 774 від 17.01.2002 р.)
Надруковано в КП «Одеська міська друкарня»
65012, Одеса, вул. Пантелеймонівська, 17